

Анатолий Приставкин

Ночевала тучка золотая

Посвящаю эту повесть всем ее друзьям, кто принял как свое личное это беспризорное дитя литературы и не дал ее автору впасть в отчаяние.

Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер. Возникло, прошелестело, пронеслось по ближним и дальним закоулкам детдома: «Кавказ! Кавказ!» Что за Кавказ? Откуда он взялся? Право, никто не мог бы толком объяснить.

Да и что за странная фантазия в грязненьком Подмоскovie говорить о каком-то Кавказе, о котором лишь по школьным чтениям вслух (учебников-то не было!) известно детдомовской шантрапе, что он существует, верней, существовал в какие-то отдаленные непонятные времена, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме.

Был еще Печорин, из лишних людей, тоже ездил по Кавказу.

Да вот еще папиросы! Один из Кузьменышей их углядел у раненого подполковника из санитарного поезда, застрявшего на станции в Томилине.

На фоне изломанных белоснежных гор скачет, скачет в черной бурке всадник на диком коне. Да нет, не скачет, а летит по воздуху. А под ним неровным, угловатым шрифтом название: «КАЗБЕК».

Усатый подполковник с перевязанной головой, молодой красавец, поглядывал на прехорошенькую медсестричку, выскочившую посмотреть станцию, и постукивал многозначительно ногтем по картонной крышечке папирос, не заметив, что рядом, открыв от изумления рот и затаив дыхание, воззрился на драгоценную коробочку маленький оборвыш Колька.

Искал корочку хлебную, от раненых, чтобы подобрать, а увидел: «КАЗБЕК»!

Ну, а при чем тут Кавказ? Слух о нем?

Вовсе ни при чем.

И непонятно, как родилось это остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо там, где ему невозможно родиться: среди детдомовских будней, холодных, без дровинки, вечно голодных. Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верха желания и мечты, — корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только лишний военный день.

Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: в ХЛЕБОРЕЗКУ, — вот так и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недостижимей, чем какой-то там КАЗБЕК!

А назначали туда, как господь бог назначал бы, скажем, в рай! Самых избранных, самых удачливых, а можно определить и так: счастливейших на земле!

В их число Кузьменыши не входили.

И не было в мыслях, что доведется войти. Это был удел блатяг, тех из них, кто, сбежав от милиции, царствовал в этот период в детдоме, а то и во всем поселке.

Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные, — хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгновеньице, вот о чем мечталось! Глазком, чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира, в виде нагроможденных на столе корявых буханок.

И — вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах...

И все. Все!

Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть насладятся избранные! Это по праву принадлежит им!

Но как ни притирайся к обитым железом дверям хлебoreзки, это не могло заменить той фантазмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых, — запах через железо не проникал.

Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда.

И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку: проникнуть в хлебoreзку, в царство хлеба любым путем... Любым.

В эти, особенно тоскливые, месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно, не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязненьким, но тоже зарешеченным окном вороват избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, ссылая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а жирные отломки приберегая пахану.

Слюна наikipала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завывать, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли, наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно... Накажут, избыют, убьют... Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе... Как он пахнет!

Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует... И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.

От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал. Он становился сильнее.

Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением разжевывая жесткое крылышко...

Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже!

Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей; если у них цыпленка не жрут, значит, писатели сами зажрались!

С тех пор как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут на зиму свою полумалину.

В неизменности оставалось одно: сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.

За корочку попадали в рабство на месяц, на два.

Передняя корочка, та, что поджаристей, черней, толще, слаще, — стоила двух месяцев, на буханке она была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится плашмя прозрачным листиком на столе; задняя — побледней, победней, потоньше — месяца рабства.

А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьменышей, тоже лет одиннадцати, до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.

Кузьменыши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.

Если бы, конечно, сложить двух Кузьменышей в одного человека, то не было бы во всем Томилинском детдоме им равных по возрасту, да и, возможно, по силе.

Но знали Кузьменыши и так свое преимущество.

В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрее. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо ухватить, где что плохо лежит!

Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих. Да успевают еще следить, чтобы у самого не тянули бы чего, одежду, матрац исподнизу, когда спишь да видишь свои картинки из жизни хлебoreзки! Говорили же: чего, мол, хлебoreзку раззявил, если у тебя у самого потянули!

А уж комбинаций всяких из двух Кузьменышей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев ноет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока обернулись на второго, первый — шмыг, и нет его. И второй следом! Оба брата как вьюны верткие, скользкие, раз упустил, в руки обратно уже не возьмешь.

Глаза увидят, руки захапают, ноги унесут...

Но ведь где-то, в каком-то котелке все это должно заранее свариться... Без надежного плана: как, где и что стырить, — трудно прожить!

Две головы Кузьменышей варили по-разному.

Сашка как человек мирозерцательный, спокойный, тихий извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал.

Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь, то бишь, доход. А что еще точнее: взять жратье.

Если бы Сашка, к примеру, произнес, почесывая белобрысую макушку, а не слетать ли им, скажем, на Луну, там жмыху полно, Колька не сказал бы сразу: «Нет». Он сперва обмозговал бы это дельце с Луной, на каком дирижабле туда слетать, а потом бы спросил: «А зачем? Можно спереть и поближе...» Но, бывало, Сашка мечтательно посмотрит на Кольку, а тот, как радио, выловит в эфире Сашкину мысль. И тут же скумекает, как ее осуществить.

Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие!

А Кузьменыши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого года и не околеть.

Когда революцию в Питере делали, небось, кроме почты и телеграфа, да вокзала, и хлебoreзку не забыли приступом взять!

Шли мимо хлебoreзки братья, не первый раз, кстати. Но уж больно невтерпеж в этот день было! Хотя такие прогулки свои мученья добавляли.

«Ох, как жрать-то охота... Хоть дверь грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!» — так вслух произнеслось. Сашка произнес, и вдруг его осенило. Зачем ее есть, если... Если ее... Да, да! Вот именно! Если ее копать надо!

Копать! Ну, конечно, копать!

Он не сказал, он лишь посмотрел на Кольку. А тот в мгновение принял сигнал, и, вертанув головой, все оценил, и прокрутил варианты. Но опять же ничего не произнес вслух, только глаза хищно блеснули.

Кто испытал, тот поверит: нет на свете изобретательней и нацеленней человека, чем голодный человек, тем паче, если он детдомовец, отравивший за войну мозги на том, где и что достать.

Не молвив ни словца (кругом живоглоты, услышат, разнесут, и кранты тогда любой, самой гениальной Сашкиной идее), братья направились напрямик к ближайшему сарайчику, отстоящему от детдома метров на сто, а от хлебoreзки метров на двадцать. Сарайчик находился у хлебoreзки как раз за спиной.

В сарае братья огляделись. Одновременно посмотрели в самый дальний угол, где за железным никчемным ломом, за битым кирпичом находилась заначка Васьки Сморчка. В бытность, когда хранились дрова, никто не знал, лишь Кузьменыши знали: тут прятался солдат дядя Андрей, у которого оружие стянули.

Сашка спросил шепотом:

— А не далеко?

— А откуда ближе? — в свою очередь, спросил Колька.

Оба понимали, что ближе неоткуда. Сломать замок куда проще. Меньше труда, меньше времени надо. Сил-то оставались крохи. Но было уже, пытались сбивать замок с хлебoreзки, не одним Кузьменышам приходила такая светлая отгадка в голову! И дирекция повесила на дверях замок амбарный! Полпуда весом!

Его разве что гранатой сорвать можно. Впереди танка повесь — ни один вражеский снаряд тот танк не прошибет.

Окошко же после того неудачного случая зарешетили да такой толстенный прут приварили, что его ни зубилом, ни ломом не взять — автогенем если только!

И насчет автогена Колька соображал, он карбид приметил в одном месте. Да ведь не подтащишь, не зажжешь, глаз кругом много.

Только под землей чужих глаз нет! Другой же вариант — совсем отказаться от хлебoreзки — Кузьменышей никак не устраивал.

Ни магазин, ни рынок, ни тем более частные дома не годились сейчас для добычи съестного. Хотя такие варианты носились роем в голове Сашки. Беда, что Колька не видел путей их реального воплощения.

В магазинчике сторож всю ночь, злой старикашка. Не пьет, не спит, ему дня хватает. Не сторож — собака на сене.

В домах же вокруг, которых не счесть, беженцев полно. А жрать как раз наоборот. Сами смотрят, где бы что урвать.

Был у Кузьменышей на примете домик, так его в бытность Сыча старшие почистили. Правда, стянули невесть чего: тряпки да швейную машинку. Ее долго потом крутила по очереди вот тут, в сарае, шантрапа, пока не отлетела ручка да и все остальное не рассыпалось по частям.

Не о машинке речь. О хлеборезке. Где не весы, не гири, а лишь хлеб — он один заставлял яростно в две головы работать братьев.

И выходило: «В наше время все дороги ведут к хлеборезке».

Крепость, не хлеборезка. Так известно же, что нет таких крепостей, то есть хлеборезок, которые бы не мог взять голодный детдомовец.

В глухую пору зимы, когда вся шпана, отчаявшись подобрать на станции или на рынке хоть что-нибудь съестное, стыла вокруг печей, притираясь к ним задницей, спиной, затылком, выпитывая доли градусов и вроде бы согреваясь — известь была вытерта до кирпича, — Кузьменыши приступили к реализации своего невероятного плана, в этой невероятности и таился залог успеха.

От дальней заначки в сарае они начали вскрышные работы, как определил бы опытный строитель, при помощи кривого лома и фанерки.

Вцепившись в лом (вот они — четыре руки!), они поднимали его и опускали с тупым звуком на мерзлую землю. Первые сантиметры были самыми тяжелыми. Земля гудела.

На фанерке они относили ее в противоположный угол сарая, пока там не образовалась целая горка.

Целый день, такой пуржистый, что снег наискось несло, залепляя глаза, оттаскивали Кузьменыши землю подальше в лес. В карманы клали, за пазуху, не в руках же нести. Пока не догадались: сумку холщовую от школы приспособить.

В школу ходили теперь по очереди и копали по очереди: один день долбил Колька и один день — Сашка.

Тот, кому подходила очередь учиться, два урока отсиживал за себя (Кузьмин? Это какой Кузьмин пришел? Николай? А где же второй, где Александр?), а потом выдавал себя за своего брата. Получалось, что оба были хотя бы наполовину. Ну, а полного посещения никто с них и не требовал! Жирно хотите жить! Главное, чтобы в детдоме без обеда не оставили!

А вот обед там или ужин, тут по очереди не дадут съесть, схавают моментально шакалы и следа не оставят. Тут уж они бросали копать, и вдвоем в столовку как на приступ шли.

Никто не спросит, никто не поинтересуется: Сашка шамает или Колька. Тут они едины: Кузьменыши. Если вдруг один, то вроде бы половинка. Но поодиночке их видели редко, да можно сказать, что совсем не видели!

Вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся.

А если бить, то бьют обоих, начиная с того, кто в эту нескладную минуту раньше попадется.

Раскоп был в самом разгаре, когда вовсю пошли эти странные слухи о Кавказе.

Беспричинно, но настойчиво в разных концах спальни то тише, то сильней повторялось одно и то же. Будто снимут детдом с их насиженного в Томилине места и скопом, всех до единого, перекинут на Кавказ.

Воспитателей отправят, и дурака-повара, и усатую музыкантшу, и директора-инвалида...

(«Инвалида умственного труда!» — произносилось негромко.) Всех отвезут, словом.

Судачили много, пережевывали, как прошлогоднюю картофельную шелуху, но никто не представлял себе, как возможно всю эту дикую орду угнать в какие-то горы.

Кузьменыши прислушивались к болтовне в меру, а верили и того меньше. Некогда было. Устремленные, неистово долбили они свои шурфы.

Да и что тут трепать, и дураку понятно: против воли ни одного детдомовца увезти никуда невозможно! Не в клетке же, как Пугачева, их повезут!

Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же перегоне и лови, как воду решетом!

А если бы, к примеру, удалось кого из них уговорить, то никакому Кавказу от такой встречи несдобровать; оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут...

В пустыню превратят! В Сахару!

Так решали Кузьменыши и шли долбить.

Один из них железочкой ковырял землю, теперь она пошла рыхлая, сама отваливалась, а другой — в ржавом ведерке оттаскивал породу наружу. К весне уперлись в кирпичный фундамент дома, где помещалась хлеборезка.

Однажды сидели Кузьменыши в дальнем конце раскопа.

Темно-красный, с синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался. На руках пузыри вздувались. Да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки.

В раскопе было не повернуться, сыпалась за ворот земля. Выедала глаза самодельная коптилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии.

Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытерпели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на ту свечечку, маловато, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое, да и сжевали, одна веревочка несъедобная осталась.

Теперь коптил тряпочный шнурочек: в стене раскопа был сделан выем — Сашка догадался — и оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копоты.

Оба Кузьменыша сидели, отвалившись, потные, чумазые, коленки подогнуты под подбородок.

Сашка спросил вдруг:

— Ну, что Кавказ? Трепятся?

— Трепятся, — отвечал Колька.

— Погонят, да? — Так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил: — А тебе не хотелось бы? Поехать?

— Куда? — спросил брат.

— На Кавказ!

— А чево там?

— Не знаю... Интересно.

— Мне интересно вот куда попасть! — И Колька злобно ткнул кулаком в кирпич. Там в метре или двух метрах от кулака, никак не дальше, находилась заветная хлебoreзка.

На столике, исполосованном ножами, пропахшем кисловатым хлебным духом, лежат бухарики: много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого. Корочку отломить, и то счастье. Пососешь, проглотишь. А за корочкой и мякиша целый вагон, щипай да в рот.

Никогда в жизни не приходилось еще Кузьменышам держать целую буханку хлеба в руках! Даже прикасаться не приходилось.

Но видеть видели, издалека, конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах.

Сухопарая, без возраста, продавщица хватала карточки цветные: рабочие, служащие, иждивенские, детские, и, взглянув мельком — такой опытный глаз-ватерпас у нее, — на прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала «чик-чик» по два, по три талончика в ящичек. А в том ящичке у нее тысяча, мильон этих талончиков с цифирками 100, 200, 250 граммов.

Но каждый талон, и два, и три, только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то, высохла, а не потолстела!

Но целую, всю как есть не тронутую ножом буханку, как ни смотрели в четыре глаза братья, никому при них из магазина не удавалось унести.

Целая — такое богатство, что и подумать страшно! Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три! Настоящий рай! Истинный! Благословенный! И не нужно нам никакого Кавказа!

Тем более рай этот рядышком, уже бывают слышны через кирпичную кладку неясные голоса.

Хотя ослепшим от копоты, оглохшим от земли, от пота, от надрыва нашим братьям слышалось в каждом звуке одно: «Хлеб. Хлеб...» В такие минуты братья не роют, не дураки, небось. Направляясь мимо железных дверей, в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте: его за версту видать!

Только потом уже лезут этот чертов фундамент крушить.

Вот строили в древние времена, небось, и не подозревали, что кто-то их за крепость крепким словцом приложит.

Как доберутся Кузьмеиыши, как откроется их очарованным глазам вся хлебoreзка в тусклом вечернем свете, считай, что ты уже в раю и есть.

Тогда... Знали братья твердо, что случится тогда.

В две головы продумано, небось, не в одну.

Бухарик, но один, они съедят на месте. Чтобы не вывернуло животы от такого богатства. А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это они умеют. Всего три

бухарика, значит. Остальное, хоть зудится, трогать не могли. Иначе озверелые пацаны дом разнесут.

А три бухарика — это то, что, по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день. Часть для дурака повара, о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают. Но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлебобрезчики и те шакалы, которые около хлебобрезчиков шестерят. А самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак.

Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников и приживальщиков понапихано. И всем им от детдома таскают, таскают, таскают...

Детдомовцы сами и таскают. Но те, кто таскает, свои крохи от таскания имеют.

Кузьменыши точно рассчитали, что от пропажи трех бухариков шум по детдому поднимать не станут. Себя не обижают, других обделяют. Только и всего.

Кому надо то, чтобы комиссии от роно поперли (А их тоже корми! У них рот большой!), чтобы стали выяснять, отчего крадут, да отчего недоедают от своего положенного детдомовцы, и отчего директорские звери-собаки вымахали ростом с телят.

Но Сашка только вздохнул, посмотрев в сторону, куда указывал Колькин кулак.

— Не-е... — произнес он задумчиво. — Все одно интересно. Горы интересно посмотреть.

Они небось выше нашего дома торчат? А?

— Ну и что? — опять спросил Колька, ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба.

Оба помолчали.

— Сегодня стишки учили, — вспомнил Сашка, которому пришлось отсиживать в школе за двоих. — Михаил Лермонтов, «Утес» называется.

Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»... Уф! Одно название полкилометра длиной! Не говоря о самих стихах!

А из «Утеса» всего две строчки Сашка запомнил.

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана...

— Про Кавказ, что ли? — скучно поинтересовался Колька.

— Ага. Утес же...

— Если он такой же дурной, как этот... — И Колька сунул кулаком опять в фундамент. — Утес твой!

— Он не мой!

Сашка замолчал, раздумывая.

Он уже давно не о стихах думал. В стихах он ничего не понимал, да и понимать в них особенно нечего. Если на сытый желудок читать, может, толк и будет. Вон лохматая в хоре их мучает, а если бы без обеда не оставляли, они все давно бы из хора пятки намылили.

Нужны им эти песни, стихи... Поешь ли, читаешь, все одно о жратве думаешь. Голодной куме все куры на уме!

— Ну и чего? — вдруг спросил Колька.

— Чево-чево? — повторил за ним Сашка.

— Чево он там, утес-то? Развалился аль нет?

— Не знаю, — сказал как-то по-глупому Сашка.

— Как не знаешь? А стихи?

— Чего стихи... Ну, там, эта... Как ее... Туча, значит, уперлась в утес...

— Как мы в фундамент?

— Ну, покемарила... улетела...

Колька присвистнул.

— Все??

— Все.

— Ни фига себе сочиняют! То про цыпленка, то про тучу...

— А я-то при чем! — разозлился теперь Сашка. — Я тебе сочинитель, что ли? — Но разозлился не сильно. Да и сам виноват: размечтался, не слышал объяснения учительницы.

Он вдруг на уроке представил себе Кавказ, где все не так, как в их протухшем Томилине.

Горы, размером с их детдом, а между ними повсюду хлеборезки натканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свешал, сам себе и поел. Вышел, а тут другая хлеборезка, и опять без замка. А люди все в черкесках, усатые, веселые такие. Смотрят они, как Сашка наслаждается едой, улыбаются, рукой по плечу бьют:

«Якши», — говорят. Или еще как! А смысл один: «Ешь, мол, больше, у нас хлеборезок много!»

Было лето. Зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьменышей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая небось тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами.

Все произошло неожиданно. Намечалось из детдома отправить двоих, постарше, самых блатяг, но они тут же отвалили, как говорят, растворились в пространстве, а Кузьменыши, наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ.

Документы переписали. Никто не поинтересовался — отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть. Вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили: «Эти!» И после паузы: «На Кавказ!» Причина же отъезда была основательная, слава богу, о ней никто не догадывался.

За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлеборезку. Провалился на самом видном месте. А с ним и рухнули надежды Кузьменышей на другую, лучшую жизнь. Уходили вечером, вроде все нормально было, уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть. А утром выскочили из дома: директор и вся кухня в сборе, пялят глаза: что за чудо, земля осела под стеной хлеборезки.

И — догадались: мама родная. Да ведь это же подкоп!

Под их кухню, под их хлеборезку подкоп!

Такого еще в детдоме не знали.

Начали тягать воспитанников к директору. Пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли.

Военных саперов вызвали для консультации. Возможно ли, спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли?

Те осмотрели подкоп, от сарая до хлебoreзки прошли и внутрь, там где не обвалено, залезали. Отряхиваясь от желтого песка, руками развели: «Невозможно, без техники, без специальной подготовки никак невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если, скажем, с шанцевым инструментом, да вспомогательными средствами... А дети... Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они такие чудеса творить умели».

— Они у меня еще те чудотворцы! — сказал хмуро директор. — Но я этого кудесника-творца разыщу!

Братья стояли тут же, среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой.

Оба Кузьменыша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время; не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки?

Глаз кругом много! Один недоглядел и второй, а третий увидел.

И потом, в подкопе в тот вечер оставили они свой светильник и, главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес.

Дохленькая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям! Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче — и два места освободилось.

Конечно, Кузьменышам не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея о разгрузке подмосковных детдомов, коих было к весне сорок четвертого года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется.

А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы: лишние рты спровадить, с преступностью расправиться да и вроде благое дело для ребятишек сделать.

И для Кавказа, само собой.

Ребятам так и сказали: хотите, мол, нажраться, поезжайте. Там все есть. И хлеб там есть. И картошка. И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревают.

Сашка тогда сказал брату: «Хочу фруктов... Вот тех, о которых этот... Который приезжал, говорил».

На что Колька отвечал, что фрукт это и есть картошка, и он точно знает. А еще фрукт — это директор. Своими ушами Колька слышал, как один из саперов, уходя, произнес негромко, указывая на директора: «Тоже фрукт... От войны за детишками спасается!»

— Картошки наедемся! — сказал Сашка.

А Колька тут же ответил, что, когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Вон, читал в книжке, что саранча куда меньше размером детдомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живот у нее не как у нашего брата, она небось все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем...

Но ехать Колька все-таки согласился.

Два месяца тянули, пока отправили.

В день отъезда привели их к хлеборезке, не дальше порога, конечно. Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба им давать!

Братья выходили из дверей и на яму под стеной, ту, что осталась от обвала, старались не смотреть.

Хоть притягивала их эта яма.

Делая вид, что не знают ничего, мысленно простились они и с сумочкой, и со светильником, и со всем своим родным подкопом, в котором столько было ими прожито при копилке длинных вечеров среди зимы.

С паечками в карманах, прижимая их рукой, прошли братья к директору, так им велели.

Директор сидел на ступеньках своего дома. Был он в галифе, но без майки и босиком.

Собак, на счастье, рядом не было.

Не поднимаясь, он поглядел на братьев и на воспитательницу и только сейчас, наверное, вспомнил, по какому они тут случаю.

Покряхтывая, привстал, поманил корявым пальцем. Воспитательница сзади подтолкнула, и Кузьменыши сделали несколько неуверенных шагов вперед.

Хоть директор не рукоприкладствовал, его боялись. Кричал он громко. Ухватит кого-нибудь из воспитанников за ворот и во весь голос: «Без завтрака, без обеда, без ужина!..» Хорошо, если один оборот сделает. А если два или три?

Сейчас директор вроде бы был настроен благодушно.

Не зная, как зовут братьев, да он никого в детдоме не знал, он ткнул пальцем в Кольку, приказал снять кургузый, весь залатанный пиджачок. Сашке он велел скинуть телогрейку.

Эту телогрейку он отдал Кольке, а пиджачок его брату.

Отошел, посмотрел, будто сделал для них доброе дело. Остался своей работой доволен.

— Так-то лучше... — И добавил: — Ну, тово... Не бузите, не воруйте! Под вагон не лазьте, а то раздавит... А?

Воспитательница толкнула под локоть ребят, они разноголосо пропели: «Не будем, Вик Вик-трыч!» — Ну, идите! Идите!

Разрешил, словом.

Когда отошли настолько, чтоб директор не мог видеть, братья снова поменялись одеждой.

Там, в карманах, лежали их драгоценные пайки.

Может, директору, который без понятия, они и показались бы одинаковыми! Ан, нет! У нетерпеливого Сашки край корочки был отгрызен, а запасливый Колька только лизнул, есть он еще не начинал.

Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине Колькиных штанов лежала в полосочку свернутая тридцатка.

Деньги в войну невеликие, но для Кузьменышей они стоили многого.

Это была единственная их ценность, подпорка в неизвестном будущем.

Четыре руки. Четыре ноги. Две головы. И тридцатка.

Анна Михайловна, как ей было ведено, довезла братьев на электричке до Казанского вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику, лысоватому и в помятом костюме.

Звали его Петр Анисимович.

Он мельком оглядел братьев, отметил в списке, положив этот список в портфель, который не выпускал из рук, и пробормотал насчет одежды: мол, в Томилине могли бы, как предписано, выдать одежду и получше.

— Это ведь непонятно, что происходит, — вздохнул он.

А Кузьменыши только сейчас сообразили, отчего томилинский директор обменял так странно их ватником да курткой, наверное, он прикрывал свою совесть от упреков. Если она была...

Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним вагонам.

К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут уехать на родину, просили помочь, пристроить хоть как-нибудь...

Петр Анисимович всем отвечал одинаково: «Нет, нет. Не могу».

А один раз вспылil, закричал:

— Да что у меня, богадельня, что ли! Это ведь непонятно, что происходит! У меня полтыщи беспризорных, я не знаю, куда их посадить! — При этом он указал почему-то на Кузьменышей.

Слово «посадить» им не очень понравилось, но они промолчали.

Повсюду, где они проходили, высывались уже из окошек головы.

Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе сшивались, по кутузкам, где отсиживали...

Кузьменышей уже углядели, узнали, понеслось громко вслед:

— Томилинская вошь, куда ползешь? Под кровать — дерьмо клевать!

Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и, не медля, бросились к окну, всовывая свои головы между чужими.

Увидели, что подводят люберецких, с которыми не только встречались, но и враждовали, и даже дрались, и вслед за остальными загикали, засвиристели, кто во что горазд.

— Люберецкая вошь — куд-да-да пол-зешь, под кровать...

Так встречали потом люблинских, можайских (эти головорезы!), серпуховских, подольских, волоколамских, мытищинских (эти все из детприемника, такие паиньки, такие тихарики, но обкрадут и не заметишь!), ногинских, раменских, коломенских, каширских, орехово-зудевских...

Но хуже всех — московских.

Последние были как бы привилегированными, их и кормили лучше, и одеты они были не в такое тряпье, как областные.

Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на Каланчевке.

Заревели, завыли, заблеяли, замычали.

Орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих собратьев.

— Мытищенские — через забор дрищенские!

— Ей, Можай, дальше поезжай!

— Кашира — протухла, не жила!

— Орехово-Зуево — раздето-разуево!

— Коломна всегда голодна!

Нас побить, побить хотели

Загорские ежики,

А мы сами не стерпели —

Наточили ножики!

Хором орали частушку, но зла в словах не было. Орали скорее по привычке.

Поезд, как ковчег, собирал из детдомов каждой твари по паре, и жить им теперь предстояло, как после великого потопа, на одной кавказской земле.

А ведь было, когда загорские подкараулили дмитровских, которые к монастырю пришли попрошайничать, и свирепо их избили. Изметелили так, что те долго не показывались, зализывали раны. А потом изловили кого-то из загорских, заехавших в Дмитров к родне, и месяц продержали в холодной брошенной церкви, сыром склепе. Те не остались в долгу, выловили дмитровского в электричке и к кресту на кладбище на ночь привязали: орал как резаный! Но кто ночью придет на кладбище, да на такой крик?.. Наоборот, прохожие бежали подальше.

Бывали штуки и похлеще между колониями и детдомами подмосковных городов, и стычки ножевые, и засады, и осады самих детдомов...

А теперь вот всех, всех совместно жизнь-злодейка свела. Будто несовместимые химические реактивы в одной колбе — поезде. Такая бурная реакция произошла, что, казалось, эшелон раньше срока разлетится вдребезги!

Слава богу, что у него не один, много вагонов!

Смешивалось не сразу, а полегоньку, так бы ни одно железо не выдержало. Потасовки кой-где произошли, и кто-то, правда, дорогой сбежал в другой вагон, а то и на другой поезд... не без этого.

К ночи состав стал затихать. Его набили доверху, как коробочку. Каждому из прибывших надо было не только чужих освистать, но и о себе подумать: найти полку, оттереть, отпихнуть соседа, воткнуться так, чтобы можно было сидеть, а лучше того, лежать. Как и сделали наши Кузьменыши.

Внизу, под их полками, тоже шла обычная свара. Кто-то кого-то не пускал, отталкивал, спихивал, изгонял... Поднимался крик; вмешивались взрослые.

Постепенно улеглись.

Разместили на одну нижнюю полку по двое, валетом, заполнили на ночь и место на полу, в коридоре. И Кузьменыши, заняв третьи полки, не прогадали. Сюда никто не лез, высоко. И лезть высоко, и падать, если залезешь.

А если кто совался к братьям снизу, посмотреть, их ногами в любопытные рожи отбрыкивали. Нечего, мол, зыркать туда, куда не просят! Ничего вы тут своего не оставляли!

Возлежали, как бояре, каждый отдельно на третьей полке, и с высоты своего положения, будто в кино, наблюдали, что происходит внизу.

Разговорчики, смешки, анекдотики... Кто-то песенку запел: «На Кавказских на горах жил задрипанный монах, он там золото искал, никого не подпускал, вот он золото нашел, продавать его пошел...» Чем там дело у монаха с золотом да Кавказом кончилось, осталось неизвестным: вагон дернуло!

Все затихли. Слушали. Верили и не верили, неужто тронулись, поехали?

А тут, помедлив, дернул вагон еще раз, посильней, клацнул, железом застрезетал и правда поехал! Это стало ясно по легкому поскрипыванию, по редким пока толчкам да перестукам.

Никто не бросился к окну наблюдать, как она, столица мира, начнет уплывать редкими огнями, демаскированная уже, в прошлое, назад, в темноту.

Да плевать всем было! И нашим героям было наплевать на Москву, которая, это знали по собственной шкуре, слезам не верит!

Внизу лишь пискнули, как бы понимая, что на прощание положено ту, которой не поверят, слезу пустить.

Кто-то из девчонок пропищал: жалко, мол...

— Чего жалко-то?

— Уезжать жалко.

А чего жалеть?.. Они и сами не понимают: жалко, и все тут. Вдруг не вернемся! Куда же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так, ясно, не вернемся, на хрена она нам, белокаменная, сдалась! Дома каменные — люди железные...

Господи! Да пропади пропадом, задарма, этот неуютный, немытый, проклятый, выхолощенный войной край! Где все живут одним военным днем: купить да продать... А те, что стоят у станков да куют в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только беспризорных не видят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания: по двенадцать часов длится смена, так что спят тут же, в цехах...

Что же касается Кузьменышей, то нет у них на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой... Ни здесь и нигде вообще!

Друг у друга они есть — вот это будет верно.

Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша — это они сами.

Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмосковье, теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне.

По военной — по пустыне — надо сказать.

Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем... А прольется ласка да внимание живой водой, прорастем.

Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной, да ведь и спросу-то нет. Может и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит.

Нет, значит, не было. Значит, не надо.

Это не только о Кузьменышах, о каждом из тех, кто ехал в сорок четвертом году через войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю на нашем удивительном, бесшабашно, безумно веселом поезде!

Некоторых я помнил по странной исключительности детской памяти не только в лицо, но и по фамилии и имени и попытался через десяток лет отыскать.

Открыточки такие желтенькие с запросом на адресные столы сотню, не меньше, разослал: и ни одна не принесла адреса. Ни одного письмеца ни от одного нашего...

И вот уж печатаюсь двадцать пять лет; а фамилии те, не скрывая, намеренно выношу в своих рассказах, в повестях, документальных очерках, и снова — ни словечка в ответ.

Страшная мысль: неужто один я выжил из всех? Неужто так и сгинули, затерялись? Не проросли?

Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть, на той, на новой земле, куда нас привезли...

Сверху стало видно, а еще более слышно, как самые запасливые полезли в карманы, в торбочки, в мешочки, загашнички и извлекли оттуда съестное.

У кого морковинка, свеклочка, огурчик соленый, голова воблятья или картофелинка в печеном виде. У одного даже — каша, крутой комочек, завернутый в тряпицу... А еще — роскошь — серенький тошнотик. Из мороженных очистков их делали да отбросов.

Тошнотики, тошнотики, военные блины,

Раз поешь тошнотики: полные штаны!

И вдруг... Кишки от этого «вдруг» защипало! Запах ошалелый пошел, по полкам, по вагону, по поезду... И по тем самым кишкам — будто ножовкой! Колбасное мясо открыли в продолговато-овальной американской баночке с золотым отсветом!

Суки-москвичи, забрались в дома-кирпичи, жрут калачи!

Это про них, про этих вот, которые едут с тушенкой, — обнищавшее Подмосковье в голос! Несправедливо про всех, конечно. Да ведь со стороны, из-за лесов казалось, что тут, в столице, у товарища Сталина под боком, который с Мамлакат на коленях в книжке нарисован, не успели пузатые, похожие на ихнего директора, все разокрасть! Иначе откуда бы, подскажите, шепните на ушко, баночка-то колбасная, золотистое солнышко, посверкивающее внизу?

О такой колбасе наши Кузьменыши только по рассказам и знали! Да вот еще по запаху: дважды в жизни Сашка унюхивал этот незабвенный, ни с чем не спутываемый, секущий финкой под ребро запах и по ощущению пересказывал Кольке...

Как в байке про куриную лапку... Мол, вкусна куриная-то лапка, а ты ее едал, да нет, не едал, а только видал, как наш барин едал.

Теперь оба, как в темный колодец, где поблескивало звездочкой, смотрели вниз. Да не одни братья, все небось смотрели! И слушали, и принюхивались, когда еще доведется в жизни такое почувствовать! И понюхать!

А потом, как по команде, оба брата отвернулись и поглядели друг на друга. Оба знали, кто из них о чем думает.

Сашка подумал: рот бы себе чем заткнуть, чтобы не закричать, не зареветь от голода на весь вагон! Не про банку, хрен с ней, с этой недосыгаемой мечтой-банкой! А про директора-суку из Томилина, которому велели, письменно, это уже по чужим разговорам стало ясно,

дать им хлебный и прочий паек на пять суток! О чем он, падла, сидя тогда на ступеньках и почесывая прыщавые подмышки, думал, где его плюгавенькая совесть была: ведь знал, знал же он, что посылает двух детей в голодную многосуточную дорогу! И не шевельнулась та совесть, не дрогнула в задубевшей душонке ни одна клеточка!

Примите же это, невысказанное от моих Кузьменышей и от меня лично, запоздалое из далеких восьмидесятых годов непростение вам, жирные крысы тыловые, которыми был наводнен наш дом-корабль с детишками, подобранными в океане войны...

Владимир Николаевич Башмаков, так звали одного из них.

Он был директор Таловского интерната, и владел нашими судьбами, и морил нас голодом...

Ау, где ты, наполеончик, с коротенькими ручками и властным характером, обожавший накрутить очередному воспитаннику несколько смертельных суток.

— Без обеда, без ужина, без завтрака, без обеда, без ужина...

И душа сжималась от ноющего предчувствия, слыша приговор: сколько раз обернет он этот список голодным поясом вокруг тебя!

Оба Кузьменыша вынули по кусочку выданного им хлеба. Крошечные сейчас уж совсем, от которых еще дорогой отщипывали и дощипались: словно мышинная говяшечка на ладони.

Колька понюхал, языком лизнул, предложил:

— Хочешь?

— А ты?

— Да я с утра обожратый, — сказал Колька. А сам подумал: если Сашка два кусочка съест, то ему сытнее будет. А на ночь так больше и не надо есть, а то вся сытость во сне пройдет как бы без пользы.

Сунул Колька свой кусочек Сашке, а сам отвернулся. Запах колбасы сживал со свету, разворачивал разрывной пулей все нутро.

Хоть бы не скребли, гады, ложкой-то по жести, от этого звука судорога начиналась в животе, будто это тебя, тебя — как банку ложкой выскребают.

Взвять захотелось Кольке! Грызть деревянную полку, на которой лежал! Уткнулся он лицом в сухие доски, голову руками зажал, чувствовал, что еще немного, и плохо ему будет.

Закричит, заревет зверем на весь вагон, так его скрутило от чужого праздника. Да и Сашке, видать, не легче. Он кусочек Кольке назад вернул. Глядя загнанно в потолок, произнес ненавидящим шепотом:

— Только б до завтра дожить... Завтра, как встанет поезд...

Колька подхватил, как выдохнул:

— На ры-нок! Эх!

Рынок для обоих означало, что смогут они худо-бедно, но пережить эту дорогу.

Москвичам, что попались в попутчики, отвалили пай на несколько суток. Да, видать, еще и родня подбросила съестного. А у Кузьменышей лучшая родня — это рыночные тетки, которые свой товар плохо сторожат.

— Я тут одну штуковину придумал, как это завтра обтяпать, — сказал Сашка и почесал в голове. Там, в глубине, в неведомых потемках, рождались у Сашки самые замечательные идеи.

— Сделаем, — зло произнес Колька. Как отрубил. И было обоим понятно: он сделает все, что придумал Сашка. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь!

Поезд дернулся и встал.

— Это чево? Это Воронеж?

— Хрен догонишь! — отвечал другой голос снизу. Братья, как по команде, проснулись, уставились в окно. На сереньком фасаде масляной краской коричневой было выведено: «ВОРОНЕЖ».

Слышали Кузьменыши, на пути такой город будет. Но не город их интересовал — рынок у вокзала.

Оба покатались с полок на головы пацанвы, что толкалась внизу и глазела в окно. Братья протиснулись в тамбур и наткнулись на усатого коротконового проводника в грязно-синей военной форме железнодорожника. За голенищем сапога два флажка торчат. Уже волочет что-то в мешке, усы от напряжения вспотели, глаза выкатились.

— Дя-нька, стоять долго будем?

Проводник оттеснил их грудью в конец тамбура, бросил мешок с глухим стуком.

Повернулся, расправляя плечи. Посмотрел.

— Вам-то чево надо?

— Рынок, — сказал Колька. С надеждой спросил, не зря же мужик мешок приволок. С картошкой мешок, по виду определил. Надо, кстати, этот мешок не упускать из виду.

— Ха! Рынок-то за вокзалом, — пробормотал проводник и рукой махнул в сторону выхода. — Да гляди не опоздай! Поезд стоять долго не будет! Как один гудок даст, дак и чеши... А второй — уже тово... поедем.

Кузьменыши переглянулись.

Оба подумали: хорошо, что не будет поезд долго стоять. Им и не надо, чтобы он долго стоял. Чем быстрее пойдет, тем лучше. Для них лучше. А уж они все наперед продумали и про себя, и про свой поезд.

За длинной стеной, кончавшейся полуразрушенным зданием вокзала — небось бои тут жестокие шли, — открывалась площадь, полная народу. Перескакивая через битый кирпич, через траншеи с водой, братья, подобно десяткам других пацанов, вскачь ринулись к рынку. Вонзились в него с разбегу, как вонзается кинжал в свою жертву.

При входе, как всегда, семечки в мешках да веники вязанные. А дальше вглубь овощи пошли: картошка, свекла, репа, огурцы... Овощей-то, пожалуй, побольше, чем в Подмоскovie, и молока побольше, его прямо в стаканах с румяной пеночкой выставили. Варенцом прозывают. Кричат протяжно: «Ва-ре-нец! Кому-у ва-ре-нец!» Тетка им вслед кричит. А кричит потому, что у Кольки из кармана красная тридцатка выглядывает. А там за тридцаткой и еще какие-то бумажки синеют... Без тридцатки тетка бы и не заметила их, да и, уж точно, милком не назвала. Мало ли шантрапы ходит!

В том-то и была Сашкина затея, чтобы на весь рынок торчала из кармана драгоценная тридцатка, а рядом напихали обрезков из пачки папирос «Беломор-канал»... Поди разгляди с ходу-то, пачка и пачка, и видно по тридцатке, что деньги торчат.

Конечно, братья рисковали. Натуральную-то тридцатку напоказ выставить опасно, свой брат-жулик мог бы легко поживиться! Но и это было учтено. Колька барином идет, тридцатку демонстрирует, а Сашка сзади караулит, глаз с нее не спускает, оттирает, если кто

прицеливаться да приближаться станет.

Кругом гомонила толпа. Семечки лузгали. Вся земля в лузге.

Рядом завизжали: кого-то поймали, значит, бьют.

Эта картина братьям не внове, сами попадались и тоже орали как резанные, смотришь — кто-нибудь да вступится. А молчком терпеть, так и голову оторвут за личную за собственность, и не пожалеют.

Может, кто из своих, из эшелона орал, но братья скорей в другую сторону свернули.

Слишком тут бдительные сидят!

Шагов с полсотни сделали и уперлись: вот оно! Вот где оно лежит, что искали!

На плоском дощатом прилавке, не в центре его, откуда не выскочишь, а с краю, на тряпочке выставлен ржаной, домашней выпечки хлеб, аккуратно порезанный на равные округлые ломти. А рядом и вовсе чудное, белое, длинное: Колька увидел, будто споткнулся на ходу. Уставился заворуженно.

Сашка его легонечко в бок шуркнул:

— Чево, как баран на новые ворота-то... Батон это! Белая такая булка, в кино показывали...

Прошептал, а у самого в горле как кусок глины завяз, ни проглотить, ни выплюнуть. А все этот чертов батон, который перед глазами у них маячил.

Видел Сашка в одном довоенном кино: будто прямо на улице булочная стоит, а кто-то заходит и покупает вот такое белое... И говорит: «Батон, мол, купил!» Неужто не понарошку продавали? Да без карточек! Да прям целиком!

Огляделись братья, лишь бы не опередили их. Не набросились бы покупатели на это расчудесное добро. Но нет. Никто не хватает, денежки не сует... Раз-другой приценятся да отвалят. Видать, дорог хлебушек-то, лежит нетронутый, ждет богатых хозяев, сияет на весь белый свет золотой корочкой, что по гребешку неровным шовчиком идет.

А запах от него! За сто метров услышали бы братья этот запах, может, оттого и вышли сюда, что голодный желудок, как пчелку на сладкое, на хлебный дух их привел?

Помолились братья про себя. Так попросили: «Господи! Не отдай никому, побереги, пока наш срок не подойдет! Отведи в сторону, господи, тех, у кого мощна большая, кто мог бы до нас это белое чудо-юдо схавать... Ты же видишь, господи, что нам дальше нужно ехать, а если мы сейчас упустим... Да и жрать охота, господи! Ты хлебами тысячи накормил (старухи сказывали), так чуть-чуть для двоих добавь!» Может, и не те слова были, но за смысл ручаюсь, а за искренность тех молитв тем более.

Теперь братья поделили работу свою так: один лицом к поезду оборотился, другой к батону и хлебу, а там еще рядом мед в сотах кусками лежит...

Вот они где нужны, четыре глаза-то! И все Сашкина шалая голова на голодное брюхо придумала! Спиной к спине, и тридцатку не свистнут, и все вокруг видно, а сигнал дать — лишь локотком двинуть.

Сашка услышал: прогудел паровоз. Сипленько, тягуче, словно позвал к себе: «У-у-й-е-д-у-у!» Он-то и есть сигнал к действию. Как труба архангела, зовущая наших героев начать свое правое дело.

Теперь вперед! Только вперед! К батону — чуду-юду, к ржаным округлым ломтям, к меду в кусках, возле которого роятся нахальные осы... Но прежде к золотому родимому хлебушку!

Скорей, Колька! Скорей!

Двинул Сашка брата острым локтем под ребро. «Шуруй», — прошептал.

А Колька чуть выше, поприметнее бумажки с тридцаткой высунул и прямиком к прилавку. Знает: минута или две у них в запасе, не более. Придвинулся к прилавку вплотную, покрутился так, чтобы денежки его стали заметны, спросил:

— А тут чево? — Именно тем проходным тоном, когда ясно, что ничего тут стоящего для него нет. Так, ерундовина всякая.

Молодая деваха, голубые стеклянные глаза навывкате, как пуговицы, в небо уставились. В ширину больше, чем в высоту, выросла. Сашка бы сейчас нашелся что сказать: «Ширше прилавка свово». Ишь расперло, на каких-таких харчах, как не на рыночных, ее откормили до такого свинства?

Рядом мужичишка, чахлый в сравнении с ней, задавила, небось мяса в ней пудов сто будет. Все это пронеслось в Колькиной голове, как легкий сквознячок, в то время как он нехотя, с недовольной миной хлеб оглядывал.

— Носят тут всякое... — процедил и посмотрел вдаль, сейчас дальше пойдет. — Тут ничего стоящего не видать.

Девка семечки лузгает, равнодушно отплевывает в сторону. Работает, строчит, как пулемет все равно. Но и ее задело.

— Всякое? — спросила, даже лузга повисла на нижней губе. — Это тебе всякое? — сунула под нос Кольке батон.

Колька вроде уж уходить хотел, но задержался, взял батон в руку, и от пружинистой корочки, от дурманящего запаха вдруг подступила к горлу тошнота.

— Из отрубей, что ли? — спросил и поморщился. Не любит, сразу видно, когда суют ему всякую всячину из отрубей.

— Сам из отрубей! — вспыхнула деваха. — Батон пшанишный! Глядеть надо лучше!

А Колька и правда глаза закрыл, вот-вот его вывернет наизнанку. Как начнет он блевать вот тут, на глазах у этой сдобной девки, так кранты всем их планам. Вот ведь загвоздка! Все продумали, каждое движение загодя предусмотрели, а тошноту от голода, спазмы в кишках забыли, не учли.

Мотнул Колька головой, вдохнул побольше воздуха, и еще вдохнул. А напоказ — ручкой ко рту, будто зевок сделал. Натурально даже вышло, позевывает малый, скучно ему тут стоять, смотреть на какой-то чахлый батон, который якобы не из отрубей.

— Ну и почему? — спросил, небрежно отодвигая тот батон в сторону девахи. Но не настолько далеко отодвигал, чтобы не забрать снова.

— Сто пятьдесят.

— А меньше?

— Чево меньше? Ты посмотри! Чистая пшаница!

— Сто, — буркает Колька, махнув рукой. Видел, мол, я твою чистую пшеницу. Грош ей цена в базарный день.

— Сто сорок, — говорит деваха. И опять строчит свои семечки.

— Сто двадцать, — бросает Колька и собирается уходить. Уже шаг в сторону сделал, на деваху, на ее батон он и не глядит. Неинтересно.

— Сто тридцать, — кричит вдогонку девах. Веер семечек изо рта.

— Ладно, — нисходит Колька, возвращаясь и хлопая по карману так, чтобы снова стали видны его деньги. — В ущерб себе, учти!

Взял батон, стал засовывать в тот же карман с деньгами, А чтобы не дать пухлой купчихе опомниться, сразу на хлеб пальцем:

— А это — почему?

— Кусок — тридцатка. И мед — тридцатка! — Деваха заработала губами, лузга полетела во все стороны.

— Беру! Хоть обдираешь ты меня, как липку! — лихо произносит Колька, вдруг развеселившись, и сразу два ломтя сует в тот же карман, где уже лежит батон. И, не дав девахе прийти в себя, тут же еще два куска меда сует за пазуху. — Эх, где наша не пропадала... Все беру! Все!

Деваха будто смекнула что-то, семечки отставила, глаза-пуговицы уставила на Кольку.

— Плати! Ты че, лапаешь да лапаешь! Плати, говорю!

А мужичишка при ней, дремавший до сих пор, вздрогнул от крика жены, озирается. На его глазах продукт национализируют, а ему бы только ворон ловить.

Вот он второй, критический момент! Когда все взято и надо красиво смыться. Как сказали бы в сводке информбюро: окружение вражеской группировки под Сталинградом завершено. Пора наносить последний удар.

Для этого и стоит Сашка в засаде. Как отряд Дмитрия Боброка на Куликовом поле против Мамая. В школе проходили. Мамай, ясное дело, толстозадая пшеничная деваха...

Монголы-татары стали теснить русских: деваха крикнула вторично:

— Плати! — И ухватила Кольку за рукав. — Плати давай!

В это время и приказал волынский воевода Дмитрий Боброк выступить засадному полку и нанести по фашистам решающий танковый удар.

Как черт из-под печи, вынырнул рядом Сашка.

— Скорей! Скорей! — закричал, чтобы сильнее оглушить торговку. — Поезд уходит!

Колька головой вертанул, и деваха невольно вслед за ним посмотрела: поезд, их поезд, медленно трогался в путь.

Поскрипывали, будто разминаясь, колеса. Гомонилась пацанва у дверей, запихиваясь вовнутрь.

— Бегом! — еще громче, внося панику, грохнул Сашка. — Потом... Потом отдадим!

Деваха сразу пришла в себя. В Колькин рукав вцепилась намертво.

— Когда потом? Сейчас плати! — И взвизгнула: — Де-н-ги!

— Отдай деньги-то! — закричал Сашка. — А то — останемся!

— Да они же под батоном!

— Давай сюды батон!

Схватил Сашка батон, а там еще и хлеб мешает. Начал Колька под хлебом искать, дернул руку, мол, руку-то отпусти, как же я достану.

Отпустила деваха руку, Колька и рванул. А Сашка с батоном давно летел к поезду.

Так это все выглядело: впереди Сашка с батоном, потом Колька, а по его пятам пшеничная деваха и ее муж.

Деваха раскалилась до того, что Колька ее тепло спиной слышал.

Но не до смеху ему было, хоть деваха ширше своего роста, а шпарит так, что не отстают, и страшно ему. Догонят, убьют. Эти уж точно не пожалеют. Тут и другие торговцы подхватили, для них гон воришки — развлечение. А бить, так и вовсе душу отвести...

Крик на весь базар:

— Держи-и! Укра-а-а-ал!

Весь эшелон в окна выставился. Тоже зрелище, как в театре.

Подмосковные ребята

Жулики-грабители:

Ехал дедушка с навозом

И того — обидели-ли!

Из всех пятнадцати вагонов, из ста окошек пятьсот насмешливых рож, пятьсот ядовитых глоток. Крик, хохот, рев, визг, подначки. Кто во что горазд.

— Эй, Воронеж, хрен догонишь!

— А догонишь, хрен возьмешь!

— Эй, мужа, гляди, потеряла!

— Не баба, паровоз! Выпусти пар, а то взорвешься!

— Может, ее к поезду — вагоны толкать?

— Буфера велики!

Кто-то модную песенку заорал, ее подхватили: «Поезд едет из Тамбова, прямо на Москву, я лежу на верхней полке и как будто сплю... Пари-ра-ра! Держи вора!» Из окон посыпались огрызки, бутылки, банки, они-то и притормозили вражеское продвижение фашистско-мамаевых орд. Как всегда в истории, исход сражения в конечном итоге решал народ.

Сашка первым подбежал к своему вагону, ухватился за поручень, оглянулся.

Колька поскользнулся, выронил кусок хлеба, который держал в руке. Нагнулся подобрать, второй уронил.

А деваха, грозя в окна кулаком, уже топчет рядом с Колькой. Вот-вот ухватит. А сзади мужичишко. А какой-то парень из добровольцев потеху себе устроил. А там еще, еще бегут...

— Брось! — закричал Сашка изо всех сил. Отчаянно, на весь Воронеж. — Брось! Брось! Брось!

Колька растерялся, но уже дыхание над собой услышал! Не дыхание, а шипенье будто, скрежет и лязг: не меньше как танк на него наезжает!

Чуть не на четвереньках, на руках и ногах запрыгал, за лесенку руками схватился, а уж деваха его за ноги тянет.

Сашка и проводник вцепились в Колькины подмышки, рвут к себе, а деваха к себе, растягивают, как гармошку. Орет, голосит, визг пороссячий! И парень рядом...

Рванули бедного Кольку, так рванули, что осталась у девахи в горсти Колькина штанина.

А парня, что подоспел и руки протянул, проводник флажками по морде да сапогом добавил:

— Не лезть! — закричал. — Шелгунщиков не пуцаем! Ха! Спекулянты несчастные! Ме-шочники!

И снова полетели в них из окон банки-склянки, а кто-то попытался мочиться на ходу...
Под улюлюканье, под насмешки поезд набирал скорость.
«Па-ри-ра-ра! Де-р-жи во-ра-а!»

Батон кормил Кузьменышей долго.

Нутро они выгрызли, до крошки, до пылинки вылизали и съели. А вот форма...

Жесткая корка стала им сосудом, ее берегли. Волшебным сосудом, если посудить. От нее, по Сашкиной идее, пользу можно было взять двойную, тройную, пятерную!

На станциях, на крошечных полустанках со своим пустотелым батонем и неизменной тридцаткой, которая торчала у Кольки из кармана, они подсказывали к рыночным теткам и просили налить в батон сметанки, или ряженки, или варенца.

Потом между братьями разыгрывалась маленькая шумная сценка: один из них начинал кричать, что это дорого, а поезд отходит...

Молочное выливали, а то, что впиталось в батон, выскребали ложками. Ложки брали у москвичей.

Но и батон оказался не вечен, как все не вечно в нашем мире.

Корочка постепенно истончилась, подмокла и на какой-то несчитанный день после Воронежа кормящий сосуд распался на мелкие кусочки. Их, не без сожаления, тут же съели. Кончился и мед. Во время Колькиного бега он растекся за пазухой, пропитав рубаху и Колькин живот. С рубахой, с той было просто: ее обсосали, обжевали в несколько приемов, вылизали до дыр.

А вот свой живот Колька трогать не дал. «Эдак и без рубахи, и без живота останешься» — так сказал.

Ходил по вагону, а вокруг него вились осы. На первых порах нижняя пацанва так их и различала: Колька, это тот, который сладкий, а Сашка — по контрасту, значит, горький. Клички бы сохранились, но сами Кузьменыши, любившие морочить окружающих и выдавать себя друг за друга, быстро всех запутали, особенно когда медовый запах пропал. Это был выработанный годами способ самозащиты.

Снизу кричали:

— Эй, сладкий! Хватай батон, станция сейчас будет!

А Колька отвечал:

— Это вы ему скажите! Он — Колька! — И указывал на Сашку.

Они и местами менялись, и одежду друг друга надевали. Смысла в этом и видимой пользы не было будто бы никакой.

Окружающим без разницы, кто из них что носит и кто где спит. Но братья-то знали, очень даже знали, что это пока все равно. А случись неприятность, криминальная история, так важно сбить с толку окружающих, тем самым запутать след...

Как прежде они поступали...

Но братья смотрели сейчас не назад, вперед! А скоро другие запахи стали реять по вагону, подавив все остальные: и меда, и пота, и мочи. Поезд въехал в так называемую по-школьному «зону черноземья».

Удивить издавшего виды беспризорника нелегко. Но вдруг открылось, это было для глаз непривычно: земля тут и в самом деле черна.

Без деревьев почти, без лесов и березок там разных, лежит бугром до горизонта, а цвет ну такой черный, как черны ногти у каждого уважающего себя шакала из детдома.

Грачей, что садились на эту землю, нельзя было различить! Паровоз — и тот затерялся! Еще удивляло: без присмотра, без сторожей растет на этой черной земле всякий фрукт и овощ. Какой, издали на ходу не разберешь. Вот если бы чуточку потише, если бы притормозило где!

Но поезд, как назло, все мимо, мимо проносил, все чесал, шпарил, как угорелый...

И уж молились в вагонах: миленький, ну встань на секундочку... На чуточку, нам бы по морковинке, по свеколке только... Притормози, призадержись, ну чего тебе, родненький паровозик, стоит! И вдруг — встали.

Может, их молитву услышали? Может, силой мысли пар остановили — посреди полей? Замедлил эшелон движение, зашипел и замер. Машинист, молчаливый старик с короткой шевелюрой, буркнул, обращаясь к кочегару:

— Баста. Будет нашей ораве тут кормежка! На два часа запри пар да подай кипятку, чай гонять будем!

Весь состав, полтыщи гавриков, кроме разве самых малых да самых несмелых, да еще больных, высыпал из вагонов посмотреть, отчего встали. Но некоторые без промедления ринулись в поле, в придорожные огороды к зеленеющим невдалеке грядкам, и стали рвать. Сперва это делали самые дерзкие, самые пронырливые. Остальные стояли и смотрели. И вдруг, что-то сообразив, все бросились вперед. Будто дикая орда понеслась к зеленым посевам и разом собой их накрыла.

Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот разор: в зеленях, как жучки в траве, мельтешила, суежилась, перебегая с места на место, ребятня.

Он долил в жестяную огромную кружку кипятку и, подняв дрожащими руками и пригубив осторожненько, добавил:

— Россея не убудет, если детишки раз в жизни наедятся...

На поле же творилось невообразимое. Каждый шарапал как мог. Тащили все, что попадалось под руку. Обрывали молодую, еще в молочных зернышках, никогда не виданную кукурузу. Зубами от плетей отгрызали крошечные тыковки, их жевали, не сходя с места, будто яблоки, вместе с кожурой. Остальные с плетями выдергивали и тащили к поезду.

Огурцы, морковь, молодую свеклу совали за пазуху и в рот, отплевывая черную, на вкус пресноватую землю. Крутили головы незрелым подсолнухам в желтом цвете, а если не хватало на это сил, выдергивали с корнем и так, будто дрова в охапке, волокли к вагонам. Порой попадались овощи такие несуразные! Колька нахватал под рубаху огромных огурцов, а потом выяснилось, что они и не огурцы вовсе, а кабачки, и жрать их была одна мука. Но сожрали, не пропадать же добру!

В такой необычный, скажем, момент произошла встреча Кузьменышей с Региной Петровной.

Братья несли свою добычу и ни о чем не помышляли, только бы запихать все на верхнюю полку да успеть сбегать и принести еще.

Надо сказать, работали они руками и зубами одинаково. Оба успевали на ходу откусывать от шляпки подсолнуха сладковатые сочные семечки, пережевывать их и выплевывать в траву.

А женщина стояла у входа в их вагон.

Сашка даже рот открыл от удивления, и оттуда вывалилась белая непрожеванная каша из недоспелых семечек. Да и Колька опупело, сам не свой, уставился на нее. Такая это была неожиданная женщина.

Молода, наверное, молода, темноволоса, густые длинные волосы небрежно откинuty назад. Глаза у женщины были черные, посверкивающие изнутри, непонятно какой глубины и обволакивающей теплой ласки; и губы, это были крупные, живые губы, они жили как бы сами по себе и ничем не были замазаны, что понравилось братьям больше всего. Еще была в лице у женщины гордая восточная величавость. Голову свою она держала высоко, как держат только богини и царицы.

Так увидели ее оба брата и сразу влюбились. Безнадежно, на всю жизнь. Но этого они друг другу не сказали. Это было единственное, что оказалось у них не просто общим, как все остальное, но и отдельным, принадлежащим каждому из них. Да и нравилось Кузьменышам в женщине разное. Сашке нравились волосы, нравился ее голос, особенно когда она смеялась, Кольке же больше нравились губы женщины, вся ее колдовская внешность, как у какой-то Шехерезады, которую он видел в книжке восточных сказок. Но это не сразу. Все это было осознано ими потом. Сейчас же братья застыли перед ней, будто увидели около вагона не человека, а спустившегося с неба ангела. С раздутыми пазухами, торчащими на полметра, с руками, занятыми подсолнухами, со ртами, забитыми молодыми незрелыми семечками, которые они так и не успели дожевать, они увязли перед ней, и вдруг оказалось, что они не знают, как им дальше жить.

Женщина посмотрела на них и громко рассмеялась. Голос у нее оказался низкий, бархатный, от него пошел по коже озноб.

— Вот тебе на! — произнесла, будто пропела контральто, женщина, разглядывая наших братьев. — Откуда же эго вы такие одинаковые? Два сапога пара! Нет, — воскликнула она и наклонилась, чтобы рассмотреть их поближе. — Нет, вы как два сапога на одну ногу! — И опять замечательно легко, и будто даже искристо (красные искры в теплой ночи), рассмеялась. И так как братья оробело молчали, и только изо рта у Сашки продолжали сыпаться белые недожеванные семечки, женщина, обращаясь к ним, как к давним, как к добрым своим знакомым, добавила: — А у меня в вагоне тоже двое мужичков, но только они меньше вас. Гораздо меньше! Им в сумме семь лет. А зовут их Жорес и Марат, очень серьезные, скажу вам, важные они мужички! Меня же вы можете называть Регина Петровна. Вы запомните? Ре-ги-на-пет-ров-на. Ну, а вы кто?

Только теперь Сашка догадался закрыть рот, а Колька, откашлявшись и выплюнув под ноги остатки семечек, сиплым от волнения голосом сказал, что они — Кузьменыши.

— И все? — спросила весело женщина. Братья одновременно кивнули.

— Так не бывает! — воскликнула с улыбкой женщина, и губы ее задрожали, наверное, так она смеялась. — Может, мне называть вас Кузьменыш-первый и Кузьменыш-второй?

— Нет, — сказал Колька сурово. — Мы — по отдельности — будем Колька и Сашка. А вместе мы Кузьмины, Кузьменыши, значит.

Женщина покачала головой, будто удивляясь сказанному, и волосы ее темные заволновались и частью упали на висок и на плечо.

— Кто у вас кто? Ху из ху? — как сказали бы англичане... Да нет, если вы скажете, я в другой раз все равно не различу, вы ведь под копірку, понимаете... Под копірку сработаны...

Братья не поняли «копірку», но сознались потом друг другу, что с ними впервые в жизни разговаривали по-инострански. Сашку даже пот пробил, а Колька пустил струйку в штаны. Но женщина этого не заметила. Она наклонилась к братьям близко-близко, от нее невозможно стало дышать, и стало слышно, как густо пахнет чем-то темным, душистым, никогда раньше не веданным. И волосы ее волнующе вдруг склонились к ним. Снизив голос, она сказала, как говорят только своим:

— Дружочки мои! Мы с вами встретимся, я ведь буду у вас воспитательницей! Да, да! И вы мне всегда будете говорить, кто у вас кто, и не будете меня морочить, ведь правда? Вы ведь морочите других? С вашей похожестью кого хочешь можно заморочить... А?

Братья потупились.

Она была первой женщиной, которая все сразу про них поняла.

— Прощайте, мои милые Кузьменыши! — сказала женщина и вздохнула. — Я везу из Москвы двух таких важных мужичков, и они долго не могут без меня жить... Мы еще встретимся? Ну, скажем, на следующей станции... Да? Вот и договорились. Счастливо! Она ушла.

А Кузьменыши залезли в вагон, выгрузили на верхней полке свое богатство, но почему-то уже не радовались ему.

Они сразу стали ждать, когда поезд отойдет, чтобы скорей прийти на следующую станцию. Когда же это случилось, после многих томительных минут, женщины под странным именем «Регинапетровна» у вагона не оказалось. Не было ее и на других станциях. Так что братьям могло показаться, что ее не было вовсе. А на другой день на поезд напал понос.

Дристали все, весь эшелон, потому что грязные овощи не могли в таком количестве перевариться в истощенных детских желудках.

Усатый проводник лишь тяжело вздыхал, заглядывая в туалет.

Все было загажено, стульчак, и пол вокруг стульчака, и кран с водой, и раковина под краном, и полочка для мыла, и даже стены были забрызганы чуть не до потолка.

Уже добрались и до тамбура, до междвагонного перехода, а кто-то ухитрился наложить в вагонную печку.

На частых теперь остановках ребятя бежала не в поле за добычей, а под насыпь, чтобы облегчиться.

Но уже и сил отбегать не было, садились тут же, у вагона или под вагоном. У некоторых, послабей, хватало только сил забраться под вагон, обратно их выволакивали.

Машинист, весь в саже, в черной засаленной робе, маленький, сморщенный, теперь, прежде чем отправляться, сам пробежал весь состав и, наклоняясь, умолял:

— Ребяточки! Милые! Да как же я поеду, если вы у меня на колесе сидите-то! Грех-то какой, не дай бог, кого подавлю! Я же фронт обслуживал, на Сталинград по рельсам, положенным на землю, составы с войском возил... По ночам возил! И ни одной аварии, считай! А тут... — Он качал седым ежиком и звал на помощь директора. Появлялся суетливый Петр Анисимович, он перебежал от вагона к вагону и, прижимая портфель к груди, наклонялся, просил:

— Вылазьте! Ехать надо! Поезд ждет! Этак мы никогда не сдвинемся с места, вы понимаете?

Ребятня не отвечала, не двигалась. Только голые, выстроенные в ряд зады издавали в ответ на слова директора громкие звуки.

Директор выпрямлялся и, глядя на машиниста, произносил, разводя руками:

— Это ведь непонятно, что происходит!

— Да понятно-то понятно, — бормотал машинист. — А что делать будем?

На ближайшей станции, а станция называлась Кубань, встали на трое суток. Временный мост через горную реку, навешенный еще саперами во время наступления, снесло разбушевавшейся стихией, а новый мост еще не пустили.

Состав отвели на запасные пути. Детей выгрузили, разместили в соседнем товарняке на сене: прежде здесь возили лошадей.

Сашка, из них двоих более нетерпеливый, нажирался вдвойне, напихивая в себя овощей, семечек, зеленых арбузов, баклажан и прочего. Он первый и слег с животом. Каждый час бегал вслед за остальными в тамбур.

Он даже изловчился на вагонном переходе, у лязгающих железок, пристроиться так, что у него все выливалось фонтанчиком через дырку.

Потом и выливаться стало нечему. Зеленое прошло, и желтое прошло, и черное даже.

Появилась слизь, а в ней и сгустки крови.

К вечеру, вместе с директором, пришли двое в белых халатах: мужчина и женщина. Всех осмотрели. И Сашку тоже. Пощупали ему живот, взглянули на язык.

Сашка лежал на подстилке на сене, бледный и молчаливый.

Уж Колька старался его расшевелить, про станцию рассказывал, которая называется станицей, и про то, что в садах растет желтый плод алыча. Прямо на улице перевешивается, рви да жри до отвала. А у насыпи еще один плод, тоже бесплатный: терном зовется. И его завались.

А косточек от всяких там фруктов у насыпи валяется столько, что земли не видно.

Шантрапа, все шакалы, которые могут ходить, кладут те косточки на рельсу и долбят камнем. По всей станции звон да долбеж стоит!

— Слышно, — попытался сказать Сашка и даже улыбнулся бескровными губами. Как все из него выжало-то. Колька смотрел и удивлялся.

Но об одном, что видел тут, на станции, он промолчал. О странных вагонах на дальнем тупике за водокачкой. На те вагоны он набрел случайно, собирая вдоль насыпи терн, и услышал, как из теплушки, из зарешеченного окошечка наверху кто-то его позвал. Он поднял голову и увидел глаза, одни сперва глаза: то ли мальчик, то ли девочка. Черные блестящие глаза, а потом рот, язык и губы. Этот рот тянулся наружу и произносил лишь один странный звук: «Хи». Колька удивился и показал ладонь с сизоватыми твердыми ягодами: «Это?»

Ведь ясно же было, что его просили. А о чем просить, если, кроме ягод, ничего и не было.

— Хи! Хи! — закричал голос, и вдруг ожило деревянное нутро вагона. В решетку впились детские руки, другие глаза, другие рты, они менялись, будто отталкивали друг друга, и вместе с тем нарастал странный гул голосов, словно забурчало в утробе у слона.

Колька отпрянул, чуть не упал. И тут, неведомо откуда, объявился вооруженный солдат. Он стукнул кулаком по деревянному борту вагона, не сильно, но голоса сразу пропали, и наступила мертвая тишина. И руки пропали. Остались лишь глаза, наполненные страхом. И все они теперь были устремлены на солдата.

А он, задрав голову, показал кулак и привычно произнес:

— Не шуметь! Чечмеки! Кому говорят! Чтобы ти-хо! — Он шагнул к еще не опомнившемуся Кольке, ловко развернул лицом к станции, будто знал, откуда он взялся, и подтолкнул в спину.

— Топай, топай отсюда! Тут не цирк, и смотреть тут нечего!

Колька летел до самой станции, зажав в горсти свои дурацкие ягоды. Не будь Сашка в таком тяжелом состоянии, он тут бы выложил ему новость да про чечмека бы спросил...

Шпана, скажем, или беспризорщина, или жулье, или блатяги?.. Эти названия ему известны. А тут — новенькое, переварить башкой надо. Но Сашка был плох. Погибал, судя по всему, Сашка.

А белая женщина, та, что в халате, еще таблетки принесла и бурду во флаконе. Колька из жалости к брату половину тех таблеток сам пожрал (вот отравы-то) и бурду выпил. Одному Сашке, он понимал, с такими лечениями не выжить. Он даже градусник подержал за Сашку, но тут его засекли.

Остроглазая белая врачиха разделила братьев и велела Кольке пока пожить в другом вагоне.

Колька сопротивлялся, не уходил, даже пытался на голос взять, но все напрасно. Врачиха оказалась твердокаменной. Чуть не силой, при помощи белого мужчины, вытурила Кольку и

велела не показываться возле Сашки. Не то, пригрозила, его вообще увезут.

Колька сообразил, залез под вагон и оттуда через пол попробовал переговариваться с братом. Когда врачей не было, Сашка глуховато отвечал. Приложив ухо к деревяшке, можно было разобрать.

Тогда Колька набросал между рельсов травы да лопухов и сделал себе лежак, спал под тем местом, где находился Сашка. А чтобы знал, что Колька всегда при нем, он постукивал по дну вагона камешком. Сашка ему отвечал.

Так миновало двое суток.

Их бывший эшелон, стоящий неподалеку, привели в порядок. Выскребли, отмыли, очистили, провоняли известкой да карболкой. Так что первые, кто хотел в него переселиться, не смогли там дышать, слезы катились. И потому еще сутки ждали, когда вся дрянь из вагонов выветрится. В эти сутки Колька еще раз пробрался к странному товарняку. Не поленился проделать кругалю по колючим кустам, а все из-за одной лишь подлой привычки, свойственной любому шакалу: кружить, как кружат осы именно там, где гонят! Известно, там всегда что-нибудь да ухватишь. Пусть не ртом, а глазами... У нас и за погляд деньги берут! А у шакалов детдомовских острый глазок за вторую пайку почитается.

Но сколь ни вглядывался Колька, сидя в кустах рядом с насыпью, сколь ни вслушивался, ничего не мог обнаружить. Видел солдата, но не того, что турнул Кольку, а другого, повыше и покрупней, он вышагивал вдоль эшелона, стараясь спрятаться от пекла в узкой вагонной тени.

За свою немалую жизнь, его и Сашкину, много повидали они всяких поездов, проходящих через Томилино: санитарных с красными крестами на боках, военных с танками под брезентом, с беженцами, с трудармейцами, даже с зеками... Однажды они видели, как везли пленных фашистов, тоже в теплушках, а ихних генералов так в отдельном шикарном вагоне... Их потом по Москве колонной водили. Но этот эшелон, Колька мог поклясться, не был ни фашистским, ни беженским. Он скорее был похож на их беспризорный поезд: тоже, видать, не кормили. Так ведь шакалы и сами могли добыть себе пропитание — привычное с детства дело! А взаперти-то как добудешь?

Колька знал, как тяжело сидеть взаперти, не однажды они с Сашкой попадали в кутузку, последний раз за стибренный на рынке соленый огурец. Пока их тащили, они тот огурец сжевали, а потом сидели всю ночь и орали, так хотелось пить! Ну Кузьменышей хоть за соленый огурец запирали или еще за что, а этих?.. Может, они директора почистили? Может, хлебозрезку скопом взяли?

Пока Колька соображал, поезд тот прогудел и поехал. Солдат последний раз вдоль состава глазом стрельнул, на ступеньку вскочил, и тут снова раздались голоса. Уже не один вагон — все вагоны. Завопили, закричали, заплакали...

Поезд покатил в ту сторону, откуда братья только что приехали, но вот какая странность, звуки и голоса из теплушек еще долго реяли в воздухе за станцией, пока не растаяли в теплых сумерках.

Но это, конечно, все Колькино воображение, потому что никто, кроме него, как оказалось, этих криков и плача не слышал. И машинист седенький с их паровоза мирно прохаживался, постукивал молоточком по колесам, и шакалы суетились у поезда, и люди на станции

двигались спокойно по делам, а радио доносило бравурный марш духового оркестра: «Широка страна моя родная...». А потом и мы двинулись в сторону неведомого нам Кавказа.

За рекой Кубанью, которую мы переезжали в великий разлив тихим шажком по хлипкому, по вздрагивающему временному мосту, наведенному в недавние времена саперами, открылись нам затопленные сады, а потом на горизонте засветились и далекие горы. Мы ликовали, будто сделали в своей жизни великое открытие: «Горы! Смотрите, это же горы! Настоящие горы!» Они синели, как редкие тучки на краю неба, и ехать до них, как оказалось, предстояло еще не одни сутки! Дух захватывало от сверкающих вершин, в это время нам и правда казалось, что все наши шакальи мечты об изобилии, о сытой и замечательно радостной невоенной жизни непременно сбудутся.

И забылась, стерлась странная такая встреча на станции Кубань с эшелоном, из которого к нам тянули руки наши сверстники: «хи! хи!» Наши поезда постояли бок о бок, как два брата-близнеца, не узнавшие друг друга, и разошлись навсегда, и вовсе ничего не значило, что ехали они — одни на север, другие — на юг.

Мы были связаны одной судьбой.

Но когда было решено, что все в поезд переходят и он отправляется, Сашке и еще двоим сказали, что им нельзя ехать, слабы, и вообще, их надо госпитализировать.

Колька лежал под вагоном и, приложив ухо к полу, слушал.

Не все он понял, но главное-то сообразил: кранты Сашке.

Сперва таблетками травили, бурдой разной, а потом вывели: нельзя! В поезд его нельзя, с Колькой нельзя! Так и совсем уморят.

Колька сидел под вагоном, шептал Сашке последние новости, настропалил против белой врачихи, которая не пускает...

А Сашке на Кавказ ехать надо. Ему в этой деревне, которая зовется станицей, делать нечего. Хоть терна тут растет много и алычи много, а косточек у насыпи так целый миллион, а выжить братья смогут лишь когда они вместе, и в поезде...

Тут же Колька предложил, — откуда мысли-то в голову пришли, — поменяться местами.

Ночью, когда все заснут, перелезть вместо Сашки на сено, а Сашку в эшелон отправить. А когда станут отъезжать, то вскочить на поезд...

Может, умный Сашка не такое бы придумал, ясное дело. Но Колька был горд своим планом, сам сообразил, как выручить брата из беды.

Но тот идею с обманом отверг. Вид у них был слишком разный. Сашку, чахлого до изнеможения, со здоровым и румяным Колькой трудно спутать. Да и ночи у них нет, поезд скоро отправляется... Надо что-то другое соображать.

Сашка помолчал и спросил:

— А эта не поможет? Которая... Резина?

— Резина? — спросил Колька. — У меня резины нет, а тебе зачем?

— Да не у тебя, — крикнул Сашка. — А воспитательница... Ее же Резиной зовут?

Колька при ее имени, так исковерканном, подскочил и башкой о вагон стукнулся. В глазах искры побежали. Как же он сам-то не сообразил! Ну, конечно! Кто еще может им помочь, если не эта чудотворница, восточная царица, Шехерезада! Скорей, скорей ее разыскать

надо!

— Регина Петровна... Вот как ее зовут! — сказал Колька и потер макушку.

— Ты лежи. Сделай вид, что спишь, и никаких таблеток не бери, а то отравят. И везти себя не давай! А я сейчас... Я ее найду! Слышь? — И стукнул в дно три раза. Это чтобы Сашке было веселей ждать.

А Сашка лишь один раз ответил. Он силы берег, да их у него и не было. А Колька бросился к своему эшелону, потому что времени у них оставалось совсем мало.

Все вагоны насквозь пробежал Колька, на полки и под полки заглядывал, но нигде не было восточной женщины по имени Регина Петровна. И никто ее не знал.

Кольку приветствовали, здоровались, кричали снизу и сверху:

— Эй, Кузьменыш! А где твой второй Кузьменыш?

— Ты кто из них? Ты Сашка или Колька?

— Я Петька, — отвечал он.

Колька еще подумал: а женщина бы, которая Регина Петровна, произнесла бы это по-инострански: «Ху из ху». Непонятно, но здорово, будто кто-нибудь выругался.

В другое время Колька бы из этого текста анекдот смастерил и весь бы вагон потешил, но теперь... Дошел до паровоза, почему-то на тендер заглянул, двух мешочников там увидел, они сидели на угле и жрали яйца с огурцом. Но женщины нигде не было.

Понял Колька: пропадают они с братом. Уж и паровоз под парами, и машинист по переднему с красным ободом колесу молоточком стучит, смотрит, небось, как оно, колесо, будет крутиться или нет...

Подбежал к нему Колька, спросил с надеждой:

— Нескоро поедем?

Седой машинист, сегодня он был не в саже, небось и в баньку парную успел сбегать, пристукнул молоточком, послушал и сказал:

— Да чего еще ждать... И так засиделись! Вот дам сигнал и поедем. Через полчаса! Чего не успел, торопись!

А Колька ничего не успел. Брата спасти не успел. Может, ворваться в товарняк, где лежит Сашка, да схватить его, пока там сообразят, они до вагона своего добегут.

Всякие несуразности приходили в Колькину голову, но не было среди них ни одной, которая могла помочь брату. А все это от отчаяния! Не найти ему до отхода эту Регину Петровну!

Поднял он глаза и остолбенел: прямо перед ним, на путях, стоит она, задумалась и смотрит куда-то вдаль, Кольку не видит. А в руках у нее, вот уж сказали бы, так не поверил ни за какие коврижки, самая настоящая папироска. Кольке ль не знать папирос фабрики «Дукат», марки «Беломоро-Балтийский канал».

И она, Регина Петровна, потягивает папиросочку, выпускает теплый дым и сосредоточенно так вдаль глядит. Думает.

Не будь отчаянного положения, не посмел бы ни в жизнь Колька подойти к такой странной, красивой, да еще и курящей женщине.

Но сейчас не до колебаний было. Бросился, как к своей, стал объяснять, путаное объяснение у него вышло. Про понос, про порошки да таблетки и про ту, которая белая, потому что в белом халате, и хочет она Сашку оставить, а Кольку прогнать... Как уже

прогнала! А одного Сашку они тут уморят, пропадет он на этой станции. А без него Колька пропадет. Они до сих пор потому и не пропали, что не было такого, чтобы их разделить...

Регина Петровна швырнула папироску наземь, не докурив, и сразу спросила:

— Стало быть, ты — Колька? Пошли!

Сашка не видел, как переезжали они реку Кубань по хлипкому, по дрожащему под напором свирепой воды мосту.

Все прилипли к окнам, и Колька голову высунул, чтобы все подробнее разглядеть и рассказать Сашке.

Грязно-коричневая река с ревом неслась вниз, закручивала огромные воронки и взбивала у каменных быков порушенного моста белые буруны.

Поезд шел тихо, как бы ощупью, и седой машинист с ежиком, наверное, не раз вспомнил свои фронтовые дороги, и особенно путь на Сталинград, где ехать приходилось по рельсам, положенным на голые шпалы через заволжские степи.

Деревянные сваи и сам мост несильно, но вполне ощутимо раскачивались. А если, как сделал Колька, смотреть только на одну ревущую внизу воду, то могло показаться, что мост медленно, вздрагивая и поддаваясь, опадает в глухую пропасть под ними.

Колька отпрянул, головой помотал: страшно стало.

Но мост уже подходил к концу, и по бокам высокой насыпи, — слава богу, переехали и не упали, — пошли сады и огороды, сплошь затопленные водой.

Такого никто из ребят никогда не видывал. Силища, если столько воды в реке, что все вокруг под собой похоронила! Одни верхушки деревьев торчат!

Пришла Регина Петровна — она теперь вроде как шефство над ними взяла, потому что пообещала белой врачихе за братьями, особенно за Сашкой, следить, — и объяснила, что в жаркое время, вот как сейчас, на горах тает снег и реки на Кавказе начинают разливаться.

Кубань тоже горная река.

— Это что же значит? — сказал с недоверием Колька. — Мы на Кавказе, что ли?

Регина Петровна посмотрела на него черными блестящими глазами, могло показаться, что она думает о чем-то другом, — и ответила, что да, конечно, они уже на Кавказе. Въехали, дружок!

— А горы? — расстроено спросил Колька. Сашка промолчал, он был слаб. Но и он бы, конечно, спросил то же самое. Вот тебе и Кавказ — одна вода на огородах!

Но Регина Петровна улыбнулась мягко, и губы у нее, крупные некрашенные губы, дрогнули, и глаза наполнились грустной глубиной.

— Подождите до вечера, — так произнесла, наклоняясь и будто выдавая огромную тайну. — До вечера, милые мои Кузьменыши, будут вам горы!

— А какие они? — спросил за себя и за Сашку Колька. А Сашка лишь слабо кивнул.

— Увидите... Красивые... Нет, они замечательно красивые! Караульте, не пропустите!

Регина Петровна положила им по кусочку хлеба, намазанного лярдом, американским белым маслом, без запаха и вкуса, а сама ушла. Ее ждали два мужичка: Марат и Жорес.

Сашка слизнул языком лярд, но есть не стал, и Колька на ближайшей станции выменял оба куска на целую литровую банку желтой крупной алычи. На хлеб можно было выменять что угодно.

Сашка алычу попробовал чуть-чуть совсем и медленно, с усилием произнес: «Эх, в Москве бы...» И Колька сразу понял брата, который хотел сказать, что в Москве такое богатство никому и не снилось: литровая банка алычи! — и жалко, что Кузьменыши не могут ни похвастать, ни угостить собратьев из томилинской их шараповки!

Колька представил, как появились бы они с братом в детдомовской спальне со своей алычой! Все бы бросились просить, уставясь на невиданный фрукт, а Колька бы нехотя объяснил, что это, мол, фрукт с Кавказа, с берегов горной реки Кубань, алычой прозывается, и там ее завались: жри до горла!

И тут бы он стал угощать шакалов, оделяя всех просящих: Боне бы дал штуки три, он старший и никогда не бил Кузьменышей; Ваське-Сморчку дал бы пару, он всегда голодный... Тольке-Буржую дал бы одну, он тоже как-то дал Кузьменьям лизнуть из ложки, когда его серенький солдат-отец приносил ему кашу в котелке и Толька обжирался у них на глазах.

И воспитательнице Анне Михайловне дал бы Кузьменыш одну штуку. Хоть и холодная, равнодушная женщина Анна Михайловна и всегда безразлично относилась к Кузьменьям, вовсе не замечая и ни разу не запомнив их, но Кольке ее жалко. Все-таки ждет она своо генерала, значит, не совсем уж равнодушна, и с солдатами не гуляет, как некоторые другие...

И потом, однажды Кузьменыши забрались в ее крошечную комнатушку, в надежде чем-нибудь поживиться, и ничего, даже сухой корочки, не нашли. Была какая-то баночка, желтенькая, костяная с пудрой, которую тут же на рынке барыга жадно выхватил у Кольки, отдав за нее три картофелины. Потом Анна Михайловна всем говорила, что у нее пропала драгоценность из слоновой кости... Пожалуй, воспитательнице Колька бы отдал целых две алычи, пусть нажрется за баночку.

И вороватому директору Виктору Викторовичу дал бы алычу Колька. Он Кузьменышей на промысел отпускал. И усатой музыкантше... Не жалко... На Кавказе алычи много, пусть едят! Им тоже в войну нелегко. И тоже алычи хочется.

Так раздумывал Колька, а сам всю эту алычу и умял.

Пока мысленно кормил Боню, да Тольку, да Ваську, да Анну Михайловну... Брал в рот по одной, по две, а то и по три штуки! И вышло, что в мечтах-то хорошо угощать своих, все в свой живот утекло.

Отяжелел Колька, захотелось ему поспать. Однако помнил он слова Регины Петровны, что надо ему караулить горы. Если бы Сашка был здоров, они, конечно бы, лучше караулили; один спит, а другой в окошко зыркает: замечательно красивые горы ждет.

Теперь же Колька за них обоих смотрел, но никаких гор он не видел! Взгорки будто начались, холмы, но таких холмов и в Подмосковье завались, не их высмагивал Колька. Уже вечереть стало, горизонт налился синевой, и будто тучи сизые впереди набухли, а Колька разочарованно отодвинулся от окна.

Сашке, который жадно следил за Колькиным выражением лица, расстроено протянул: «Кавказ! Кавказ! Хрен тебе в глаз!»

— Нет... Ничего? — прошептал Сашка и тоже потускнел.

— «Ху из ху», — хотел выругаться Колька по-инострански, но не стал. Все-таки эти слова произносила сама Регина Петровна.

А тут и она объявилась и как-то странно и глубоким низким голосом произнесла: «Горы-то видели? Кузьменыши? Иль проворонили? Проспали?» Колька аж подскочил, бросился к окну:

— Так нету же гор!

Произнес с отчаянием, потому что вдруг ему показалось, что вообще на Кавказе нет никаких гор, а одни лишь пустые разговоры про них.

— Ну как же, милые... Дружочки мои, Кузьменыши! — сказала как-то задушевно и приподнято Регина Петровна и тихо засмеялась. У Сашки под сердцем потеплело от такого журчащего ее смеха, и стало ясно, что не может не быть на Кавказе гор, если сама Регина Петровна о них говорит!

Воспитательница подошла к окну, кивнула в сторону горизонта:

— Вот, вот же они!

— Где? — Колька высунулся, и другие воспитанники стали смотреть.

— Не видите?

— Не видим! — отвечали ей хором.

— Не вижу, — сказал Колька. Но не так уверенно, потому что он не мог не знать, что Регина Петровна говорит лишь правду. Пусть курит. Пусть смолит свои папиросы, это ее дело. Но шутить по поводу Кавказских гор она так легкомысленно не станет.

Регина Петровна указала рукой на тучки, которые начали из синевы переходить в нежную розовость, и сказала:

— А это что?

— Это? — спросил ее тоном Колька. — Ну, это же...

Он хотел сказать, что это тучки, обыкновенные тучки, которые небесные вечные странники... Но вдруг понял и осекся. И уже тихо, тихо прошептал:

— Горы? Да?

И вдруг, как псих, закричал на весь вагон:

— Го-ры! Го-ры-ы!!

И все, кто еще ничего не знал, бросились к окнам и стали показывать друг другу на тучки и объяснять, что это вовсе не тучки, а так белеют, сизовеют далекие на горизонте вершины гор, и ехать до них еще, может, несколько дней.

И Сашка, который понял, что все они увидели, все, кроме него, заволновался, возбужденно попросил: «Покажите, покажите мне!» И он пододвинулся к окну, а Колька стал ему втолковывать: «Вон, вон впереди...» И Сашка, побледнев, спрашивал: «Где? Где?» — А потом тоже увидел и, измученный, устало улыбнулся.

Вот и доехали они до Кавказа. До самых настоящих гор.

И если уж чем-нибудь они хвалиться будут в томилинском своем детдоме по возвращении, то уж ясно не алычой или терном, которого завались на насыпи, и даже не бурной рекой Кубанью и новым дрожащим мостом, по которому они первые из всех эшелонов проехали над страшной кипенью реки. Нет, нет!

Они сразу расскажут главное: как увидели они настоящие в дальней сиреновой дымке белеющие тучки в высоте над горизонтом, прямо по ходу поезда, и как это оказались хребты и вершины Кавказских гор.

— Ура! Да здравствуют горы! — заорал Колька во все горло, и все подхватили и стали барабанить по полкам, по стенам, стали плясать и кувыряться через головы... Это вышло как праздник, вагон будто сошел с ума... И только за общим гамом, неуправляемым, но тем не менее стройным детским хором можно различить неизменное слово «горы».

Но ехали еще полтора суток: ночь, день и еще ночь, пока не приблизились к этим горам и к тому месту, где была их станция.

Разбудили их рано утром.

По вагонам пронеслось — выгружаться, не забывать своих вещичек, у кого они есть!

Усатый коротышка проводник выкрикнул про вещички и подмигнул на ходу братьям:

— Вот и добрались, шибздики, до Кавказа, можете вылезти да пощупать, с чем его едят!

Он побежал к дверям, а свернутые в трубочки флажки торчали у него из-за сапога.

Кузьменыши посмотрели друг на друга и в окно.

Состав остановился около невысоких и пустынных гор — ни станции, ни вокзала. Сгорели во время недавних боев.

Название — «Кавказские воды» — было начертано углем на фанерке, прибитой криво к телеграфному столбу.

Вправо от железной дороги до горизонта открывалась просторная в утренней дымке долина в квадратах зеленых полей с цепочками деревьев вдоль не видимых отсюда проселков и белых, вкрапленных в эту зелень домиков, а может, и целых селений.

За долиной, в едва различимой дали бугрились буроватые холмы, в рыжих пятнах леса, как в подтеках, а уж за ними, будто возникая прямо из воздуха, сверкали ледяными вершинами главные Кавказские горы.

Еще прежде, на каком-то полустанке их проводник Илья, тыкая флажками вверх, дотошно объяснял Кузьменьям, как они, эти горы, прозываются, какая — Казбек, а какая — Эльбрус, с двумя головами и одним туловищем, словом, тоже близняшки.

Вспомнилась сразу папиросная пачка в руках красавца полковника с зигзагом изломанных вершин, ничуть не похожих на эти горы.

Они виделись еще с дороги как бы сквозь кисею, реальные, но не настолько, чтобы ощутить их реальность.

В ясное сегодняшнее утро различались все складки ущелий на серых склонах, как и ледяные натеки, сходящие белыми кривыми штрихами вниз.

Горы были рядом. Они казались даже ближе рыжих лесных холмов, над которыми нависали.

Но уже становилось ясно, что рыжие холмы за долиной далеки, даже очень далеки, а уж те вершины, что парят над ними в небесах, и того дальше.

Влево от железной дороги, от несуществующей сейчас станции, прямо от рельсов поднимались пологие и безлесые взгорки, выгоревшие на солнце до желтизны. На одном из них белела колоннами ротонда, неведомо каким случаем уцелевшая в войну.

В направлении этой ротонды и повели детей, выстроив в колонну, по пять человек в ряду. Но сразу же выяснилось, что никто строем ходить не умеет, да и не хочет, а шли кучками, сбившись по детдомам, и напоминали каких-то беженцев при отступлении.

В то время как передние вслед за директором втягивались в просторное ущелье, задние еще копошились возле вагонов и никак не могли от них оторваться.

Пройдя неширокой, но утоптанной дорожкой между невысоких горок-горбов, ребята вдруг очутились на обширной площадке, прикрытой от станции этими горками.

Тут белели развалины бывшего санатория, и прямо посреди кирпича и мусора на земле все увидели странные бетонные ямки квадратной формы, наполненные водой. Вода в них

пузырилась и кипела, легкий парок реял над площадкой, а от воды несло тухлятиной.

— Фу, навоняли! — пронеслось. И стали повторять эту шутку и громко смеяться, сбрасывая с себя напряжение первых тяжких минут на незнакомой земле.

Подбежал запыхавшийся Петр Анисимович, который челноком сновал по колонне взад-вперед, и, размахивая своим портфелем, попросил остановиться.

Но все и так стояли, не зная, куда идти дальше. Оказалось, что они пришли.

Указывая на ямки, Петр Анисимович сказал:

— Серная вода! Не слышали? Ну, вот... Значит, даже полезно, если кто хочет помыться...

Ребята молчали. Подходившие сзади еще продолжали гомонить и, ничего не слыша, толкали передних и спрашивали: «Это что, наш дом, да? Мы прибыли, да?»

— Надо это... Надо лезть... Раздеваться и смыть всю дорожную грязь, — добавил чуть громче директор и покосился недоверчиво в сторону ямок. Было ясно, что и он не знал, как в них моются.

— Сам и лезь! — сказали в толпе громко. — Мы чево, дураки, что ли! Или нас сюды на суп везли?

— На суп? — не понял Петр Анисимович. — Почему на суп? — Он всматривался в лица ребят, будто искал хоть в ком-нибудь поддержки. Но лица, как на подбор, были усмешливые, любопытствующие, в крайнем случае недоверчивые или испуганные.

— Это ведь непонятно, что происходит! — произнес он, вытирая лоб. — Почему на суп? А?

— Потому что вареные, как раки, будем! — сказал кто-то, не скрываясь. — Это же кипяток! Вон как бурлит!

— Ага, — пробормотал директор и вздохнул. — Серная вода... Никогда не видели... Это понятно, в общем...

Петр Анисимович посмотрел на ямки и, потоптавшись, направился к ближайшей из них.

Не оглядываясь больше на ребят, даже словно забыв про них, он стал медленно раздеваться. Снял пиджак, сложил его вдвое, наружу подкладкой, а под него как какую-то драгоценность портфель спрятал. Стащил брюки, рубашку, майку и почему-то в последнюю очередь ботинки.

В одних трусах, сатиновых, темных, длинных до колен, он медленно, покряхтывая и вздыхая, подошел к ямке. Потрогал воду ногой, рукой пощупал и все не решался окунуться. Как царь в «Коньке-Горбунке» перед кипящим котлом, где потом и сварится!

Вдруг, охнув, Петр Анисимович скользнул по краю прямо в воду, брызги полетели на ближайшие камни.

По толпе, сгрудившейся вокруг такого цирка, пробежал смешок. Раздались голоса, хохот, шутки.

— Это ведь непонятно, что происходит! — произнес кто-то тоном директора.

— Очч-чен-но понятно! Сейчас мясной бульон будет!

— С наварчиком!

— Суп по-директорски!

— А может, братва, спасать пора: вас-то придурков много, а директор у нас один!

— Бросьте ему портфель! Он без портфеля утонет!

Кричали разное, а Петр Анисимович плескался и никакого внимания на ребят и на их реплики не обращал.

Он фыркал, чесал под мышками, с головой окунался, сплевывая воду фонтанчиком изо рта, и всем своим видом изображал, как ему приятно бултыхаться в тухлой ямке.

Шуточки постепенно смолкли. Недоверие уступало место любопытству. Самые бедовые приблизились к ямкам и, хихикая, попробовали воду. И тут же отскочили. А самого любопытного, зазевавшегося у края, столкнули прямо в одежде. И он, уже не пытаясь вылезать, продолжал плавать под хохот и ободряющие крики из толпы.

Тогда полезли сразу несколько ребят, с оханьем и аханьем, будто пугаясь тухлой воды, но ясно было, что ничуть они не боятся, потому что с ходу начали бузить: брызгаться, плескаться, пускать изо рта фонтаны...

Тут и остальных прорвало. Поняли, наконец, что никакой суп им не грозит, а это баня, да веселая такая баня, развлечение, словом.

С ревом, с криками «ура» бросились занимать скорее ямки, которых уже не хватало, и началась потасовка и обливание друг друга водой.

Только девочки жались в сторонке, с боязнью и любопытством наблюдая за общей сварой. Но появилась Регина Петровна и повела девочек за собой. За развалинами санатория, на краю поляны, дымился большой квадратный бассейн. Его почему-то сразу не заметили. Сюда и привела Регина Петровна девочек. Быстро разоблачила догола двух крепеньких молчаливых суровых мальчиков лет трех и четырех и по очереди опустила в бассейн. Девчонки, привычно повизгивая, полезли следом.

Странная, наверное, была картина, если взглянуть со стороны.

Полтысячи детей — теперь заметней стало, что это дети, — самые обыкновенные дети, бесились среди развалин, дорвавшись до купания. Они ныряли в свои и чужие ямки, брызгались, расплескивали теплую воду на кирпичи. Лишь Петр Анисимович, одевшись и зачесав свои редкие сидящие волосы, посиживал в сторонке, прижав портфель к коленкам, и поглядывал с опаской в сторону гомонившей ребятни.

Рядом, присев на корточки, покуривал «козью ножку» с независимым видом старенький машинист с белым ежиком волос. Это он показал директору необычную баню. Не впервой, наверное, бывать ему здесь.

С трудом извлекали купальщиков из ямок, чтобы снова построить в колонну.

Кто-то уже одевался, а иные все продолжали барахтаться в воде, и не было сил их извлечь оттуда. Колька с Сашкой тоже сначала не хотели лезть, уж очень противно пахла вода.

Кишки выворачивало. Но потом понравилось, да и ямку они успели захватить небольшую, но удобную, выложенную цветным голубым кафелем.

Братья друг друга потеряли, вместе окунулись, решив посмотреть, как они выглядят под водой. Но уцепиться было не за что, они сразу же всплыли. Тогда они погудели ртами в воду, покрутили буруны, обрызгав кого-то, кто пытался к ним сунуться из соседней ямки, и стали одеваться. Им времени хватило, да и Сашка, ослабший от болезни, не мог долго сидеть в воде.

В мокрой одежде, как и многие другие, стояли братья в середине колонны и смотрели на горы, те, что блистали в высоте. Оказалось, что их отовсюду видно и смотреть на них можно

сколько влезет. И это не надоедало.

Петр Анисимович, не обращая внимания на сидевших в ямках, выкликнул всех по списку. Выяснилось, что за время дороги потеряли они семь человек: кто-то отстал, а кто-то, наверное, и бежал, не без этого.

Той же тропой вернулись они к железной дороге и мимо станции (теперь понятно стало, отчего это место звалось «Кавказские воды», хоть надо бы назвать, наверное, «Тухлые воды») начали спускаться в долину.

Шли, растянувшись по широкой и пыльной дороге между зеленых полей. Пытались запомнить Кузьменыши, что и где растет, на всякий случай, конечно, не очень-то веря, что может пригодиться, ведь неизвестно было, куда и сколько им идти.

С небольшим перерывом — во время перерыва бросались шарапать что попадало под руку, но делали это уже лениво, отъелись за дорогу — брели они до тех пор, пока не показались белые домики посреди зелени.

Колонна насквозь пересекла по белой, мягкой от пыли и странно пустынной улице станицу, которая звалась Березовской, хотя никаких берез тут не росло.

За станицей лежало поле с торчащими вверх каменными столбами ростом повыше Кузьменышей, их было много, серого цвета, похожих на надолбы, что ставили под Москвой против фашистских танков. Видать, и тут оборонялись, подумалось обоим братьям, — вон сколько камней навтыкали! Но взгляд их был сейчас устремлен вперед, на дорогу, которая, судя по всему, кончалась.

Километрах в трех от станицы встали. Прямо у начала зеленых гор за деревьями были видны строения: один дом белый, двухэтажный, два других — по одному этажу, но длинные, похожие на бараки.

На столбике у входа за зеленую колючую ограду висела надпись: СИЛЬКОЗТЕКНЮКОМ. Слово это было зачеркнуто мелом крест-накрест, а внизу торопливой рукой дописано; «Для переселенцев из Мос. обл. 500 ч. Беспризорные».

Петр Анисимович озабоченно оглядел подтягивающуюся колонну. Прижимая к себе портфель, прочитал надпись на столбике, покачал головой и повернулся к ребятам. — Ну вот, мы на месте, — сказал и вытер пот со лба. — Значит, здесь мы будем жить. Дисциплина, значит, и все прочее, сами понимаете... Не шевутить. Далеко не бегать, искать вас некому... Пропадете.

В это время где-то за горами бухнуло и раскатилось протяжным громом. Ребята подняли головы, но никаких туч не было и в помине.

Петр Анисимович тоже посмотрел вверх, хотел произнести свое: это ведь непонятно, что происходит... но сказал другое.

— Мины рвут... Которые после фашистов... Ладно. — И опять ладонью вытер пот. — Значит, теперь вам укажут, где спальня, а где столовая, туалет... Можете быть свободны. Судя по всему, это была как бы вступительная речь в честь их приезда.

Замороженный человек, руководивший до сего времени каким-то складом, иначе он не умел говорить. Да и сказать ему было нечего, в такой роли он сам оказался впервые. Велели отвезти детей, он их и отвез.

Прежде возил картошку в ОРСе, мыло возил, растительное масло в бидонах. И это было главное, что он умел делать. Он слыл приличным в районе хозяйственником.

В портфеле у него, как прежде накладные, лежали какие-то документы на детей. В них надо было еще разбираться. Если, конечно, достанет времени.

Произнеся «можете быть свободны», Петр Анисимович махнул рукой в сторону домов, полагая, что прибывшие так и бросятся скорей занимать свои железные койки. Но он ошибся. Колонна как стояла, так и продолжала стоять. Все смотрели на дома и чего-то ждали.

Директор уже успел заметить, что в разных обстоятельствах эта непонятная, неуправляемая масса вела себя непредвиденно по-разному, но в то же время, не сговариваясь, все пятьсот человек делали одно и то же.

И теперь толпа напоминала большого колючего ежа. Ни шутики, ни смешка, ни даже какого-нибудь звука не раздалось.

Неосознанная тревога, возникшая во время долгого пешего пути от станции, с приходом на место не исчезла и не растаяла, а стала даже сильнее.

Да еще эти непрекращающиеся взрывы, они будоражили ребят, напоминали им о чем-то, о чем пора уже было забыть. Дети прибыли на поселение для мирной жизни, и благословенный горный край должен был встретить их миром. Золотым солнцем на исходе лета, обильными плодами на деревьях, тихим пением птиц на заре.

Я помню ощущение тревоги, которое возникло в нас по пути от станции сюда, к подножию лесистых гор. К поезду, к вагону да и к дороге мы привыкли, это была наша стихия. Мы чувствовали себя в относительной безопасности среди вокзалов, рынков, мешочников, беженцев, шумных перронов и поездов.

Вся Россия была в движении, вся Россия куда-то ехала, и мы были внутри ее потока, плоть от плоти — дети ее.

Теперь нас уводили по твердой, в глубоких трещинах дороге, где цвели никем не собранные цветы, где зрели яблоки и щерились, уставясь на солнце, черные, осыпавшиеся наполовину, подсолнухи. И не было ни одного человека. Ни единого...

За весь наш многочасовой путь не попала нам ни подвода, ни машина, ни случайный путник. Пусто было кругом.

Поля дозревали. Кто-то их засеивал, кто-то пропалывал, убирал. Кто?..

На долгом нашем пути была деревня, кто-то ведь в ней жил...

Отчего же так пустынно и глухо встретила нас эта красивая земля? Отчего даже здание техникума со скоропалительной дурацкой дощечкой, напоминавшей нам о нас, о нашей одинокости, было пустынным, без единого человека?

А мы, и правда, сами напоминали зверят, брошенных для какого-то невероятного эксперимента в пустыню: «500 ч. Беспризорные». Так была обозначена наша порода.

Только что означало «ч»? Чечмеков, чумаков, чудиков? А может быть, чужаков?

За нашей спиной в горах снова гулко взорвалось, и девочка, в самой середине колонны, произнесла — мы услышали — «хочу домой». И заплакала.

Все зашевелились, оглядываясь и вслушиваясь, как ее утешают. Ей говорили:

— Ну, чего ты! Чего испугалась, смотри! Вот наш дом! Видишь? Здесь теперь все наше, и дом, и речка, и горы... Мы приехали, чтобы здесь жить!

В горах в который раз прогрехотало. Мы стояли перед входом в новую жизнь и не торопились туда войти.

Думаю, что все мы переживали и чувствовали себя одинаково. А мысли были такие скользкие, неясные, но вовсе не о том, что мы приехали домой и что все тут теперь наше...

А нашего — тут — были только мы сами. Мы да наши ноги, которые и всегда готовы были драпануть, случись хоть что-нибудь. Да наши души, о которых говорят, что их, то есть душ, будто бы нет...

Отчего же в тот момент, я помню, точно помню, так сильно болело у меня, да, наверное, не только у меня, внутри?

Может быть, от ужасной догадки, что не ждет нас на новом месте никакого счастья. Впрочем, мы и не знали, что это такое. Мы просто хотели жить.

День хвалили вечером, так говорят.

А пока во дворе, замкнутом с трех сторон домами, с четвертой — живой колючей изгородью, — сбросили имущество, что дали в дорогу: несколько ящиков с консервными банками, на которых были заграничные этикетки, флягу прогорклого растительного масла откуда-то из запасов ОРСа, припасенного самим директором, странные подарочные мешочки с ненашенскими этикетками и кучу тряпья.

К счастью, в двухэтажном доме, во всех его комнатах оказались койки с матрацами, а кому не хватило коек, постелили прямо на полу.

Девочек, их было меньше, разместили на первом этаже, мальчиков на втором, а самых старших, шести-, семиклассников, в одном из крыльев одноэтажки. Другое ее крыло было отдано под кухню и столовую. Вторую одноэтажку заняли директор и воспитатели. Здесь же находились склад и другие служебные помещения.

Но это был видимый порядок, которого удалось достичь в течение нескольких недель. Все остальное складывалось стихийно, то есть вообще никак не складывалось. Три воспитателя да директор — и весь штат колонии. Никто никого не знал, и не было возможности сразу учесть эту полутысячную махину, сведенную волею случая вместе.

Не имелось повара, да и варить оказалось нечего. В красивых американских банках обнаружили зеленые крапивные щи. В подарочных пакетах, которые раздали по группам, не успев их проверить, содержалось: письмо от английских профсоюзов — тред-юнионов, газета «Британский союзник», несколько пачек сигарет, презервативы, плоские бумажные спички, а также рекламные красавицы в непотребных позах.

Пока Петр Анисимович догадался, что эти пакеты предназначены вовсе не детям, половина воспитанников дымила сигаретами, а презервативы надували и подбрасывали в воздух...

Красавиц развесили по стенам, для верности подписав карандашом, что у них как называется. «Британский союзник» пошел на подтирку, и, поскольку единственный туалет загадили с первого дня до крыши и все вокруг тоже, теперь это делали за стеной дома, у зеленой ограды, и повсюду валялись клочки непривычно жесткой союзнической газеты.

Пожалуй, она оказалась здесь всего полезней.

Банки же от крапивных щей использовали вместо тарелок, разрезав каждую пополам. Ложки ребята добывали сами и держали при себе. У многих были самодельные, вырезанные из куска дерева. Да и нечего было есть пока этими ложками. Бурда, которую с самого начала варили в таганке на самодельной кухонке, гущи никакой не имела, называлась затирухой: кукурузная мука, вода и постное директорское масло, ее можно пить из консервной банки прямо через край. А вскоре и муки не стало, колония перешла на самостоятельную добычу съестного, впрочем, большинству это было не в новинку. Кузьменышам тоже.

Устроившись вполне прилично в уголке за печкой, которая пока не грела, но ведь катила зима — и тут Кузьменыши смотрели далеко вперед, дальше других, — братья произвели проверку наличных ценностей.

В их загашнике, устроенном невдалеке, у берега Сунжи, мелководной и рыжей речонки, лежали спички, плоские, заграничные, из союзнического пакета, два презерватива, пакет, прозрачный, красивый, ключи от вагона, стыренные из кармана проводника, когда он

описывал братьям названия гор, тридцатка, потершаяся на сгибах от частого пользования, и несколько картофелин, утащенных у того же простодушного раззявы проводника.

В сравнении с томилинскими заначками это было куда больше, а больше всегда лучше.

Лаз, устроенный в бывшей звериной норе, братья расширили, чтобы можно было упрятать и кое-что еще, если появится.

И оно появилось, хоть и не сразу.

Следующее, что совершили в своей новой жизни Кузьменыши: провели обследование самой колонии, то есть тщательно осмотрели ее территорию, все помещения, углы, чердаки.

Начали они по привычке с хлебoreзки, которая до поры пустовала. Кроме гирь да весов — они виднелись через окно, — не было там ничего. Замочек же на дверях висел хлипкий, а окна без железных решеток.

Все это Кузьменыши отметили как некоторый прогресс в сравнении с Томилином. Занятым показалось и то, что столовку с кухней неосмотрительно разместили рядом со спальней мальчиков. При случае надо бы поискать ходы на кухню с этой, не охраняемой никем стороны. Хотя кухни в том понимании, к какому привыкли братья, тут тоже не было.

Затируху варили сами девочки прямо на улице, на таганке. Да и не стоила она того, чтобы братья захотели ее стащить.

В столовку при желании можно было проникнуть на обед и раз, и другой. Тем более что братья и здесь, на месте, с первых же дней всех успели своим сходством запутать и одурачить.

Обменивались койками, обменивались одеждой, ложками, мисками, даже привычками, если это было возможно.

Так что однажды кто-то из ребят вполне искренне воскликнул:

— А вы сами-то, братцы, хоть помните, кто из вас какой брат? Кто Сашка, а кто Коляка? Братья, не задумываясь, отвечали, что они этого не помнят, чем заморочили остальных еще больше. Спальня грохнула так, что заглушила дальние взрывы в горах, но уж кто смеялся по-настоящему, так это сами братья. Начиналось дуракавалянье, а уж в нем Кузьменыши чувствовали себя, как мальки в воде.

Обследовали они директорский кабинет и, особенно, рядышком, склад вещей.

У директора пожить пока было нечем, и это невыгодно отличало нынешнего директора от томилинского жулика, которого, конечно, не раз пытались обобрать воспитанники, да звери-собаки мешали.

На складе же, куда удалось всунуть нос, кроме мешков с тряпками, стояла лишь фляга с постным маслом, ее-то и взяли братья под наблюдение.

Тем более что и замок, и задвижка были примитивны: пальцем можно открыть.

Слоняясь у дверей склада, наткнулись на Регину Петровну. Она жила тут же, рядышком, за углом.

Крошечная комнатуха с торца дома, две железные койки, такие же, как у колонистов, тумбочка.

Но уже на окошке красовалась занавесочка, на койках какие-то непривычные для глаза цветные покрывала, на полу у порога коврик, и еще зеркало, небольшое, в деревянной

оправе на стене.

Кузьмешам, которых воспитательница пригласила в дом, все это показалось невозможно праздничным и нарядным. Да ведь иначе и быть не могло.

Они топтались у порога, не смея своей обувью, своим присутствием нарушить этот порядок, так что хозяйка почти силой протолкнула их в комнату и предложила садиться прямо на койки. Стульев пока не было.

Поясняя на ходу, что мужички играют во дворе, и слава богу, меньше толкотни и грязи, Регина Петровна постелила на тумбочку чистую салфетку, на нее поставила блюдечко с двумя сухарями. Потом принесла от таганка в ковшике чая, налила всем и положила каждому по несколько крупинок сахара из белого бумажного фантика, точно такого, как от лекарства, которым пичкали Сашку на станции Кубань.

Братья жадно хлебали сладкий чай, экономно отгрызали от сухариков кусочки, которые сами собой таяли во рту, растравляя и без того сильный голод.

Сама же хозяйка, забрав в узел густые черные волосы, курила у окошка, легонького, кстати, окошка, его запросто можно было взломать, если бы кто захотел сюда забраться.

Опытный Колька это сразу определил.

— Ну, вы всех заморочили своим сходством? — спросила Регина Петровна, поглядывая в сторону братьев. — А я тут сортировала документы, хоть я и занимаюсь девочками, но и ваши попались... Одна характеристика на двоих. Там написано, что у вас не только внешность, но и привычки, и наклонности, и все остальное одинаковое. Так и сказано. Мол, не стоит на вас две характеристики писать, потому что Кузьмины все равно что один человек в двух лицах.

Регина Петровна хотела что-то еще добавить, но раздумала.

— Ладно. Потом, — колебавшись, сказала она. — А кстати, кто у вас кто? Ху из ху?

Колька со вздохом посмотрел на оставшийся кусочек сухарика и сказал:

— Сашка вон ест быстрее, у него терпежу мало. У меня побольше. Зато он умней, мозгой шевелит. А я — деловитый.

— Ага, значит, разные... Я подозревала, что они вас не знают. Что вы их совсем заморочили. Хотя... Иных и морочить не надо, им все дети на одно лицо. А кстати... — Регина Петровна что-то вспомнила и выпустила в сторону окошка струйку дыма. Так вкусно она курила, делая трубочкой губы, что и братьям захотелось закурить. — Там в характеристике упоминается, что вы и в милицию попадали... За что же, если не секрет?

Колька замялся, посмотрел на Сашку. Но Сашка догрызал свой сухарь и помалкивал.

— Ну... Мы соленый огурец стащили у одной на рынке.

— Огурец? Один огурец?

— Не, не один, а два! Один я взял, а другой — Сашка. Чтоб больше было!

А Сашка добавил, доев сухарик:

— Нет, не так. Мы бдительность потеряли. Один из нас стоял на атасе. Ну, то есть если что, он должен кричать «атас» или «атанда»... А другой спер из бочки огурец. А потом и другой, который на атасе, решил тоже схватить огурец, а тут нас и схватили...

Регина Петровна не засмеялась, а задумалась, глядя в окно.

Докурила, бросила «бычок» за окно, повернулась к братьям.

— Потерпите уж, дружочки. Мои мужички тоже терпят... Да и все девчонки из моей группы голодают не меньше вас. Вот директор в Гудермес собрался, может, он привезет продуктов. А пока... Вы приходите ко мне, ладно? Приходите, правда, чем-нибудь да угощу. Вон у меня еще сахарину на неделю достанет, чай будем пить.

Братья поднялись, пообещали заходить. И хоть они не глядели друг на друга, но чувствовали, причем знали, что одинаково чувствуют: они не станут часто заходить к этой замечательно красивой и доброй женщине Регине Петровне именно потому, что она сама голодает.

Вот если им удастся надыбить какой-нибудь кусочек «с коровий носочек», тогда зайдут.

Зайдут, чтобы по-царски ее одарить.

Более того, они и промышлять будут лучше, оттого что их Регина Петровна, наверное, сама промышлять не умеет. Разве с ее нежными пальцами взломаешь замок? А есть-то ей да ее мужичкам — Марату и Жоресу — тоже надо.

Вот так они подумали, когда прощались. Кольке таки удалось сэкономить кусочек сухарика и сунуть его в карман. Потом он подарит его Сашке.

Обследовав дома, кладовки, спальни, чердаки (там, за плохо забитыми дверьми тоже матрацы лежали), изучив до куста колючую живую изгородь и найдя в ней два потайных лаза, братья обратили свое пристальное внимание на речку, на ближайшие сады и, конечно, на станицу Березовскую, расположенную в трех километрах от колонии.

То, что они приняли за противотанковые надолбы в поле, оказалось старинным кладбищем, вовсе не страшным, без крестов и свежих могил. На серых гранитных столбах было что-то вырезано на неизвестном языке, а на некоторых нарисованы два кармашка с патрончиками, такие видели братья в картине «Свинарка и пастух» у красавца пастуха. Пастух пасет овец и во все горло орет песню.

Братья потрогали гладкий камень и прорисованные кармашки и одновременно подумали, что в здешних горах в отличие от любимой картины, которую они глядели раз десять, никто не поет веселых песен и овец не пасет.

Братья несколько дней приглядывались к станице и сделали вывод, что люди-то в ней живут. Скрытно как-то живут, неуверенно, потому что по вечерам и на улицу не выходят, и на завалинке не сидят. Ночью огней в хатах не зажигают. По улицам не шатаются, скотину не гоняют, песен не поют. Черт знает, как они могут так жить, но живут, вот что главное.

Первый раз братья по полю со стороны садов проникли. Наткнулись на картошку, один куст для пробы подкопали, засеки: урожай созрел, надо прийти вечером.

Неслышно дошли до сеновала, подождали, прислушиваясь. Но тут раздался кашель, тяжелый кашель, мужской, какое-то бормотанье. Они повернули обратно. Встреча с сельским хозяином не сулила ничего доброго. На Томилинском рынке мужики били жестоко, насмерть. Городские били тоже, но милосерднее.

Вторично впотьмах после отбоя в колонии наведались, нарыли картошки, напихали в пазуху и в карманы, краешком улицы прокрались.

И опять ничего такого не увидели, лишь глухие голоса кое-где за заборами.

Ни собачки, чтоб залаяла, ни квохтанья курицы, ни визга поросенка, как у них в Томилине, ни каких-нибудь частушек под разбитную гармошку...

Ни-че-го.

А было время, томилинская ребятня, да и братья тоже, ходили подглядывать, как кривоглазый гармонист, днем он продавал на платформе мороженое, лапал девчат, нисколько не стесняясь пацанвы, и некоторых сажал себе на колени и задирали юбку.

Ухмылялся пьяно, единственный глаз его вытаращивался, прихихатывая, он говорил: «Как насчет этого дела?» Ребята смущались. Молчали. И тогда гармонист растягивал свою облупленную гармошку и орал на всю улицу похабные частушки.

В Подмоскovie в домах была жизнь. Это точно.

А здесь она словно бы исподтишка теплилась. От непривычки братья робели: как забраться в дом, если нет о нем точного понятия, кто хозяева, когда, в какое время бывают дома?

Но тут сам случай пришел им на помощь.

Однажды, бродя вокруг станицы, наткнулись они на человека, который собирал сушняк.

Братья хотели прошмыгнуть мимо, но узнали проводника из вагона. Усатый, коротконогий, но сейчас без своей форменки, в рубаше, простых портах, он вдруг оказался моложавым

мужчиной, ну, почти как тот гармонист.

Проводник посмотрел на ребят, ощерился. Вспомнил небось, как два близнеца в Воронеже от спекулянтки удирали! Он им еще Казбек с двуглавым Эльбрусом показывал. А они тово... Ключи свистнули. И свистнули-то скорей по привычке: очень уж они блестящие да звонкие, так рука сама и схватила. А зачем, бог знает.

— Пришли? — спросил деловито проводник и будто ухмыльнулся.

— Гуляем, — сказал Колька. А Сашка кивнул.

— Дак, тут ваши уже многие гуляли, — сказал проводник. — Половину моей картошки пригуляли! — И приказал: — Бери хворост, пошли.

— Картошку — это не мы, — отрезал Колька.

— Не вы... Не вы... — отмахнулся проводник. — Вы только ключи стянули. Или нет? — Он повторил: — Ну, пошли! Ладно.

Хворост был связан в огромные пучки. Каждому досталось по пучку. Донесли до дороги, погрузили в тележку, деревянную, с ржавыми колесами, и покатали к деревне. У крайнего дома, беленького, с палисадом и огородом на задах, выгрузились. Проводник ушел в дом, а ребята остались ждать во дворе.

Одновременно обоим подумалось: оттого на этом огороде и промышляли колонисты, что он с краю, ближе к колонии. С краю — всегда безопасней тащить.

Пока стояли, с интересом оглядывали дворик с глухим высоким забором, вдоль которого изнутри тянулся навес, под навесом кукурузная солома, хворост, какие-то железки, среди которых валялся позеленевший от времени медный кувшин с узким горлом. Кувшин стоило запомнить, хоть неизвестно пока зачем. Пол во дворике, братья такое видели впервые, был твердый, гладкий, мазанный желтой глиной. У входа в дом валялась полинявшая от времени козья шкура.

Хозяин высунул из дверей кудлатую голову, крикнул:

— Да заходи, чего стали-то?

Братья с оглядкой, гуськом, чтобы можно было драпануть в случае чего, прошли сумрачные узкие сенцы, где стояли медные и глиняные кувшины, и ступили на порог горницы. И здесь было белено, и стены, и потолок, как белят в России печки.

В углу, где должна быть икона, портрет товарища Калинина, «всесоюзного старосты».

Посреди стол, грубый, ничем не покрытый, два табурета, койка. Под койкой домотканый коврик: по черному полю красные узоры. Больше ничего в комнате и не было. У входа прибита полка, а на ней немудреное хозяйство, сразу видать, — холостяка: чугунок, две железные миски, солдатский котелок, кружка, помятая с одного бока. На столе стоял жестяной, весь закопченный полуведерный чайник.

— Так и живу, — сказал проводник и снова усмехнулся. — Как говорят: живу хорошо, жду лучше! — И к ребятам, которые уселись на койке, на грязноватом сером одеяле, рядышком, плечом к плечу, — не только потому, что тесно, но и просигналить одним как бы случайным движением можно: — Соседушки, значит? Вот же как!

Братья кивнули.

— Я уж забыл, как вас там? Кличут-то?

Колька сказал:

— Я Сашка.

Сашка сказал:

— Я Колька.

Как будто их вранье имело сейчас значение. Скорей всего, дурачили по привычке.

— Ну, а я вот... Илья. Так и зовите.

Братья опять кивнули.

— А я ведь вспомнил, как вы бежали от этой дуры-то! Сам бегал... Ох, и побегал я, если бы знали. Но — после расскажу. Я тут один живу. Бабы у меня нет. Вот картошку варю на улице, таганок сделал. Чай кипячу. Да смотрю, чтобы меня отсюда не шуганули к такой-то матери!

Колька сразу спросил, этот вопрос их интересовал:

— А что, дом разве не ваш?

Проводник натянуто засмеялся, усы зашевелились.

— Ха! Да мово тут... Даже вша, и то не наша! Станица-то знаете как прозывается?

— Ну, Березовская, — ответил Сашка.

— Березовская! Какая же она Березовская, если она Дей Чурт звалась, — заорал проводник. — Это теперь она Березовская. А могла стать Осиновская али Сосновская... Она на самом деле Дей Чурт. Вот так-то.

И проводник Илья обвел глазами комнату, посчитав, что ребята поняли.

Но Кольке надо было знать все точно. Зачем бы они тогда шли сюда? И он спросил настырно:

— Ну, и что — дай черт? — нарочно переврал.

— Вот именно — черт... Гиблое место... А черти кругом!

Проводник Илья покачал головой, удивляясь такой несообразительности. Сказал, наклоняясь и шепотом, будто были они не одни. Да вообще ребятам показалось, что он все время оглядывается.

— А вы чево сюда приехали-то, а? Ханурики? Тараканы городские?

— Нас везли, — сказал Колька.

— А куды везли-то? Куды?

— На Кавказ...

— Ха! Кавказ большой! — отмахнулся Илья. — Вас везли заселять тут землю. Понятно? Вот зачем... несчастные обормоты! Вы тут должны населением стать... И я, я — должен населением стать... И они тоже, жучки непоседливые... — И он указал в окошко, на белеющий за живой зеленой изгородью домик напротив.

— А там — живут? — спросил сразу Колька.

— Живут... Как я... Ничего своего. Все с чужого плеча. — И он почему-то ткнул пальцем в цветной коврик.

— Ворованное, что ли? — спросил вдруг сообразивший что-то Сашка.

— Ну?!

Проводник кивнул и с каким-то остервенением добавил:

— Если не твое, то ясно, ворованное. А вы, что же, не на ворованном живете? В техникуме?

Колька подтолкнул Сашку. Оба подумали одинаково:

«Тут что-то не так. Или этот Илья чокнутый, но вроде бы незаметно. Или он подозревает братьев, что они у него картошку копали. Про ключи-то догадался... Хоть и не пойман — не вор!»

Колька осторожно спросил, поглядев на дверь:

— Откуда вы знаете? Что мы... Мы и не лазим нигде...

Проводник Илья хмыкнул только. И сурово посмотрел на братьев.

— Ха! Лазать надо, а как же жить? Вон, у вас кладовка, там одежда для зимы... Без охраны. Вам туда сам господь велит залезть! А я куплю, понятно?

Братья неуверенно кивнули. Не проверочка ли? Мол, попытаю мелкосню, а как согласятся, так и зацапаю. Братья-то были народ ученый и в милиции бывали не только из-за огурцов. Но Илья настойчиво гнул свое.

— Картошку подкопаете, прибью. Это своим скажите. У других — копайте, мне без разницы... А вот одежду притащите... Денег дам! И картошки дам... И еще чего!

— Посмотрим, — сказал неопределенно Сашка, который уже все понял и, наверное, даже придумал что-то насчет этой одежды. — Так мы пойдем? Дядя Илья?

— Без дяди, просто Илья, — сказал Илья. — Приходите. Я, пока не в рейсах, здесь буду. А насчет чужого, это вот... — Он на крыльце поднял палец и долго что-то слушал. А когда грохнуло в очередной раз в горах, произнес: — Слышите? А?

— Мины рвут, — определил Колька самоуверенно.

— Ха! Мины... — совсем без улыбки осклабился Илья. — А мы, жалкие переселенческие сучки, огня не жжем, боимся... Боимся! Это разве жизнь? — Он пнул зло попавшую под ноги козью шкуру.

— Кого? — опять спросил Колька.

— Чертей! — крикнул Илья и подтолкнул их к дверям.

Произнеся привычное: «Это ведь непонятно, что происходит!» — директор уехал в Гудермес, — что за Гудермес, какой он, где находится, братья не знали, — и колония понемногу стала расползаться. Поволокли в станицу матрацы, подушки, остатки мебели, меняли на картошку, на прошлогоднюю кукурузу.

Притащили плоский камень, грохнули прямо посреди спальни — Сашка придумал! — и трое занялись работой. Один клал зерно на камень, второй ударял по нему другим, поменьше, третий — ладошкой сгребал крошево в консервную банку. В этой банке потом варили из дробленого зерна кашу.

Не очень уверенно, но упорно оббирали поля километр за километром, расширяя зону вокруг колонии, хотя особенно оббирать было нечего. Кукуруза еще не вызрела, а картошка росла лишь у станичных. Но там ее стали охранять!

Однажды хозяева с дубьем гнались за колонистами аж до самых ворот и только чудом не прибили. Но прокричали с угрозой, чтобы все слышали: «Еще станете копать, урки бесштаные, дома пожжем! По ветру пустим!» Колонисты отвечали:

— Деревенские ублюдки! Катитесь отсюда! Мы вашу деревню раньше спалим!

— Березовская вошь, куда ползешь! Под кровать... Дерьмо клевать!

— Ну, смотрите! Как загоритесь, так и знайте!

— Сами поможем! — заорали в голос колонисты. — Пропадите вы с этим Кавказом! Чтобы вас тут моль сожрала! Чтобы вас тут кинжалами всех порезали! Кулаки недобитые!

Во все горло заорали:

Мой товарищ, мой товарищ острый нож,

Ох, да сабля ли-хо-дей-ка!

Пропадешь ты не за грош, не за грош!

Жизнь на-ша копей-ка!

Ребята о кинжалах — так, к слову помянули. Но станичные примолкли и с оглядкой удалились. И больше сюда не заходили.

Вокруг техникума теперь каждый вечер стояло зарево от костров. Каждый колонист, объединив усилия с несколькими другими, разжигал огонек из сушняка и старой травы и варил какое-нибудь хлебово, чаще всего в консервной банке.

Братья тоже пустили в дело свою картошку и несколько кукурузных початков, выменянных у проводника Ильи на матрацы.

Илья, покачав головой и осмотрев матрацы, полез куда-то под крышу, принес несколько початков желтой, тверже камня кукурузы и опять наставительно, серьезно напомнил:

«Одежа нужна. Там ее навалом, говорят... Тащи одежду!» С тем и выпроводил.

Однажды сидели братья у костра. В жестяной банке с дужкой из проволоки кипело хлебово из корней камыша, которого тут у речки росло предостаточно: кукурузы хватило ненадолго.

Сашка, почесывая грязную голову, сказал:

— Пора драпать. А?

Колька не спросил: «Куда?» Из колонии тянулась одна дорожка, на станцию. Туда по одному да по двое уходили колонисты и уж никогда не возвращались.

— Не будем ждать?

— А чего ждать-то?

— Директора... Из Гудермеса...

— А может, его и нет, Гудермеса-то! А ты вспомни Вик Вик-трыча! Он бы поехал? За продуктами?

— Для своих собак поехал бы!

— Ну, да. И этот... Увидел — дела кранты, портфельчик в руки и отчалил! Нужны мы ему больно!

Помолчали. Шуршала трава в костре, сгорала быстро, поэтому братья натащили целую гору этой травы. Кругом, там и сям, полыхали огни, но рядом с Кузьменышами на этот раз никого не было.

Колька попробовал самодельной деревянной ложкой хлебово, поморщился и вдруг сказал: «А склад?» Сашка лежал на земле и смотрел на небо.

— Чего склад? Ты думаешь, там осталось?

— Осталось. Илья знает!

— Он знает... Как чужими руками жар загребать!

Колька спросил:

— Трудно, что ли? Взломаем...

Сашка смотрел на небо, затухающее, в подернутой синей предвечерней дымке, и молчал.

— Там камнем долбануть: все отлетит! — добавил Колька.

— Камнем? Никакого камня не потребуется, — спокойно произнес Сашка. — Там ведь задвижка?

— Ну, задвижка, — подтвердил Колька.

— А дужка у замка продолговатая. Если замок повернуть боком...

— Понял! — воскликнул Колька. — Понял. Ход у задвижки будет больше...

— Так это и дураку понятно, — лениво, не двинувшись, произнес Сашка, созерцая небо. — А наши шакалы, вот как ты, долбили по замку камнем... там вмятин... Долбачи безголовые...

Больше братья ничего друг другу не сказали. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь! Сегодня, как стемнеет, они пойдут на склад... А пока надо жрать свое хлебово да следить, чтобы другие шакалы не опередили их в этом деле.

Давно известно, идеи носятся в воздухе, и если склад не ограбили до сегодняшнего дня — это не причина для успокоения. Сегодня придешь, а десять гавриков одновременно додумаются насчет задвижки. И такие чудеса в природе бывают!

Братья быстрехонько проглотили варево, спрятали понадежней банку и потом до сумерек сидели в кустах, сторожа двери склада.

Но никто в этот раз не покушался на него. Может, братья одни такие дурачки и были во всей колонии — надеялись, что там что-то лежит. А там почистили еще до них, законным путем почистили, не зазря же директор Петр Анисимович уезжал в Гудермес с огромным мешком. С портфелем и мешком. Что он, свои шмотки поехал туда продавать?

Произошло, как замышлялось.

Трусцой, с оглядкой, добежали Кузьменыши до склада. Колька повернул замок горизонтально, дернул задвижку влево, и — чудо, чудо, совершившееся поначалу в Сашкиной гениальной башке, — задвижка звякнула, дверь открылась.

Мгновенье братья оторопело смотрели на черный проем, не верилось, что все окажется так просто. «Сим-Сим, отворись!» И вот оно, пожалуйста!

— Шухари! — возбужденно, оттого слишком громко, прошептал Колька и нырнул в дверь склада. В его тайную, притягательную глубину.

А Сашка, быстро щелкнув задвижкой, поставил замок на место. Отбежал, оглянулся, не следит ли кто, юркнул в кусты стоять на атаке.

Конечно, его подмывало, зудило заглянуть хоть одним глазком, что же там лежит, на складе. На минутку ощутить себя владельцем целого вагона барахла! Нет, не для того, чтобы все до единого было твоим. Зачем одному — ну двоим — столько тряпья?

Ощутить себя человеком, вот что хотелось. Ничего за душой, да и в животе одни камышовые коренья. И вдруг — все твое! Ходишь барином посреди своего царства, щупаешь, пробуешь разве что не на зуб и знаешь: захочу, возьму одно, а захочу, возьму другое. А может, и ничего не возьму, глазами наемся да и отвалю в сторонку.

Тут Сашка сам себя остановил: совсем ничего не брать не годилось. Брать надо. В меру. Колька сообразит, какая это мера. Лишь бы никто не помешал.

Знал Сашка, примета такая есть: не думай, не призывай в мыслях никого, подумал — и вот тебе на: идут. Девчонки идут, голосят на всю округу свои девчоночьи сплетни. Про директора, про Гудермес, куда он уехал. Дался им всем Гудермес, земля обетованная, где булки на деревьях зреют. А булки-то растут вот на этом складе. Так подумалось Сашке.

Только умолкли вдали девчонки, Регина Петровна их возлюбленная появилась с Маратом да Жоресом. Присела на ступеньках склада, смотрит, как ее мужички возятся. А те под самые кусты лезут, чуть на Сашкину голову не наступают. Не дай бог, углядят... Шума будет! Или Колька, чего доброго, начнет барабанить изнутри. Он-то не видит, что рядышком на крылечке Регина Петровна сидит, задумчиво так сидит, папироску засмолила, вдаль смотрит.

Но Регина Петровна не докурила, позвала мужичков и ушла. А Сашке стало ее вдруг невозможно жалко.

Замечательная женщина, а ведь тоже торчит в этой дурацкой колонии, терпит нужду. Разве такие красивые женщины должны жить в колонии, среди шпаны, и терпеть нужду? Что ее-то сюда привело? Колонисты, те другое дело, они как перекасти-поле, куда ветер повернет, туда их и гонит... Однажды кто-то про брата Кольку так и сказал: «Ты, мол, Перекасти-Коля». Эх, знал бы Колька там, внутри, какой грустный взгляд у Регины Петровны, тянул бы он чего-нибудь и на ее долю!

Задумался Сашка, вздрогнул от неожиданности: девчонки обратно возвращаются. Спорят, голоса далеко слышны. А спорят они о том, что сегодня, оказывается, посылали на станцию телегу за директором, который должен вернуться. Колонист же, не будь дураком, сел на проходящий поезд, да и был таков. А лошадь с телегой сама по себе домой вернулась... Без колониста, но и без директора.

Скрылись девчонки — трое ребят из старшей группы откуда-то вынырнули. Вот уж не подозревал Сашка, сколько тут народу сшивается. И не бескорыстно, видать!

Колонисты с оглядкой к складу подошли, подергали замок, достали гвоздь, стали гвоздем ковырять.

У Сашки волосы поднялись дыбом. Ноги, руки онемели. Что, если Колька подумает, что это Сашка около замка шурует, и начнет изнутри голос подавать?

К счастью, чьи-то крики неподалеку раздались. Колонисты отпрянули. Будто бы гуляя, засвистели песенку, ушли.

У Сашки отлегло. Хотя напуган малость, а зловредно подумалось: «Дурачки!

Великовозрастные! Отрастили руки, а тут головой надо работать! Мозгами больше крутить, а не гвоздиком своим!» Чуть затихло, Колька постучал.

Три раза: негромко вроде бы, а Сашке показалось, что на всю колонию барабанит.

Бросился к дверям. Замочек стал набок поворачивать, а замочек не поворачивается.

Видать, колонисты гвоздиком покрутили да и заклинили замок!

— Открой! — шепчет за дверью Колька. — Скорей давай!

— Счас! Счас! — нервничает Сашка, никак чертов замок не может развернуть. А тут чьи-то голоса рядом.

Отпрянул от дверей. Но сразу вернулся. Как же он Кольку на складе запертым оставит.

А тот уже не шепчет: громко шипит, злится.

— Открывай же! Чево канителишься! Сыпанемся!

Рванул Сашка замок, освободил его. Чуть сам не упал. Палец второпях прищемил, кожу порвал, до крови.

Колька из дверей выскочил, Сашка его и не узнал: какой-то карапет в длинном до земли пальто, в шапке до глаз, в ботинках огромных. Маленький Мук, а не Колька. Не зная, так испугаться можно.

Защелкнули дверь. Три шага от склада не сделали, им навстречу Регина Петровна. Да не одна, с девчонками своими, воспитывает.

Наткнулась на Кузьменышей, удивилась. И девочки остановились, рассматривают.

— Вот и мои дружки! — сказала воспитательница. — А у нас-то радость! Директор вернулся! Вы почему ко мне не заходите?

Братья топтались на месте, на Регину Петровну не смотрели.

Девчонки захихикали. Тут и воспитательница обратила внимание на Колькин наряд.

Расхохоталась. В другое время братья, может, тоже бы посмеялись, но сейчас им было вовсе не до смеха.

— Что за одежда? Тебя кто так одел? — спросила энергично Регина Петровна, оглядывая Кольку. — И, кстати, ты кто? Сашка или ты Колька?

— Сашка, — промычал Колька. Не хотел он обманывать, но пришлось. И Сашка, отсасывая кровь из прищемленного пальца, добавил:

— А я Колька. — Это на случай, если в будущем придется прикрывать брата.

— Вот, девочки, запоминайте... Если сможете, — произнесла Регина Петровна весело. Но тут же стала серьезной. Даже строгой.

Наклонясь к Кольке, сказала:

— Ну, прости, я такая глупая, сразу не сообразила, что ты новое пальто надел. И пальто, и шапку... Но откуда?

— Со склада, — ответил вдруг Колька нахально. Сашка даже слюной подавился. Закашлялся. Теперь драпануть бы, пока не сообразили!

Но воспитательница была наивным человеком. Ничего-то она про склад не поняла.

Добродушно воскликнула:

— Вот и хорошо. Пора вас приодеть. — И тут же сказала девочкам: — Идите, я вас догоню. Девочки ушли.

— Великовато, конечно, — произнесла Регина Петровна, осматривая Сашку, который был Колькой. Поправила на нем воротник и шапку поправила. — На вырост... — добавила задумчиво.

Собралась быстро уходить, но что-то ее задержало.

— Вы хоть до холодов-то не надевайте, — посоветовала. — Сейчас тепло... Жарко, не правда ли? Подумают, маскарад какой...

— Жарко, — сказал Колька, будто сознался в чем-то.

Регина Петровна напоследок взглянула на него, на Сашку и быстро ушла.

А братья тут же дунули к лазу, что в кустах. В этом маскараде, Регина Петровна права, через двор идти небезопасно. А еще через десять минут, завязав пальто, ботинки и шапку в узел, они удалялись в сторону станицы Березовской, на ходу делясь пережитым.

Колька орал:

— Захожу я туда... Мать честная! Кругом навалом барахла! Растерялся: с чего начинать... А тут голоса...

— Это девчонки...

— Ну, да, а я с испугу в тряпье головой! Посидел, стихло. Начал копаться, слышу, замок звякает...

— А это шакалы!

— Тебе хорошо, ты видишь! А у меня дрожь пошла... Накинул пальто, а оно волочится... И шапка на глаза... И ботинки мешают... Думаю, скорей надо! Пусть волочится, пусть хоть как... А ты замок не открываешь! Жарко!

— Да заел замок-то!

— Заел... А я там спекся... Регина Петровна что-то спрашивает, а у меня пот течет, спина мокрая... Думаю: брошусь в кусты! Сил моих нет ждать! Все равно ведь попались!

— Ты зачем ей про склад-то?

— А как еще?

— Придумал бы!

— Вот я и придумал! Что она, не знает, что у нас с тобой вошь на аркане и дыра в кармане... Больше ничего своего нет!

— Все равно... А Илья нас ждет?

— Может, и не ждет. Он всегда дома. Он в темноте не выходит.

— Боится, что ли?

- Боится...
- Я тоже боюсь... — сказал вдруг Сашка. Колька присвистнул, посмотрел на брата.
- А ты чего?
- Не знаю.
- Как же можно бояться, не зная чего?
- Можно. И потом... Если все кругом боятся... это даже страшнее.
- Ладно, — рассудил Колька. — Сейчас загоним барахло — нажремся! И страх пропадет!

Илья с ходу уперся глазами в узел, пригласил в дом.

Окошки занавесил, лампу керосиновую зажег. Притащил картошки вареной, блинов толстых из кукурузы, которые он звал чуреками. Сала нарезал, и сало у него, жука, тоже оказалось. Никогда перед Кузьменышами не выкладывался хозяин так богато.

Да ведь и братья теперь не те: купцы! Хозяева! Со своим товаром пришли! Какой же тут может быть толк без застолья?

Илья и бутылку поставил:

— Гуляй, Ванька! Ешь опилки! Мы живем на лесопилке!

Разлил по кружкам, пригласил угощаться. Братья посмотрели друг на друга.

Оба подумали: пить страшновато, а опозориться и того страшней. Впервые в жизни их так угощают, принимают на равных. Впервые наливают, как взрослым, сивуху.

А Илья кружку свою тянет.

— Поехали, поехали! — как говорят проводники. За удачу! Да?

Братья взяли каждый свою кружку, понюхали. Воротит, как от помойки. Лучше бы им морса сладкого... Как-то разок угощали, вкуснотища, не то что это.

Но вида не подали, не показали, что противно. Наоборот, чокнулись громко с Ильей, будто всю жизнь только и делают, что выпивают!

Проследили глазами, как Илья без напряжения опрокинул в себя, не глотая, капли стер с подбородка и корочкой занюхал. Сразу видать, мастак!

Заметив, что братья медлят, весело приказал:

— Залпом, ну? Пить так пить, сказал котенок, когда несли его топить...

Братья натянуто засмеялись. Колька закрыл глаза, глотнул, еще глотнул, и у него сразу все потянуло обратно. Пересилив себя, сделал он еще несколько глотков, пока не закашлялся, слезы брызнули из глаз.

А Илья уж догадливо корочку с сальцем подсунул, так ловко, что попал в рот.

Колька стал жевать солененькую корочку, а слезы все текут, и судороги в горле. Ни дыхнуть, ни слова вымолвить.

И вдруг, как это произошло, сам не понял, легко, приятно стало. Счастливое тепло разлилось по телу, жаром ударило в голову. Поглядел он на Сашку, будто другими глазами увидел, что тот еще не знает, как это замечательно, когда выпьешь. А Сашка еще мучается, головой мотает, губы вывернул наизнанку.

— А вы думаете, мы мед тут пьем! — кричит озорно Илья и по-свойски стучит Сашку по спине. И тоже ему корочку с беленьким, с тающим на языке сальцем.

— Ешь, пока живот свеж! Завянет, ни на что смотреть не станет!

Откуда-то достал спичечный коробок, стал показывать братьям, как у них на транспорте вымеряют бутылку. Спичечная коробка в рост называется «машинист», на ребро — «помощник машиниста», а плашмя — «кочегар»... Так и спрашивают, когда садятся, как, мол, будем поддавать, по машинисту или по его помощнику?

Братья дружно попросили лить по машинисту! Им эта игра понравилась.

Через полчаса, разруганные, осмелевшие, они уже хозяйничали за столом, иной раз будто покрикивали на Илью.

И вот что диво-то: он лишь улыбался, но все, все сносил! Без бинокля видно, славный и покладистый парень, этот Илья! Свой парень в доску! Подливает да подкладывает, на узел и не глядит, будто его нет.

— Тряпье и есть тряпье, — сказал, как отрезал. — Не за то принимаю, что в узле, а за то, что своими вас обоих тут почувствовал!

И предложил выпить — по «машинисту», конечно, — за смелых братьев, хоть не семеро смелых, как в кино, но уж точно, что каждый семерых стоит! С такими да с молодцами любое дельце провернуть можно. И склад, и еще что...

— Любой... Склад... — пытается отвечать Колька, но у него никак не хочет складываться слово. Все вроде сознает, слышит, а губы будто чужие, не его губы, проворачивают вместе с деревенеющим языком. — Любовь... Склад...

Сашка и не пытается говорить, лишь мотает головой.

— Там ведь этого барахла-то... Завались? — допытывается Илья, и вдруг лицо его делится надвое, натрое, множится и расплывается в глазах у Кольки.

— Надо только брать да брать? А?

— Брат! — невпопад подтверждает Колька. — Я всегда брат... И он всегда брат...

Сашка согласно кивает головой и, уронив ее на руки, не поднимает от стола.

Илья, что-то сообразив, меняет тон и сам меняется, будто и не пил совсем.

— Ах, глупыши... Ах, дурачки мои зеленые... Чего мне с вами делать-то теперь? — бормочет. — Ведь, ей-бо, не дойдете до своей колонии... Не дойдете, а? — И потряс Кольку за плечо.

— Я... Готов... Я вперед... по машинисту... — выкрикнул, поднимаясь, Колька и вдруг стал валиться на стол, свою кружку с остатками самогона опрокинул. Удивился, обмакнул в лужицу палец, лизнул, и его затошнило.

Илья подхватил Кольку, потащил к порогу.

— Я и говорю... Готов! — уже другим, вовсе не дружеским голосом сказал он и, поддерживая, выволок на двор. Оставил блевать, вернулся за Сашкой. Потом отвел обоих под навес, где лежало у него сено. — Тут дрыхните! Машинисты! Завтра разбужу! — Вернулся домой и накрепко запер дверь. Схватил узел и вывалил его содержимое прямо на пол. Поднимал, каждую вещь отдельно осматривал, не спеша, и складывал рядом на постель.

Потом снова прошелся, в обратном порядке, щупал, прикидывая, сколько же такие пальто, да шапка, да ботинки крепкие, высокие, на кожомите, стоят... Пальто суконное, новенькое, с заграничным клеймом. А шапка своя, в Казани делали, гладенький мех, ласковый на ощупь... Не мех, кыска... Погладил, и душа размягчела. Все любят добро, да не всех любит оно. У Ильи в жизни по-разному было, но только теперь почувствовал: фарт ему шел в руки! Не упустить бы!

Говорится: с кем поживешь, у того и переймешь. Рос Илья без родителей, тех еще в тридцатом раскулачили да увезли из деревни. С тех пор сгинули. Видно, на пути в далекую Сибирь сложили свои косточки. Остался он с бабкой, так и жил, бедствовал, словом. С малолетства ишачил в колхозе — очень уж бедный колхозик тот был. Запомнил Илья анекдотец. Ехали Черчилль, Рузвельт и Сталин, а на дороге бык. Черчилль кричит ему: «Линкор пришлю!» Рузвельт «летающей крепостью» стал пугать. Бык ни с места. А Сталин шепнул словцо, и бык, задрав хвост, убежал. Спрашивают господ, чего же он испугался больше самолета и линкора. Сталин отвечал: «А я сказал ему, что в колхоз отдам!» Это как раз их колхоз и был.

Не успел Илья на общественных харчах окрепнуть — война. Мал он для фронта, а на трудработы годился, хоть и недобрал веса. Тощ да мал, да зубы не все выросли. Согнали их по повестке со всей округи, погрузили в товарняки и через всю Россию, по пути родителей, в далекую Сибирь. За дорогу оголодали они, сено ели, которым пол был устлан. В Омске их впервые покормили в грязноватой станционной столовке. Кто поопытней — Илья запоминал, — тот немного ел. А все больше запасался. Корки за голенище, кашу в носовой платок.

Как в воду глядел! Под Новосибирск привезли, там и бросили. Месяц бездельничали: ни начальства, ни работы. Ни питания. Стали разбойничать, на возки с продуктами, с хлебом, картошкой налетать. Расхватывали да разбегались. Посмотрел сейчас Илья на колонистов, как это все на них самих похоже. Большая Россия, много в ней красивых мест, а бардак, посудить, он везде одинаковый...

Решил Илья, звали его между своими по фамилии Зверев — Зверек, с тремя дружками к дому подаваться. Такая трудармия их не устраивала.

Сели они в проходящий товарнячок, поехали. Но глупо ехали, почти не скрываясь, и где-то перед Уралом, на перегоне их забрали.

Посадили в пустующий домик стрелочника, заперли, часового приставили. Они в окошко увидели состав с углем, попросились будто по нужде. Часовой молод был — отпустил. Они за домик, да прямо на тот состав. Только их и видели!

Стали осматрительней. Как железнодорожный узел, слезают на подъезде. Пешочком по кругу обойдут, а у семафора свой состав караулят. Так и Урал проскочили.

Жили впроголодь, понятно. Где что выпросят или украдут. Однажды у проезжего дядьки удалось свистнуть чемодан. Съестного в нем не оказалось, но лежало офицерское нижнее белье, гимнастерка, штаны суконные. Попробовали на себя натянуть: все на шесть размеров больше, для маскарада и то не годится.

И опять Илья об этом вспомнил сегодня, рассматривая пальто.

Послали с обмундированием Зверька в деревню, но он не такой лопух был, как эти братья. Продуктов набрал, молока, мороженого в кусках, яиц, творога, а за гимнастерку выменял рубаху по себе.

Под Тутаевом, бывшим Романовом, сонных от жратвы, их снова прихватили. Бросили до окончательного выяснения в колонию для малолетних. А колония та — под охраной да за колючей проволокой.

«Мы к Тутаеву подходим, видим сразу три угла: сборный пункт, больница рядом да проклятая тюрьма...» Так у них про свою колонию пелось. А вид, надо понимать, открывался подобный со стороны матушки Волги.

К тому времени, как попался Илья, накопилось в колонии подростков тысячи две. Голодуха. Пока всех просеют, пока разберутся: ноги протянешь.

Однажды сговорились — бежать. Каждый день лошадь с продуктами приезжала; ей ворота открывали. Порешили между собой: как лошаденка станет выезжать, скопом броситься в открытые ворота... И — врассыпную. Кому повезет, тот на свободе будет.

Дождались, приехала дохлая кляча, тухлую рыбу привезла. Из нее баланду варили, рыбкин суп. Разгрузили, открыли ворота, тут колонисты и кинулись с криком... С криком, чтобы самим не страшно было!

Вой, визг, топот, пальба!

Зверек сразу сообразил — бросилась ребятня кучей в одну сторону, а он в другую, к Волге. Май был, вода ледяная, но он с ходу этого не ощутил! Потом лишь понял, что не доплыть; тонуть начал...

Очнулся, лежит на печи, шубой овчинной укрыт.

Высунул голову, поглядел: изба. Дед со старухой сидят у стола, меж собой о нем толкуют. Старуха и говорит: «Давай, старик, сдадим его обратно. Там, в колонии, сказывают, убийцев всяких держат, может, и этот из них?» А старик ей в ответ: «Дура ты, дура старая! На ем написано, что он убийца? А если нет? А если и наш сынок мается где-то, а добрые люди ему откажут в помощи?» Быстро поправился Илья. Старик ему рассказал, что работает на реке бакенщиком. Углядел на середке: кто-то руками по воде молотит, а уж видно издали, что тонет... Что за купальщик по весне, удивился, подплыл, а он, Илья, уж в беспамятстве... Придели Илью в сыновнее шмотье, кусок сала дали, хлеба. Старик на прощание перекрестил, впотьмах вывел из дома.

— До Ярославля тут недалеко, — сказал. — И до Рыбинска близко, но вот как через мост пройти, не знаю. У моста охрана, могут схватить. — Но Зверек опыта за дорогу набрался. Подлез к машинисту, нанялся до Рыбинска уголь кидать, так и проскочил.

Пришел в родную деревню. Изба забита, бабки нет. Умерла бабка. Сунулся к соседке, тете Оле, ночь была, а он-то весь в угле. Увидела соседка в окошке его черную физиономию и решила, что черт лезет: такой крик подняла, что вся деревня сбежалась.

День-другой пожил Илья, все советовали ему осесть да жениться. «Пароход плывет по Волге, дым густой, густой, густой... Ох, зачем же мне жениться, погуляю холостой!» Не сиделось Илье: на военный учет станешь, загребут опять! Пошел он дальше по России чемоданы курочить, «углы отворачивать». Опыт у него уже был. На толкучке, при посадке или с крыши вагона крючком с верхней полки. Мал, да ловок был! Да удачлив!

Но однажды попался; запихнули опять в колонию.

Но теперь-то Зверек, как и всякий зверек, заматерел. Умел, как говорят, фуффло двигать: обманывать то есть.

Стекла кирпичом натолок и вдохнул покрепче. Можно было бы и сахара толченого, но сахара в ту пору не было. Забило стеклом легкие, пошла горлом кровь. Положили в больничку. А из больнички путь на волю всегда короче. Да, видать, стекла он крупновато

сделал, кровь кусками отплевывал еще долго. С полгода.

В Калининской области, близ Осташкова, завербовался на лесозаготовки — дрова пилить. Работа для дураков: пилу на себя да пилу от себя... А во время пилки как песенку приговариваешь: «Для себя, для тебя, для те-плы-ш-ка... Для себя, для тебя, для те-плы-ш-ка...» Как-то с дружкой шел он на работу, увидел пленных фрицев, они по соседству лес валили. Жили почти как вольняшки — на краю деревни, в земляночке.

Так вот, сидят фрицы, сало жрут. Увидели, кричат:

«Рус, шнель. Мол, идите сюда, угостим!» Ребята от закуски отказались, но в памяти засело — гады фашистские наше сало жрут да нас же угощают!

На обратном пути не выдержали, решили заглянуть. Зашли в землянку, никого; те по избам да по бабам разбежались. Тут парни еще больше озверели. Это что же получается? Мы в бараках живем, баланду хлебам, а они в тепле да на печке с нашими бабами!

Все, что было в землянке, забрали, в первую очередь бацилу, то есть мясо, сало, консервы... Муку взяли, около пуда, да не смогли дотащить, так про запас у дороги на сосне и повесили. После, мол, заберем.

Пришли в избу к знакомой бабке. Жарь, бабка, мясо, вари, пеки и самогон доставай! Мы праздник победы устраиваем! Сегодня окружили и разгромили немецко-фашистских захватчиков, а это наш трофей военный!

Бабка ничего не поняла, но ужин приготовила.

Наелись, напились, спать завалились.

Ночью Зверек от странного чувства проснулся, будто кто-то несильно зубами его босую ногу трогает... Дернул он ногой, а там как рыкнет! Подскочил: мать честная, овчарка в избе, а рядом военные да участковый милиционер.

Допросили их и бабку допросили. Шмон у нее устроили. Бабка весь трофей, что не успели пожрать, выложила, только муку не отдала. Нет у меня муки... Не было и нет. Никаких я тринадцати килограмм в глаза не видала.

Погрузили Илью с дружкой в сани, повезли в город. А повезли через тот самый лес, где они накануне проходили. Илья дорогой и говорит: «Стой, гражданин начальник! Ты муку, кажись, спрашивал? Так вон, вишь, на суку она висит!» Рассвирепел начальник, решил — чернуха, вранье, значит. А потом и сам увидел, кричит на Илью: «Лезь давай! Как повесил, так и снимай!» А Зверек ему в ответ: «Не... начальник... Я тебе показал, ты спасибо скажи. А мне она теперь долго не понадобится. Мне по твоей милости рыбкин суп хлебать! Так что тебе надо, ты давай и лезь на сосну!» Слазил начальник. Ничего с ним не случилось! И опять-таки Илье развлечение!

Дали Зверьку год. Он в первый же месяц в глаз порошка от химического карандаша насыпал. Ослеп на полгода. Попал в больничку, что называется, закосил. И на волю...

Усы отрастил, даже на вид стал старше. Решил по новой жить.

Один зек еще там, в лагере — подзалетел он туда за то, что бумажники по карманам тырил, словом, щипач — рассказал, что земли бросовые на Кавказе. Езжай, мол, там дома прямо со скарбом и огородом раздают за бесплатно. Только не спутай, скажи, что из беженцев... А Зверек-то из каких? Бегал же! Беженец и есть.

Устроился проводником на южном направлении, колонистов к месту доставлял. Без волокиты вселился. Все, как и говорили: дом, огород... И картошка, невесть кем посаженная, в огороде растет, и подсолнух, и кукуруза зреет.

Не сразу понял, что попал он, как и положено зверьку, в капкан. Нюх ему отказал. Хотел честным путем зажить, а опять в авантюру вляпался. Да какую!

Бежать бы! Да устал он бегать. И — деньги нужны. А тут, глядь, Кузьменыши подвернулись. Проснулись братья поздно. Солнце за середину дня перевалило. На сене стало душно. С трудом, преодолевая вялость, дошли до избы, а уж Илья завтрак приготовил: чай да чуреки, и опять — самогонка.

Кузьменыши головами замотали: не то что пить, смотреть на нее не могли. При виде бутылки начинало поташнивать.

Медленно отхлебывали чай из железной кружки и исподтишка поглядывали на Илью, который был сегодня особенно суетлив и многословен. Он спросил:

— А вы так и не умылись?.. Ну и правильно. Часто умываться даже вредно. Я в какой-то книжке читал. А можно и после завтрака. Историю про кошку знаете? Нет? Ха! Вот, расскажу. Поймала кошка птичку. Только присела, решила закусить, а птичка-то была сообразительная, говорит: «Как же ты, кошка, не умывшись, станешь меня есть? Нечистоплотно вроде?» Только кошка лапки разняла, а птичка пых и улетела. Вот с тех пор кошка и умывается только после еды...

И опять энергичный хозяин все пытался налить им самогона, будто ничего вчера такого и не было.

Или правда, ничего и не было? Братья помнили лишь начало, остальное виделось сквозь какую-то муть. Кто-то хвалился, кричал; кто-то куда-то звал...

А может, не кричал, не звал, потому что и во сне приснилось им обоим что-то лихое, с лошадьми... Куда-то скакали на лошадях, и дух захватывало от этой скачки. Трудно было отделить сон от яви, но уж точно: лошадей наяву быть не могло!

Тут вспомнил Колька про вещи и посмотрел в угол, а потом на Сашку. И Сашка о вещах подумал.

Илья перехватил их взгляд, быстро спросил:

— Что? Потеряли что-нибудь? — И как-то странно засмеялся. Усы у него зашевелились.

— А пальто... где? — спросил Колька.

— И шапка? — добавил Сашка. — И эти... ботинки?

— Ах, вы вон о чем! — простодушно удивился Илья. — Ха! Они далеко... Их уже не догонишь!

— Как... не догонишь? — спросил Колька и посмотрел на Сашку, и оба уставились на Илью, который между тем продолжал им улыбаться. Но улыбка стерлась, он озабоченно спросил:

— Вы же мне подарили, эти... тряпочки? Я вас вчера правильно понял?

— Подарили? — переспросил Колька, округляя глаза.

— Мы? Подарили? — повторил за ним Сашка. Оба вытаращились на Илью, будто впервые его видели.

— А вы что? И не помните? Как дарили?

Но Илья и сам увидел, как братья ошарашены.

Встал, подлил им чая. Отломил по куску чурека. Сел, покачал удрученно головой.

— Ха! Вы даете... Ну, может быть, мне напомнить, а? — И так как братья продолжали молчать, он рассказал про вчерашнее, как стал он торговаться, предлагал на выбор картошку, кукурузу или деньги, а Сашка попросил сала. А когда порешили, что даст он им шматок сала да ведро картошки, тот же Сашка вдруг заявил: да бери задарма! Мы завтра снова принесем! Илья, конечно, наотрез отказывался, но тут и Колька присоединился к брату и стал наседать, уговаривать Илью в честь их крепкой дружбы взять это дурацкое барахло и унести, чтобы с глаз долой. А им вроде ничего не стоит снова покурочить этот складик. Где они, как Сашка объяснял, лишь замок в задвижке провернули...

Братья выслушали Илью, уставясь в пол. Они даже друг на друга не смотрели. Ничего такого они вспомнить не могли. Но если Илья про задвижку знает... Тогда... Лихо это они по пьянке добро свое профукали!

Илья предложил еще чайку согреть, но братья заторопились домой.

— Ха! Понимаю! Времечко не ждет! Не ждет! — оживился Илья и встал. И братья встали. — Можете на меня как всегда... Как на своего, — говорил он, выходя вслед за ребятами во двор. — Если свистнете, готов соответствовать! А подарка не возьму больше, так и знайте! Задвижечку отодвигайте, одежду несите, но... За наличные! Ну! По петушкам?

Колька и Сашка неуверенно кивали. Были они подавлены. Торговали — веселились, подсчитали — прослезились!

У самой калитки Колька со вздохом оглянулся и, не глядя Илье в глаза, спросил, голос его прозвучал жалобно:

— Но... Может, нам сала немного... Мы бы взяли.

Сашка промолчал. Он даже отвернулся, чтобы не видеть Колькиного унижения.

Илья уж совсем собрался уходить. Удивился. Переспросил:

— Сала? Вам... Сала? — И сделал паузу, рассматривая в упор братьев. — Так вы, живоглоты, вчерась его подобрали, у меня только голая тряпица с солью осталась!

Братья удрученно молчали. Про сало, кроме того кусочка, что совал им на закус сам Илья, они тоже не помнили.

— С кормежкой вы тово... Вы за четверых хаваете-то! — Илья вздохнул, так неприятно было ему отказывать своим лучшим друзьям.

Вдруг он оживился:

— Ха! Постой-ка! Посмотрю, а вдруг...

Щедрость из него так и перла. И щедрость, и широта душевная. Не мог он отпустить лучших друзей с пустыми руками!

Он скрылся в доме, вернулся, неся в руках небольшой, с пол-ладони кусочек сала. Тут же отыскал лопушок, завернул в него. Помедлил, колебался, сразу видать, последнее отдавал. От сердца отрывал, как говорят!

Он так и сказал, протягивая:

— Ладно уж, в честь дружбы... Сам как-нибудь проживу.

Братья вразной сказали: «Спасибо». И пошли. Илья смотрел им вслед. Вдруг крикнул:

— Эй, живоглоты!

Кузьменыши оглянулись. Он молча на них смотрел, будто колебался, сказать или не сказать, но вдруг крикнул негромко:

— Тикали б вы отсюда! Правду говорю! Бегите! Что есть мочи бегите!

В колонию не пошли.

Если даже директор, как говорили, что-то там привез и наварят горячей бурды, им все равно не хватит. Опоздали. Еще кому-то подарочек. Правда, не такой жирный.

Только скрылась деревня, свернули они с проселка, покрытого мягкой горячей пылью, в поле, а за ним, вдоль кустиков, речка Сунжа бежит. Тут по-над берегом среди зарослей колючей ежевики и дикой маслины с мелкими серебристыми листьями — птицы на нее, как заметил Сашка, никогда не садились — прилегли на траву.

Говорить не хотелось.

Колька первый не скоро произнес:

— Голова трещит! А у тебя?

Сашка угрюмо отмалчивался.

— И трещит, и гудит... Паровоз, а не голова! Больше пить никогда не буду... Я и не думал, что это так...

Он не договорил, спустился с берега к воде, стал зачерпывать воду руками и плескать на лицо. Потом, сложив руки ковшичком, напился и, прихватив сколько можно воды, хоть капало сквозь пальцы, принес к Сашке, и вылил ему на лицо. Плеснул, Сашка даже не отвернулся, а может, и не заметил.

— Ты знаешь, что такое собачник? — спросил он, не открывая глаз. Капли блестели у него на носу, на лбу и стекали по вискам.

— Что? — без любопытства спросил Колька. — Собачник? — Он сообразил, что в умной башке Сашки что-то заваривалось важное.

— Нет, не знаю.

— Ящик... Железный такой ящик, — продолжал Сашка ровно, глаз не открывая. Может, он сон свой рассказывал. — Снизу вагона его подвешивают... Это когда мы на одной станции сгоняли, я в соседнем поезде углядел... А Зверек флажками ткнул и говорит: собачник, мол, до войны или когда там... собак, говорит, в таких ящиках возили. А сейчас и людям впору ездить.

— Ловок твой Зверек! — Колька вздохнул.

— Вместе ворон ловили, — сказал Сашка и открыл глаза. — Так вот, я тогда залез, примерился... И правда, ехать можно.

Колька понял.

— Значит, пора? — спросил, глядя на Сашку. — А колония?

— Попробовали же!

Сашка рассказал анекдот про человека, который увидел на дороге дерьмо. Нагнулся, удивился, на язык попробовал. И вдруг воскликнул: «Хорошо, попробовал, а то бы вляпался!» Колька не засмеялся. Он прикрыл лопушком голову и дремал на солнышке. Да и чего смеяться, если они оба по тому самому анекдоту вляпались... С колонией вляпались... Да и с Ильей тоже.

А Сашка уже не терпел. Его идея подтачивала.

— Пойдем на станцию, — предложил он.

— Сейчас?

— А когда еще...

— Может, сперва это... Может, склад покурочить? Как говорит Зверек...

— Не Зверек он, Зверь, — сказал Сашка жестко. — Ну, пошли? Да ты не думай, мы сегодня и вернемся!

Колька понял, что Сашка не зазря себя и его гонит, значит, так надо.

— Полежим чуть-чуть? — попросил он. — У меня ноги дрожат.

— Вот и разойдемся, — деловито произнес Сашка. — Вон, кстати, подвода...

Вовремя Сашка углядел подводу, а так бы топать им на станцию до вечера. И то неизвестно, дошли бы.

Через поле, наперерез, выскочили они к телеге, крикнули издалека:

— На станцию?... Дяденька?

— На станцию, тетенька, — сказал мужчина и показал, рукой повелел: — Садись! Авось да небось добежим! У меня паровоз ходкий!

Не старый мужик и не седой, как заметили братья, но старей Ильи. В линялой, до белизны выгоревшей гимнастерке с белыми от кальсон пуговицами, в кепочке с козырьком на глаза. Сидел, подремывал, изредка вскидывал на дорогу светлые с голубизной глаза и опять погружался в себя. На братьев, подсевших к нему, он уже не обращал внимания.

Где-то лишь на подъезде к станции любопытствовал:

— Колонисты небось?

— А что? — настороженно спросил Колька.

— Бегете...

— Куда... Мы бегем?

— Ну куды-куды... Ясно, куды все бегут... Домой! — сказал мужик и причмокнул, понукая лошадь.

— Может, у кого и есть дом... А у кого и нет, — огрызнулся Колька. И посмотрел на мужика. Но тот, видать, не собирался ссориться и разговор затеял вовсе не для обличения. Он приподнял кепочку, глянул на братьев, точно в голубое окунул. Молвил кротко:

— А ведь верно. У кого он есть... А у кого? Я скажу, такая война, что всех перевернула и выкинула из привычного... Небо с землей поперепуталось, живые с мертвяками... А нонче-то вдруг все поняли — войне-то конец... О доме заговорили... — Он молчал, но ответа не ждал. В свое погрузился. И снова начал неожиданно: — До этого о жизни не думали, думали не как жить, а как бы выжить... Не до жиру, быть бы живу, во как думали! Как уцелеть. — Он постучал кнутовищем по ноге, и она отдалась деревянным стуком. Только теперь братья заметили — мужик-то без ноги. Инвалид, значит.

Он между тем продолжал:

— ...Отдал часть себя, другую часть готов был отдать. Вроде сам себе не нужен был. А сейчас дело-то к концу, так себя жалко стало... А вдруг, думаю, поживу? А где жить? — спрашиваю. — Дом-то где? Где? Нету... Семью поубивали и дом спалили. Так я в свою деревню не поехал, как узнал. Приехать на такое — все равно что на кладбище поселиться! Кажен день кровью истекать. Себя убьешь... Вот и решился в Березовскую... Ну, как приживусь... Вы-то малы, у вас запас времени есть шерстью обрасти. А у mine нет. Я без

надежды поселялся... Это сейчас надежда появилась. Вон, за станцией на подсобном я вкалываю. Если что, Демьяна спросите...

Сказал и снова будто под козырек спрятался. Ушел, как черепашка под панцирь.

Когда братья у станции сошли, поблагодарили, он вроде бы оживился, кивнул:

— Бывайте! — И дернул вожжи. — А вообще приходите, если не побегете... Я-то лично не побегу. Край-то богатый, можно бы жить... Страх все портит. А мне так все одно бояться нечего. Кончилась моя боясть...

Братья еще раз сказали «спасибо» и пошли. Враскорячку пошли, костистые их зады на тележных слегах порядком набило. Добре́ли до серных ямок, ополоснулись, стало легче. Совсем легко. Будто те вонючие ямки были наполнены живой водой из сказки.

А когда-то, в невероятно далекие времена, ехали сюда, на воды, барышни и барины из северных столиц... В белых нарядах с цветными зонтиками, в богатых экипажах, гуляли тут столичные дамы и усатые офицеры, и все затем лишь, чтобы попить кавказских вод и привести в порядок здоровье... Играл им тут духовой оркестр, цвели глицинии. А после горячих вод прекрасные господа поднимались наверх, к ротонде, и смотрели на дальние горы в закатном золотом свете... Как выразилась Регина Петровна: лицезрели!

Так ли было или придумала воспитательница сказку, братья не разобрали. Воды-то были, они тут и до Кузьменышей текли. А вот что касается господ, ради ямок тащившихся без поезда из Москвы, тут братья откровенно засомневались. Ради чурека, скажем, ради картошки или алычи, другое дело... Жрать захочешь, прискочишь... А вода, она и есть вода. Ешь — вода, пей — вода...

Но поезда все не было, а его здесь, с горки-то, издалека видать, братья забрались на небольшую вершинку, где блистала белоснежная ротонда.

Вблизи она оказалась не такой уж белоснежной. Была она облезлая, загаженная, да к тому же все колонны исписаны, исцарапаны надписями: по-русски и по-немецки, наверное.

Сашка присел на каменные ступени, стал смотреть на долину. Как некогда барышни и кавалеры смотрели. А Колька нашел острый камень и нацарапал на колонне: «Кузьмины из Томилина. 10.9.44 г.» Усмехнулся, разглядывая надпись. Знайте наших, тоже, мол, принимали воды и лицезрели закаты в горах! Приедут они через... ну... через двадцать лет стариками, как этот Демьян, покажут шакалам детдомовским на ротонду: гуляли тут с Сашкой... Оркестр, мол, играл, и барышни с зонтиками ахали от восторга...

Колька свою картину додумать не успел, за дальним изгибом плешивой горы дымок показался. Братья рысцой побежали вниз, успели как раз к поезду.

Сашка деловито прошел вдоль состава, заглядывая под вагоны, наконец нашел то, что надо, позвал брата.

— Смотри! — указал пальцем.

Прямо под вагоном, нависая над рельсой, прикреплен грязный рыжий ящик, продолговатый, как гроб.

Сашка приподнял крышку и велел Кольке лезть.

— А не уедем?

— Ну, уедем, — сказал Сашка. — Ну и что? Громко сопя от натуги, Колька влез в ящик, потом туда забрался и Сашка. Выходило, что валетом ехать можно. Прямо в боковой стенке

набиты круглые отверстия, в них можно смотреть одним глазом. Рядом шпалы, рельсы, трава. Одно боязно, не оторвался бы ящик на ходу, а то правда гробом станет.

— Гроб железный с музыкой! — сказал Колька в дыру. — Из северных столиц... В экипаже, на воды... Господа прибыли, Кузьмины!

И щеки надул: «Пум, пум, пум, пум...» Оркестром заиграл в честь своего прибытия в собачнике.

А Сашка сказал:

— За бесплатно куда хошь? А?

— А куда ты хошь? — спросил Колька. — Пум, пум, пум...

— Дальше, дальше, — сказал Сашка. — Я еще дальше хочу. Я обратно не хочу.

— А хуже не будет?

— Чем сейчас-то?

— Да. Чем сейчас!

Поезд впереди загудел, громыхнули вагоны. Ящик с силой тряхнуло.

Колька громче ударил марш: «Пум, пум, пум...» А Сашка предложил:

— Поехали, а?

— Сейчас?

— А что?

— А Регина Петровна?

Сашка промолчал.

— Она с мужичками одна останется? Не жалко? — крикнул Колька.

Сашка быстро откинул крышку и выскочил. За ним вывалился и Колька, споткнулся о шпалину. Смотрели вслед поезду, вагону со своим, уже ставшим своим, ящиком. Будто мечту проводили.

Ночевали в полусгоревшем товарняке на запасных путях. И у Регины Петровны объявились лишь вечером следующего дня.

Но прежде прошли мимо склада, чтобы убедиться, что замок, тот самый замок с задвижкой, на месте.

Воспитательница открыла не тотчас. Увидев братьев, пригласила войти, но сделала шаг: тише, мол, дети спят.

Кузьменыши на цыпочках прошли в комнату, оглядываясь на кровать, где валетом в разных позах спали мужички. Жорес разбросанно, на спине, а Марат, наоборот, комочком, натянув одеяло на голову. Сейчас стало заметно, что Жорес старше.

Сама Регина Петровна была в ярко-розовом, сверкающем, как золото, платье, с пуговицами и очень длинном, до пола.

Такая блестящая, с распущенными черными волосами, она показалась братьям еще прекрасней. Вот уж и правда царица.

— Садитесь. Я вас ждала. С чем пришли, дружочки? Голодные?

— Нет, — отвечал за обоих Сашка. — Мы уже один раз ели.

А Колька положил на тумбочку сало, завернутое в лопушок.

Регина Петровна посмотрела на сало, не притрагиваясь к нему, на ребят. Покачала головой.

— Нет, нет. Спасибо. Я не возьму.

И так как братья недоуменно молчали, пояснила:

— Вы заработали, вы и ешьте! А как, кстати, вы его заработали?

Братья переглянулись.

— Ну, вот, — сказала Регина Петровна. — Думаю, что мы друг друга поняли. Правда?

Сашка кивнул. Он соображал быстрее Кольки. Но тут и соображать не надо.

Воспитательница еще там, у склада, догадалась о краже вещей. Оттого и волновалась, и ждала. Но ведь не выдала! Вот главное!

Она между тем продолжала:

— Я ведь вас искала, спрашивала. Вы не ночевали, да? Все решили, что вы удрали, говорят, вас видели на станции... Но я не поверила, я знала, что вы не уедете так. Я не ошиблась.

Регина Петровна полезла в карман висящего на стене пальто, что-то поискала и, не найдя, вернулась, села.

— Господи, как без курева тяжело... Хотя травку какую... Ну, ладно. Вот для чего я вас искала: на днях мы начинаем работать на консервном заводе. Петр Анисимович договорился. Работать будут старшеклассники: пятые — седьмые классы. Но я записала и вас... Хотя подкормитесь там. Вы поняли, да?

Братья неуверенно кивнули, никакой завод не входил в их планы.

— Пожалуйста, не перепутайте: вы у меня не четвертый, вы у меня пятый класс... Младших пошлют в колхоз яблоки собирать... А теперь идите спать, — и уже вслед: — Сало, сало свое не забудьте!

Колька без слов забрал лопушок с салом. В дверях как по команде оба брата обернулись.

— Вообще-то мы думали... Что мы...

— Что — вы?

— Чуть не уехали! — выпалил Сашка.

— Совсем? — как-то глухо произнесла Регина Петровна. И все в ней потухло.

— Ага.

— А мы? А остальные?

Ребята замялись. Но ведь и так было понятно, что они не уехали потому лишь, что думали о ней.

— Дружочки мои... Подождите! — быстро, горячо подхватила Регина Петровна. — Вот на консервный завод съездим... Поглядим... А вдруг да понравится? Я думаю, что у нас уладится... Уладится. Вот увидите.

Колька ничего не ответил, он так быстро соображать не мог. А Сашка, нахмурясь, глядя в пол, произнес как бы за двоих:

— Вообще-то... Мы подождем. Правда.

Получилось почти по-взрослому.

— Ну и лады. — Регина Петровна чуть повеселела. — А у меня еще сюрприз... Чуть не забыла. Подите-ка сюда.

Она достала из тумбочки огромную мохнатую шапку, а из шапки извлекла ремешок.

Братья вперились в шапку глазами.

— Что это?

— Папаха... Наверное...

— Откуда?

— Из подсобки... От самодеятельности, что ли, осталось. А может, из деревни... Не знаю.

Там много этого... Ребята нашли... Ну, пошли дурить, маскарад устроили... — Регина

Петровна прислушалась к крикам во дворе. — А я для вас прихватила... Нравится?

Братья лишь переглянулись: сообразили свою промашку. Как же они, обшаривая чердаки, пропустили подсобку! А если б там пожрать было?

Колька заинтересованно спросил:

— А черкески с патрончиками там не было?

— Не видела, — сказала Регина Петровна. — Был кинжал, только сломанный, и поясок...

Мне показалось, что он вам пригодится.

Но братья пояском не заинтересовались. Они стали по очереди примерять папаху. Колька залез в нее по шею и утробным голосом заорал песню, забыв про спящих мужичков.

И в какой стороне я ни бу-ду-у,

По какой ни пройду я тропе,

Друга я никогда не забуду-у-у,

Если с ним подружился в Москве-е-е!

— Тише ты! — Сашка стянул с него папаху и нахлобучил на себя. — Я буду Хаджи-Мурат! А ты...

— А я Буденный! — крикнул Колька и потянул к себе папаху. — Буденный-то за красных, а твой Хаджи-Мурат за фашистов!

— Это Хаджи-Мурат за фашистов?

Регина Петровна прекратила спор, отобрав у них папаху. Улыбнувшись, произнесла:

— А я сейчас подумала... Я ее разрежу и сошью вам на зиму два капора.

— Чего? — переспросили братья. — Тапора?

— Ну, я знаю, что... Шапки, в общем... Все польза. А пояс можете взять, Коле для штанов, — ты у нас Коля-то? — вместо веревки сойдет.

Братья уткнулись в ремешок, узенький, в темных заклепках и узорах, вдобавок на нем болталось множество других ремешков-висюлек.

Колька примерил новинку, довольный, решил:

— Я на нем ложку буду носить... И еще что-нибудь...

Впору бы повесить для красоты ключи, украденные у Ильи, да ведь сопрут! Может, кукурузу? Вообразил:

Колька идет по томилинскому детдому, а на поясе у него, словно гранаты-лимонки, кочаны кукурузные висят! И папаха на затылке! Знай наших! С гор вернулись! Не оробели!

Нажрались вволю да с собой привезли! По кочну отцепляет и шакалам отдает!

Но я знаю, мы встретимся снова,

И тогда, дорогая, вдвоем...

Регина Петровна легонечко подтолкнула братьев к дверям:

— Идите во двор петь!

Братья ушли.

Прикрыв дверь, она вернулась и снова пошарила в карманах пальто, собирая в ладонь табачные крошки. Набралось вместе с мусором немного. Из клочка газеты неумело свернула самокрутку, прикурила и вышла за дверь. Долго стояла на крылечке, приглядываясь к ребятам во дворе и стараясь среди них угадать Кузьменышей. Нацепив папаху, благо в подсобке их оказалось много, колонисты с палками гонялись друг за другом, изображая войну. А кто-то волочил за собой дырявую бурку, голые пятки мелькали из-под тяжелой полы.

Регина Петровна последний раз затянулась и ушла домой. Прилегла, попыталась спать, но не спалось. Несколько раз вставала, глядела в окно. Наконец хоть чем-то решила себя занять. Взяла ножницы и стала резать папаху на две равные части. Думала о Кузьменышах, о том, какие замечательно теплые шапки выйдут из этой папахи, и совсем забыла о времени. Она не заметила, как тихо, будто сама по себе откинулась створка окна и оттуда выглянуло черное дуло.

Три человека смотрели из темноты на ее руки, кромсающие на куски папаху...

В ребячьих спальнях ор продолжался допоздна. И крики, и визги, и беготня. Регина Петровна была права: колонистов накормили, и они ожили, известно, кормежка — праздник, да какой!

Оттого и разбузились: выли, пищали, блеяли, гавкали, мычали, лаяли и все в том же духе. Кому-то пришло в голову: завопили песню. Не в лад, но громко.

*Бродили мы с товарищем вдвоем,
Бродили мы с товарищем вдвоем.
Бродили мы с товарищем по диким по горам,
По диким по го-ра-ам!*

Поначалу шло жидковато, кто во что горазд, но вот уж голос за голосом, ниточка к ниточке вплелись, встроились, сложились, и грянуло, окошки позванивали...

*Вдруг камень покатился, ого-го!
Вдруг камень покатился, ого-го!
Вдруг камень покатился и товарищ мой упал.
Товарищ мой у-па-л!*

Особенно дружно выходило это: «Ого-го!» Тут уж ревели все, кто мог, и со слухом, и без слуха, реветь было приятно. Да и воздуха в легких хватало.

*Я взял его за руку, ого-го!
Я взял его за ногу, ого-го!
Я за руку, я за ногу, товарищ не встает!
То-ва-рищ не вста-ет!
Я плюнул ему в рожу, ого-го!
Я плюнул ему в рожу, ого-го!
Я плюнул ему в рожу, он обратно не плюет,
Об-ра-тно не плюет!*

Далее, как полагается, товарищу вырывают яму (ого-го какую!) и хоронят. А потом земля зашевелилась (ого-го!), и товарищ встает из нее и... «В рожу мне плюет!» Ответил, в общем. И сам — живой. Смешно! Закатились, хохотали...

Затянули тюремную: «Сижу в тоске и вспоминаю я, а слезы катятся из глаз моих...» Не допели. Слезы под такое настроение не подходили.

Заводили разухабистые уличные, блатные, рыночные (жалостливые), сиротские, инвалидные, лагерные, вокзальные и поездные, колонистские, сибирско-ссылные, бытовые, одесские — воровские (жестоко-сентиментальные), хулиганские, каторжные (из дореволюционных) и некоторые из кино... Из «Большой жизни»: «Прощай, Маруся, блядовая...» По-настоящему-то надо «плитовая», но пели только так!

Но уж такой стройности не выходило. В каждом углу тянули свое, а вскоре и вовсе стихло. Взрыв раздался под утро. Но было еще темно.

Кузьменыши проснулись одновременно. Обоим показалось, что на них упала бомба. Это было им знакомо по первым месяцам войны.

Во все окна полыхнуло зарево, окрасив стены в дрожащий кровавый свет. Было слышно, как внизу у девочек кто-то взвизгнул и закричал.

Сразу несколько голосов завопило:

— Горим! Горим!

Братья спали без матрацев и не раздевались, не то железная сетка отпечатается до самых ребер. Едва соображая, вместе со всеми в панике бросились к выходу. Двери отлетели. Задние подмяли передних, началась свалка. В темноте кому-то отдавили пальцы рук, разбили нос.

Кузьменышам повезло, их лишь чуть помяло.

Высыпали во двор и окунулись в голоса, в беготню, в яркий и жаркий свет, в какую-то зловеще-веселую панику.

Суеты было много, никто ничего не понимал, все бежали и все кричали. Стало видно, что горит дом, тот самый, где располагался склад.

Но первая мысль наших братьев была не о складе, конечно, о Регине Петровне с мужичками... Где она? Успела выскочить?

Пока опупело смотрели, соображали, а после крепкого сна соображалось туго, увидели и воспитательницу. Прижав к себе судорожно мужичков, она стояла посреди всей этой суетни, одна, такая застывшая, будто онемелая, в огромных глазах ее был страх.

— Регина Петровна! — закричали громко братья и бросились прямо к ней, с кем-то по дороге сталкиваясь, кого-то отпихивая, — Регина Петровна, мы тут! Мы тут!

Она лишь краем глаза зацепилась за кричавших ребят и, ничем не показав, что увидела или услышала их, вновь уставилась на огонь, пламя прыгало в ее расширенных зрачках.

Подскочил Петр Анисимович, крикнул неведомо кому:

— Где ведра? Несите ведра! Это ведь непонятно, что происходит! — И исчез.

Тут же появился снова, уже с ведром воды.

Закрываясь портфелем от огня, он направился к горящему дому, но близко подойти не смог и выплеснул воду наземь. Она тут же превратилась в пар.

Теперь, когда первый страх и чувство опасности прошли, ребятня, даже девочки, уже не вопили от испуга, а носились по двору радостно-возбужденные, ошалелые от такого невиданного зрелища! Им уже нравилось, что так горело!

Пламя возносилось вертикально вверх, как гигантская свеча, и гудело, рассыпая дождем крупные искры.

Дом светился изнутри, обнажился его каркас. В это мгновение он казался прозрачным, и каждую накаленную огнем балочку в его скелете можно было сейчас разглядеть.

Лишь несколько девочек, из самых боязливых, прибились, как к спасительному островку, к стоящей все так же неподвижно Регине Петровне.

Петр Анисимович, обращаясь к Регине Петровне, закричал:

— Вы видели? Что-нибудь видели?

Регина Петровна не обернулась к директору, будто не заметила его. Не сразу до нее дошло, что это к ней, к ней обращаются с вопросом.

— Что... Видела... — медленно, как во сне, произнесла она, не отрывая взгляда от огня.

— Я спрашиваю! — кричал Петр Анисимович и все отгораживался от пламени портфелем. — Вы видели, как взорвалось? Видели или нет? И потом это... На лошадях...

— На лошадях? — пробормотала Регина Петровна. — На каких лошадях?

— Это ведь непонятно, что происходит! — закричал Петр Анисимович, но осекся: только теперь дошло, что воспитательнице худо.

Подбежала другая воспитательница, Евгения Васильевна, сунула ватку с нашатырем к носу Регины Петровны, потерла ей виски, а та вдруг ахнула и стала оседать, запрокидывая голову.

Ее тут же увели в спальню девочек. Мужичков забрали туда еще раньше.

Кузьменыши, наблюдавшие все это, ринулись следом, на помощь своей Регине Петровне, но их дальше дверей не пустили.

— Идите, идите... — сказали. — Все тушат пожар, а вы чего тут шляетесь?

За дверью, слышно стало, кто-то плакал навзрыд, какая-то девочка, ее утешали.

— Ну, кто сказал, что лошади, — тускло произносил чей-то голос. — Ерунда... Честное слово, ерунда... Не было никаких лошадей и никаких гранат... Ну, что-то там взорвалось на складе... Там ведь керосин, и масло, и что угодно... Разве теперь узнаешь!

Братья посмотрели друг на друга и пошли во двор. Уже обвалилась крыша дома, подняв к небу салют из горящих углей, даже головешек. Искры медленно падали вниз и светлячками тлели в сухой траве. Никто не пытался их тушить. Даже Петр Анисимович, поняв, что соседним зданиям пожар не угрожает, притулился на крылечке столовой и так, прижав портфель к груди, сидел, глядя на огонь. Было что-то жалкое, беспомощное в его позе, будто говорившей: «Это ведь непонятно, что происходит!» За свою сорокалетнюю жизнь этот человек пережил множество катастроф, если и выживал, то благодаря природному долготерпению.

Когда он ушел с орсовской базы, сам ушел, ибо тащили вокруг все и вся, пахло тюрьмой, направили его в роно и там всучили детишек. На него смотрели как на человека конченого, ибо знали, какие уж там детишки — пятьсот головорезов худших из худших: тот, кто отсеивал, отделялся от самых отъявленных. И пока он готовил поезд, подыскивал воспитателей, выпрашивал продукты и одежду, сквозила в лицах районного начальства невысказанная мысль: не повезло Мешкову! Сгорел Мешков! А едет, потому что знает, хуже ему уже не будет... Некуда, как говорят!

Стало заметно, что уже рассвело.

Неожиданно из колхоза прикатила водовозка с пожарной помпой.

Ребята сразу нашли себе занятие: качать насос; по двое, а потом по четверо, вверх и вниз. Но быстро устали, отвалили. Лишь Кузьменыши, мокрые, старались помогать взрослым, пока вдруг не обнаружили на ладонях белые пузыри. Их погнали спать.

Уходя, они снова попытались проникнуть к Регине Петровне, но дверь оказалась запертой. Постояли, прислушиваясь, но никаких голосов не раздавалось с той стороны.

Спать тоже не хотелось.

Братья пошлялись по двору, теперь совсем пустынному; странно было видеть, как дымятся остатки дома в наступившей вдруг пустоте.

Помпа уехала, стало тихо.

Сашка вполголоса сказал:

— Ты думаешь... Гранатой?

— Почему гранатой? — спросил тихо Колька.

— А чем же? Ты слышал, как грохнуло?

— Я спал... — ответил Колька. — Мне приснилось, что меня по башке треснуло, а потом я проснулся и решил, что бомба.

— А лошади?

— Какие лошади?

— Они же говорят, были лошади.

— Говорят, кур доят, а коровы яйца несут...

— Значит, не веришь? — сказал Сашка. Он повторил: — Значит, не веришь... Пойдем!

— Куда?

Сашка не ответил. Взял Кольку за руку, крепко взял, была какая-то решительность в нем сейчас. Повел вдоль зеленой ограды к их тайному лазу. Первым прокорябался сквозь колючки, дождался Кольку, снова схватил его за руку и потащил за собой к краю кукурузного поля, которое примыкало к тыльной стороне сгоревшего здания.

Среди поломанных стволов кукурузы на мягкой земле четко различались многочисленные следы копыт. Кое-где была вывернута трава и отброшена в стороны. Клочки ее висели даже на стеблях кукурузы.

Колька нагнулся и поднял гильзу. Блестящую медную гильзу, ее нетрудно было заметить в траве.

Сашка взял у брата гильзу, повертел ее и сунул в карман. Пригодится.

— А как ты догадался? — спросил Колька и снова пошарил глазами по земле, но нигде ничего больше не валялось.

— Как... Ясно же, что если они были, то были тут... Что они, дураки во двор заезжать! Это же ловушка!

— А кто? Они?

— Не знаю.

— Думаешь, они и стреляли?

— Не знаю, — повторил Сашка и посмотрел на горы. Чистое, без единого облачка, наступало новое утро. Горы празднично блестели в высоте и светились своими снежными вершинами. Они казались совсем близкими.

Никакой пожар, никакие ночные страхи не могли поколебать этой вечной неземной красоты.

— Жаркий день будет, — сказал Колька и задумался. — А в Томилине небось в школу пошли...

Братья посмотрели друг на друга и одновременно подумали о том, что в Томилине, в этой грязной помойке, хоть и было им неуютно, но жилось проще, спокойней, чем здесь, среди этих прекрасных гор.

К обеду того же дня приехали на мотоцикле два милиционера, с ними еще военный.

Пока дети, столпившись во дворе, рассматривали чудо-мотоцикл да спорили вокруг него, приехавшие прошли к директору, о чем-то с ним поговорили и с воспитателями поговорили, обошли кругом сгоревшего дома и укатили, поднимая далеко видный шлейф белой пыли.

Ребят никто ни о чем не спрашивал и Кузьменышей тоже. Но даже если бы спросили, они бы не рассказали о своих находках.

Во время обеда в столовой объявили, чтобы все знали, что никакого опасного взрыва от бомбы и гранаты не было, а случился по неизвестной причине пожар на складе, взорвалась канистра с горючим, от которой и загорелся весь дом.

Объявлял директор Петр Анисимович, стоя посреди столовой с портфелем, свободной рукой он вытирал пот со лба. Вид у него был очень озабоченный.

Он объявил и вдруг добавил:

— Это ведь непонятно, что происходит, — чем рассмешил обедавших колонистов.

Кузьменыши в это время тоже были в столовой, проникнув по второму разу, наверстывали за пропущенный вчера обед. Да и баланда из риса пришлась им по душе.

При словах директора о канистре, которая якобы взорвалась, они многозначительно переглянулись и продолжали хлебать дальше.

Директор еще добавил, что завтра придет машина от консервного завода и заберет старшекласников. Младшие своим ходом отправятся в колхозный сад и будут собирать яблоки. Их там накормят...

На этом история с пожаром вроде бы закончилась.

Обгорелые остатки дома разгребли, бревна, обугленные, распилили на дрова, колонистов в саже с ног до головы послали отмываться в Сунжу, и они терлись песком.

Братья узнали, что Регину Петровну с мужичками временно поселили на кухне, отгородив одеялом угол. Но самой ее не было. Девочки сказали, что она уехала в больницу, а за мужичками просила присмотреть своих девочек, но и Кузьменышей просила помогать.

Братья кивнули.

— А когда вернется? — спросил Колька.

— Через несколько дней. А что?

— Ничего. Она заболела, да?

— Нет, — сказали девочки. — Но так нужно.

Братья ушли. Между собой рассудили, что девочки врут и что Регина Петровна не стала бы бросать мужичков, если бы не заболела. Но коли она и вправду обещала скоро приехать, значит, это не страшно. Вот только попрут их с консервного завода. Доказывая потом, что малорослые от недостатка соли. И ноги не растут, и руки, и зубы... И голова тоже не растет. Известно, в войну с солью, да спичками, да с мылом всегда тяжело. Это бабы хорошо знают. Но и детдомовцы упражнялись в изготовлении фальшивого мыла: на деревянный брусочек наплавливали от обмылков, насобирав у бани, тонкий слой и загоняли.

Вместо спичек были «катыши», кремь, да железка, да кусок трута. А вот соль изобрести не удавалось. Как-то проникли они на скотный двор, где лежал огромный соляной камень.

Встав на четвереньки, как великую сладость, облизывали тот камень, никакой силой не

могли их оторвать.

Старшеклассники, если посудить, не намного переросли Кузьменышей, но отличались от них внешним видом. Прическами отличались: у них, как в той песенке, уже вился «чубчик, чубчик, чубчик кучерявый...». Они по-взрослому, втягивая в себя дым, курили. На девочек смотрели презрительно: «бабы-дуры!» И цыкали через редкие зубы слюной наземь. Зубы никак не хотели расти.

Особенно шепелявил Митек, его братья знали.

— Шегодня не вышпался, а как вштал, пошмотрел в штоловой, што дают, и вшпотел...

Над его шепелявостью смеялись, говорили: «Это Митек, который вшпотел, когда шъел в штоловой швой ришовый шуп!» Так вот, на следующее утро, очень раненько, когда от земли, от поля еще веет чистотой и легкостью и совсем мало пыли, прямо во двор въехала зеленая новенькая машина «студебеккер», вся в заграничных надписях — и на борту, и на капоте, и на двери кабины. Борты у нее в кузове откидывались вовнутрь, и из них получались такие решетчатые деревянные скамейки во всю длину машины.

Из кабины, громко хлопнув дверцей, выскочила молодая женщина в штанах, как у мужчины, в ватнике и заломленной лихой фуражке. Но все ребята сразу увидели, что это женщина, а через минуту уже знали, что ее зовут Вера.

Потом она приезжала каждое утро и отчего-то всегда смеялась, глядя, как колонисты наперегонки переваливаются в кузов машины. Она была веселым человеком и покрикивала, заливаясь от смеха: «Давай, мужики! Напружинься, счас вкалывать поедем! А то без вас конвейер не ползет!» О том, что такое конвейер и как он ползет, ребята узнали позже, но в эту шоферицу Веру, хоть и была она в мужчинской одежде и, что всего хуже, в штанах, влюбились все колонисты поголовно. Они говорили о Вере проникновенно, каждый мечтая втайне понравиться ей, а может, и жениться, когда вырастет. И каждый, конечно же, с этого времени хотел быть, как Вера, шофером. Девочки тоже.

В первое же утро, как и предполагали братья, их попытались из машины турнуть. Тем более что и другой малышни набилось много. Она потом набивалась каждый день, и каждый день приходила воспитательница и вытаскивала зайцев, мечтавших проехать на машине до завода. Обратно они были согласны топать пешком.

Но от зайцев отделялись, а от Кузьменышей не смогли. В два горла они завопили, что они старшие, хоть и живут в младшей спальне, что они мало соли ели и что рост — это еще не все.

Пожалуй, по одному их, как и остальных зайцев, все-таки выковыряли бы из машины, но двоих, когда они держались друг за друга и блажили на всю колонию...

Махнули рукой, велели отправляться.

Вера, одобрительно посмеиваясь, проверила, все ли уселись, лукаво взглянула в сторону Кузьменышей, залезла в кабину, крутанула стартером, с места рванула вперед. И погнала. Колонисты взвыли от такой пронизывающей и лихой езды. Восторженно заорали, засвистели, заголосили в тридцать луженых глоток, а Вера, заливаясь от смеха и оглядываясь, чтобы глазком одним в заднее стеклышко увидеть своих разбойников, как она их после называла, поддала еще.

Машина летела, а не ехала по белой наезженной дороге среди покрытых белой пылью кустов, оставляя за собой длинный дымный хвост.

Так их и привезли в первый день, гикающую и воющую от наплыва чувств ребятню. Из окошек конторы, из проходной завода выглядывали люди, говорили между собой: «Колонистов привезли».

Вера выскочила из машины, сдвинула на затылок кепочку и крикнула, засмеявшись: «Мужики! Вылазь! Счас поштучно вас сдавать под расписку буду!» Но никто их не пересчитывал, не проверял. Вера уже на пустой машине въехала в большие железные ворота на территорию, а ребят провели через узкую дверь проходной.

Они очутились на огромном, отгороженном от мира высоким каменным забором дворе, заставленном корзинами и ящиками с фруктами. Тут были помидоры, сливы, яблоки, груши и те самые странные кабачки, которых вместо огурцов нажрались однажды наши Кузьменыши. Никто ничего не охранял. Пробегали озабоченные женщины в синих грязноватых халатах, оглядывались на ходу на горланящую ребятню и исчезали за стенами длинных зданий. Может, они и появлялись, чтобы посмотреть на колонистов, присланных им для помощи. Мужчин на заводе было не более десятка.

Ребята с оглядкой, чтобы никто не видел, начали таскать из корзин фрукты — кто сливу, кто помидорину, старались засунуть сразу в рот и проглотить. Но прошла мимо женщина и бросила на ходу: «Да вы ешьте! Ешьте, не стесняйтесь! Это все из шланга промыто...» Тут уж пошел такой шарап, что жарко стало. Все бросились к корзинам и стали хватать, засовывая и в рот, и в карманы штанов, и даже за пазуху. Набрали яблок, и груш, и слив, и помидоров, кто к чему близко стоял. Разбухли, отяжелели.

Набили каждый брюхо и под рубаху, нажрались так, что только из глаз да ушей не текло. Но никто по-прежнему не торопил их, никто не упрекнул за шарап. Вот что обидно: как было много всего, так и оставалось много. Всех корзин, даже при желании, пережевать или, скажем, стырить со двора завода оказалось невозможно. Хотя и знали колонисты, свято верили в то, что нет для них невозможного, если это касается жратья.

Не съели с ходу, животы малы, так переварить можно и опять поесть. И другим в колонию захватить. И само собой запас для других дней сделать... Засушить или еще как...

Так понимали Кузьменыши, когда набрали за пазуху слив. Потом эти сливы помялись, их, уже кашицей, пришлось потихоньку из-под рубахи выгребать и выбрасывать.

Если бы в Томилине шакалам да хоть одну сливину, не то что корзину! Даже эту размазню от слив!

Работу же дали всем как раз по переборке слив. Каждый день приносили огромные стеклянные бутылки, литров по сто, в эти бутылки колонисты должны были складывать сливы, очищая их от мусора, сортируя по спелости. Бутылки заливали какой-то вонючей жидкостью, после которой плоды начинали противно белеть и становились несъедобными. Как поясняли колонистам, в таком виде сливы могут храниться хоть до зимы, и, когда пройдет горячая пора урожая, их пустят в переработку и сварят джем и варенье. Какое же варенье из испорченных белых слив!

В общем, хоть все объяснили, ребятам не понравилось, что на их глазах и их усилиями происходит порча продукта. А раз жрать после заливки этой отравой нельзя, значит —

порча, и убедить их в обратном было невозможно.

Помидоры и яблоки колонисты перебирали более охотно. Тут ничем не заливали, не травили, а приходили огромные парни, евреи, и уносили тару в двери цеха.

Так их все звали: евреи. Были они все рослые, наверное, метра в два, голубоглазые, светловолосые и — веселые. Огромные корзины они хватали шутя, как игрушки, по корзине на плечо, и вовсе не ныли, не уставали, как заметили Кузьменыши.

Евреи — значит сильный и добродушный народ. Так оба брата решили.

А вот тетка Зина, которая стояла в дверях цеха, куда уносили евреи продукцию, поначалу не понравилась. Была она немолода, сварлива, в грязном синем халате и в белой косыночке, завязанной на затылке узлом.

Тетка Зина зорко приглядывала за колонистами, гнала самых любопытных от дверей, кричала на весь двор:

— Уж эти шкелеты! Откуда такую шушеру привезли?! Это ведь стыд-позор, глаза бы мои не глядели на их лебра!

Голос у нее пронзительный, слышно в любом конце заводского двора.

Но однажды, покричав так, она вдруг поманила к себе Сашку, он оказался ближе, спросила его: «Ты, малой, откеда?»

— Я? — спросил Сашка, не подходя близко, он не знал, что ожидать от тетки Зины. — Я из Томилина...

Тетка кивнула. Будто могла знать, где находится Томилино.

Может, слово поняла как надо? Томилино, где томятся.

— А родители твои где?

Сашка пожал плечами, отвернулся. Он на такие вопросы не отвечал.

— Один, что ли?

— Зачем один! — огрызнулся он. — Нас двое!

— Как это — двое? С кем — двое? — допрашивала настырная тетка.

— Ну с братом.

— Ишь ты, — произнесла тетка, посмотрев в ту сторону, куда указал Сашка. Колька сидел у корзины и жрал помидор. — Вы что же, двойняшки?

Сашка подумал, кивнул. Он не знал, что такое двойняшки, но понял так: раз двое, называется двойняшки.

— Позови ево-то, — приказала тетка Зина.

Она сердито оглядела Кольку и покачала головой.

— Ладноть. Я вас потом размечу, — решила будто про себя. И поманила рукой. — Сюды ходите...

Двери в это время в цехе были закрыты: перерыв.

Тетка Зина ввела их в запретное царство, где стояли огромные, высотой в одноэтажный дом, котлы, они шипели. У каждого котла была железная лесенка, которая вела вверх.

Тетка Зина посадила их на ящик под лесенкой, достала банку, наполненную какой-то желтой кашицей, похожей на детский понос.

— Ешьте тут, вот ложки. По цеху не шлундять! Ясно? — Братья кивнули, уставясь на банку.

Уходя, тетка Зина пояснила: — Это икра... Баклажанной прозывается. Ее бы по-

нормальному с хлепцем, да хлепца-то нету. Без хлепца, значит...

Тетка ушла. Тут и набросились. Пошли загребать ложками. Так быстро замелькало: сами опомниться не успели — кончилась! Она и не жевалась, а всасывалась, нежная, теплая, пахнувшая так, что сладко кружилась голова.

Кузьменыши вылизали пальцами банку, засовывая их по очереди, зеленоватое стекло заблестело от чистоты. И уж через минуту всего-то, которую и отсутствовала тетка Зина, они сидели, уставясь на пустую банку голодными глазами. Им хотелось еще.

Тетка Зина посмотрела на них, на банку, крикнула от досады. Но больше от удивления.

— Чемпиены! По скорости!

Она протянула Сашке красную тесемочку.

— Ты у меня меченый будешь. А ты — нет. — Это Кольке. Кольку она приняла как нечто вторичное, который лишь повторял по форме своего брата, но мог и вообще не быть.

Она взяла из рук Сашки тесемочку, повязала вокруг шеи.

— Вот так. А икры больше нету. Будет... Будет день, будет и пища... Ходите, работайте. — И указала на двор.

Вроде не совсем понятно она выразилась, да Сашка допер и Кольке потом пояснил: она, мол, сказала, что на другой день даст икры еще.

Только на другой день тетка Зина будто и не замечала братьев. Напрасно Сашка мелькал перед глазами, даже поздоровался с ней. Тетка Зина кивнула сурово и ничего не произнесла. Наоборот, заорала тоненько на весь двор:

— Ишь! Мелкорослые! Шкелеты несчастные! Не тронь, не тронь корзину-то! Пушай евреи таскают!

И на второй, и на третий день тетка Зина не обращала на братьев внимания. И уж когда они перестали о ней думать, вдруг в перерыв сама нашла их за ящиком, где они сидели и жрали помидоры, которых уже терпеть не могли, и опять позвала в цех.

Под знакомой железной лесенкой, на ящике, она поставила банку и ушла. Но теперь в банке было что-то другое, не «блаженная» икра, как ее переименовал Сашка, забыв настоящее название. Банка была доверху наполнена ароматным сладким-пресладким повидлом.

И опять братья, хоть старались не торопиться, все срубали за какие-то секунды. Но тетка Зина, видать, была начеку и принесла вторую банку, а потом и третью.

На третьей Колька с Сашкой не выдержали, стали притормаживать.

Это, конечно, не значило, что они могли бы эту, третью, не доест. Или, скажем, отказаться от четвертой банки...

Просто они стали есть чуть медленней, как иные любят выражаться: со вкусом. Может, четвертая оказалась бы с еще большим вкусом, но ее не дали.

Тетка Зина подседа к ним, перерыв не кончился, спросила:

— Как, чемпионы? Вкусно?

Братья согласно кивнули, посмотрели со значением друг на друга.

Дело в том, что накануне Сашка и Колька поменялись одеждой. Это было сделано для общей мороки, не для тетки Зиной, а красной тесемочкой был помечен Колька, а не Сашка.

Тетка Зина пристально посмотрела на них и вдруг ткнула в Сашку пальцем: «Чево снял метку? Думаешь, не признаю? Дык я тебе везде признаю! Ты другой!» Никто никогда не

угадывал братьев, а сторожиха тетка Зина угадала. Это поразило обоих. Они сидели перед ней сытые, благодарные и немного пристыженные.

Но тетка Зина не стала их укорять. Она спросила:

— А там... В своем... Томительном... Чем вас кормили?

Братья замялись. Это был странный вопрос. Везде, по их разумению, кормят одним и тем же, если вообще кормят: баландой.

— Баландой! — сказал Сашка.

Тетка Зина в основном обращалась к нему.

— Баландой? — спросила тетка Зина. — Это похлебкой, что ли?

Братья опять смутились.

Как не знать, что такое баланда. Баланда, она и есть баланда! Мутная жижица, а в ней кусочек картошечки черной, мороженой может попасться или... Или сгусток нерастворившейся манки: жутко вкусно. А вот рис, суп из риса, на днях они первый раз в жизни попробовали.

— Мамалыгу-то вам дают? — спросила опять тетка Зина.

— Малыга? — спросил Сашка. — Не... Затируху дают.

— Заваруху? — переспросила тетка Зина. — Ну, как и мамалыга, только пожиже будет... — И вздохнула. — А нас ведь тоже привезли... Из Курской, значит, области.

Братья уставились на тетку Зину. Не сразу поняли, как это можно привезти взрослых, которые вроде сами по себе.

А тетка Зина продолжала:

— Приехал полномочный, велел вещи собирать... А у мене сестра больная да девка — невеста, но дурная, голова не в порядке, над ней фашист насильничал. Так мы увязали узлы — нищему собраться — лишь подпоясаться! — а сами ревом, а чево ревом... Пусто, даже травой заросло, да и мины там... Ни скотинки, даже кошек поели... В земляночках жили. Нас в товарняк — и повезли. А мы все ревом, все ревом. А полномочный и говорить: «Хватит, бабы, реветь, я вас в рай везу...» А мы-то решили, что в рай, это на расстрел, значит, потому что все изменников искали, кто спал с фашистом, тот у нас и изменник... А моя-то дочь спала, хоть и силком... Ну, и в голос! Аж вагон криком изошел...

Тетка Зина оглянулась. Люди начинали суетиться по цеху, перерыв заканчивался. Она встала.

— А потом привезли в рай, сюда, стало быть, а тут ничего. Даже жить можно. Только эти... Она не сказала, но показала ладонью, будто шашкой махнула.

— Мы так боимся... Так боимся... У нас уж было... Да вы малы, вам не надоть это...

Сашка спросил, оглянувшись вслед за теткой Зиной:

— Скажите, а кто? Кто?

Тетка Зина посмотрела вокруг, быстро зашептала, заталкивая братьев глубже под лестницу:

— Да чечня ж проклятая! Чеченцы прозываются. Неуж не слыхали? Они тут при фашистах вот как мы, изменяли! Мож их девки баловали, мы ж не знаем! Так их сгребли, прям как нас, в товарняки, и узлов собрать не дали! Рассказывают... Нас-то на Кавказ, а их — в Сибирский рай повезли... Рассказывают... А некоторые... — тут голос стал глуше, едва-едва разбирали Кузьменыши. — Некоторые-то не схотели... Дык, они в горах запрятались!

Ну, и безобразят! Разбойничают, значит! Вот как!

Торопливо, с оглядкой, все это выпалив, тетка Зина стала выталкивать братьев из-под лестницы, произнося:

— Ну, идите, идите! Много будете знать, скоро состаритесь! Идите!

Сашка упирался, не хотел уходить.

— Так это они подожгли... Гранатой-то! — воскликнул он, пораженный своим открытием.

Тетка Зина испуганно оглянулась и вдруг закричала на весь цех:

— Ну, чево тут смотреть? Чево? Цеха не видали? Давайте, давайте работать! Некогда лясы точить!

С тем, больше не желая слушать, и выставила братьев во двор.

Вдруг затеяли самодеятельность. Для колхоза.

Уж очень стали натянутыми отношения с местным населением!

Деревенские подкараулили колониста на бахче и избили до полусмерти. В отместку колонисты поймали молодого мужика с бабой близ колонии — занимались в кукурузе любовью, — привязали спиной к спине голяком и в таком виде привели в деревню. А когда стали сбегаться люди, утекли в кусты...

И — началось.

Петр Анисимович вернулся из правления колхоза грустный, прижимая портфель к груди, повторял одну фразу: «Это ведь непонятно, что происходит...» Он собрал воспитателей, пересказал все, что слышал на правлении, и в заключение предложил:

— Может, это... Может, встретиться с колхозниками, поговорить? Или спеть им что-нибудь? Вон как ревут в спальнях!

— Можно спеть и сплясать, — отвечали. — Тут все артисты. Особенно фокусников много: из ничего делают нечто!

Но директор шулки не принял, а, прижимая, как ребенка, портфель к груди, попросил страдальческим тоном:

— Значит, это... Давайте хор... И стихи. Я так и скажу деревенским, что мы у них выступим, а они чтобы это... Ну, угощение... Словом, мир между нами.

О мире, о дружбе и прочем таком до колонистов не дошло. Дохлый номер, как они понимали. Крали и будут красть, а чего еще делать. А вот насчет угощения, это было понятно. Желающих выступить сразу нашлось немало.

И Кузьменыши всунулись, сказали, что пели раньше в хоре и от имени Томилина споют какую-нибудь песню. Их записали.

И далее записывались по бывшим коллективам. Запись происходила в столовой.

Мытищинские предложили хор — их было много: «На богатырские дела нас воля Сталина вела». Другая: «Лети победы песня...» — эти две для запева, а далее: «Дорожная». Для души.

Первую одобрили, да и о второй отозвались с похвалой, все знали «Дорожную» Дунаевского.

— Может, и Дунаевский, — отвечали вразнобой мытищинские, — мы вам лучше споем.

Мытищинские встали в стойку: выставив вперед правую ногу и пристукивая в такт, дружно промычали: «Тум-та, там-та, тум-та...» Начало всем понравилось. Будто поезд стучит.

Дальше шли слова:

*Раз в поезде одном сидел военный,
Обычно-вен-ный,
Купец и франт,
По чину своему он был поручик,
Но дамских ручек
Был генерал.
Сидел он с кра-ю,*

Все напева-я:

Про первертуци, наци туци, верверсали,

Ерцин с перцен, шлем с конверцем,

Ламца-дрица, о-ца-ца!

— Что это? Это ведь непонятно, что происходит? — спросил Петр Анисимович, разглядывая странный хор. — Какой Герцен? Какой генерал?

Хор удрученно молчал.

— А может, дальше? — спросил кто-то из воспитателей.

— Дальше? — удивился Петр Анисимович. И отмахнулся портфелем.

Но хор понял его слова так, что им велят продолжать дальше. Мытищинские снова, как по команде, выставили правую ногу вперед и замычали слаженно: «Тум-та, ту-ма-та, тума-та, тум-та!» Кто-то из солистов с грустной томностью вывел под это сопровождение:

Вот поезд подошел к желанной цели,

Смотрю я в ще-ли —

Мадам уж нет!

Хор грянул изо всех сил, желая понравиться директору:

Про-пал пору-чик,

Дамских ру-чек...

— Хватит! Хватит! — попросил Петр Анисимович. И даже привстал, прижимая к подбородку портфель. — Эту не надо. Только первую. Про богатырские дела...

— А другие? — спросили из хора.

— Какие другие? У вас есть другие?

— У нас много, — отвечали. — «Халява», «Мурка», «Чего ты, Валька, курва, задаешься»...

— Нет, нет! — сказал Петр Анисимович. — Это оставьте себе!

Хор разочарованно удалился, уступив место люберецким.

Люберецкие станцевали «Яблочко», припевая: «Эх, яблочко, вниз покатилося, а жизнь кавказская... накрылася!»

— Танцуйте без слов, — сказал, вздыхая, директор. — Без слов у вас лучше получается.

Можайские изобразили сценку под названием «Кочерга»: в школе никто не знает, как написать заявление, чтобы привезли десять штук... кочергов... Так один говорит... А другой поправляет: «кочергей»... Это — взяли.

Каширские — там одних девчонок собрали — спели песенку про «Огонек»: «На позицию девушка провожала бойца...» — На позицию девушка, а с позиции мать! — крикнул кто-то из колонистов. Но никто на такой выпад не среагировал, песню одобрили.

Два колониста из Люблино предложили пародию.

— Пародию? — оживились воспитатели. — Ну, ну!

Сперва они запели с чувством про журавлей: «Здесь под небом чужим я как гость нежеланный...» При этом показывали в окно, на небо. Явно чужое. Про колонистов, словом, песня. А после куплета вдруг завели инвалидским пропитым голосом:

— Да-ра-гие ма-ма-ши! Па-па-ши! Подайте, кто сколько может... Кто рупь, кто два, кто реглан...

*Милый папочка, пишет Алечка,
Мама стала тебя забывать.
С подполковником дядей Колею
Каждый вечер уходит гулять...*

Из комиссии попросили про инвалидов не петь. Лучше уж про журавлей. Люблинские согласились, но сказали, что они тогда добавят про фюрера на мотив «Все хорошо, прекрасная маркиза». Про фюрера разрешили без прослушивания.

Раменские напросились декламировать «Кавказ подо мною» на стихи А. Пушкина и отрывок из поэмы Баркова про то, как один дворянин по имени Лука любил купчиху. Трагедия, словом.

Луку отвергли, остальное взяли.

Коломенские предложили колхозные частушки, специально для деревенских... Вроде бы как хор Пятницкого.

Наученный горьким опытом с «Яблочком», Петр Анисимович попросил спеть одну.

С подвыванием, как поют в народном хоре, на знакомую мелодию «На закате ходит парень возле дома моего» коломенские проникновенно завели:

Я работала-а в колхо-зе-е, ах! За-ра-бо-та-ла-а пятак! Ах!

Пятаком прикрыла... сзади... Ах!

А перед остался та-ак! Ах!

— Нет, это для них... для переселенцев не очень... — сказал быстро Петр Анисимович. И облегченно вздохнул. — Все?

Но тут вышел перед комиссией Митек и прошепелявил:

— Я тоже хочу выштупать на щчене...

— Ты? — поразился Петр Анисимович. — Это ведь непонятно, што происходит... — ненарочно прошепелявил он сам.

— Почему непонятно, — не понял Митек. — Фокуши...

— Чего? Чего? — Все оживились.

— Фокуши, — сказал Митек.

И уже не дожидаясь согласия, спросил Петра Анисимовича:

— Вот, ваши чаши...

Петр Анисимович вяло запротестовал:

— Нет, нет. Ты моих часов не трогай!

— Так они уже тут, — сказал Митек и достал из своего кармана директорские часы.

— Это ведь непонятно, что происходит... — ахнул директор. И отмахнулся.

— Там, в клубе... Только у колхозников ничего это... не бери. А то это... Конфликт начнется... Подумают, что пришли опять... Чистить их карманы.

— А у кого же брать? — спросил невинно Митек.

— У кого хочешь, — повторил директор. — Но у них не бери!

— Ладно, — сказал Митек и многозначительно посмотрел на директорский портфель.

В это время еще несколько шакалов полезло к комиссии, и каждый кричал:

— Я тоже умею... Фокусы!

— Хотите, стакан буду грызть?

— Или лампу?

— Хотите... Слезы потекут! У всех!

— А я могу угадывать! По руке! Что будет!

Директор поднял портфель и, будто обороняясь, крикнул:

— В следующий раз! Стаканы грызть — в следу-ю-щи-й раз! Тем более что стаканов нет! А слезы у нас и без того... Текут! До сви-да-ния! До свидания, товарищи!

Прошла неделя. Колонистов всех, кроме девочек, перевели работать в цех. Рассовали кого куда. Несколько человек попали на мойку банок.

Мойка-карусель из штырей, на штыри надевают донышком вверх стеклянные банки.

Карусель крутится, в одном конце ее кожух железный, там банки попадают под фонтаны кипятка, потом их обдают сильным паром. Когда карусель сделает круг, банки возвращаются такие раскаленные, что их снимают рукавицами. В горячие банки заливают кипящий джем.

Рукавицы в первый же день колонисты стырили. Сами у себя. Далее — хватали ошпаренные банки рукавами, благо у всех одежда была не по росту, велика.

Мойка нравилась ребятам, потому что рядом варился джем.

Другую часть колонистов, с ними и Кузьменышей, направили на конвейер. Тот самый конвейер, о котором упоминала веселая шоферица Вера. Ребят привели, показали. Из огромного бака, где плавали в воде высыпанные из корзин помидоры, выползала широкая резиновая лента. Стоя по обе стороны, надо было ловко выхватывать всяческие веточки, листья, гниль, не пропуская ничего лишнего. За этим строго следили две женщины, поставленные в самый конец ленты.

Шелестящая, мягко изгибающаяся лента уползала под самый потолок, где из специальных сеток на нее проливалась густая струя воды, вымывая остатки сора, всю грязь.

Лента скрывалась за железным массивным колпаком, из-под которого вырывался во все стороны с шипеньем горячий пар. С обратной стороны колпака, из короткого хобота, в широченный чан изрыгался вместе с паром резко пахнущий, красный, раскаленный поток томата.

Стоять у конвейера целый день надоедало.

Но он, правда, и не работал целый день: то ленту заест, то помидоры запоздают... То пар отключат или вообще энергию. А когда ленту не заедало, палки в нее вставляли!

И тогда ребята, в первую очередь Кузьменыши, торопились в дальний угол цеха, где рядом с мойкой банок в отгороженных стальными барьерчиками котлах варили сливовый джем.

На этот запах джема колонисты слетались, как пчелы на мед.

Кузьменыши так раньше многих других!

Икра баклажанная — «блаженная» — слов нет, хороша, ее хоть ведрами ешь, да только приедается.

Яблочный соус кисловат, его быстро отвергли.

Фаршированный перец — тут фарша от пуза нажрешься — от случая к случаю готовят.

Но джем... Вот райское кушанье! Если в банку с головой влезешь, так всю и высосешь, аж на пузе медок проступает!

Ни одна варка не обходилась без пристального наблюдения колониста.

Рослые евреи поднимались по гулким железным лесенкам на самый верх и опрокидывали в котел тяжелые корзины со сливами, теми самыми, что теперь очищали во дворе одни девочки.

Потом с тех же лесенок, вздрагивающих, позванивающих от тяжелых мужских шагов, сыпали сахарный песок, с треском распарывая над котлом сероватые джутовые мешки и тут

же сбрасывая их на пол.

Колонисты подхватывали эти мешки, выгребали из них сахарные крошки.

А иной раз кто-то из грузчиков, будто невзначай, наклонял мешок за край котла, и тогда манна небесная с неба просыпалась в подставленные ладони ребят: белая, сладчайшая струйка!

Песок совали в рот и сосали, наслаждаясь. И в карманы набивали, так что осы и пчелы вились потом роем за машиной.

Но самый торжественный миг наступал, когда начиналась разливка джема. Из узкой горловины, густой, душистый, маслянисто-коричневый, он изливался в нагретые на пару стеклянные банки, и если они невзначай лопались, колонисты подхватывали стекло, еще ошпаривающе горячее, с густыми подтеками тоже горячего джема, и быстро поедали его, рискуя порезаться или обжечься. Но вот же чудо: никто никогда не порезался! И не обжегся! Банки, заполненные джемом, закрывались сверкающими, как золото, жестяными крышками. На подачу крышек (вот везуха) посадили Митька, того самого, который «вшпотел от шупа». Здесь он тоже работал «вшпотевши», на зависть другим колонистам, от своего такого особенного положения.

Весь процесс производства джема — от котла до склада — братья тщательно проследили и знали наизусть. Это было не пустым любопытством.

Братья сообразили, что джем, особенно в закупоренных банках, может стать хорошим подспорьем в голодную зиму. То есть о зиме они подумали позже, а пока возникло желание стащить несколько банок для заправки. Для себя и, конечно, Регины Петровны с ее мужичками.

На этот счет договорились и с простодушным Митьком. Как только в цехе оставались он да закрывальщик, а банки скапливались на длинном, обитом железом столе за спиной закрывальщика, Митек начинал громко насвистывать мелодию песенки: «Дорогой товарищ Сталин, приезжай ты в наш колхоз...» Кузьменыши по очереди оставляли конвейер и торопились на призывную мелодию, как небось не поторопился бы в родной колхоз сам товарищ Сталин...

Главное во всем этом деле — успеть спрятать банки близ конвейера, пока никто не видел из взрослых.

Евреи в счет не шли.

Они лишь усмехались, когда наталкивались взглядом на колониста, запикивающего очередную банку в карман.

А иной раз как бы невзначай прикрывали его своим мощным торсом.

Сашка разделил операцию по джему на три этапа.

Первый — вынести из варочной и надежно заначить. Второй — пронести мимо востроглазой тетки Зиной и опять же надежно запрятать во дворе. Третий и, может быть, основной — переправить джем за глухой забор. На волю.

Уже через несколько дней после начала операции было заханырено у Кузьменышей, припрятано то есть, заначено, семь запечатанных банок с джемом.

В цеху, близ конвейера, находилось столько всяких труб, металлических хитросплетений, с множеством закоулочков и отверстий, что при желании можно было схоронить не семь, а

тысячу семь банок! Ни одна ищейка во время шмона не смогла бы их там отыскать.

На этот счет наши братья, как, впрочем, и остальные колонисты, были непревзойденные спецы.

Чтобы протащить припрятанные банки мимо глазастой тетке Зины, которая вроде бы и не была злой, но уж очень напуганной и поэтому вдвойне старательной, Сашка предложил брату ходить в обнимку. На машину, с машины, в столовку, во двор...

— Жарко небось, — сказал непонятливый Колька.

— Терпи!

— А зачем? — опять спросил Колька.

— А затем! — передразнил Сашка. — Как пойдешь, так и поймешь! Места-то сколько меж нами остается!

Колька сообразил. Поинтересовался:

— А эти... Которые влюбленные: тоже носят? Они ведь всегда обнимаются. Сам видел!

Сашка подумал, сказал:

— А фиг их знает.

Теперь они ходили, взяв друг друга за плечи. Женщины из цеха, глядячи на них, произносили: «Ишь какие дружные! Водой не разлить!» Кто мог догадаться, что если бы их удалось разлить водой, под рубахами обнаружили бы целых две банки: одна на другой. Отрепетировано было за колонией в кукурузе, а проверено в стенах колонии. Когда шли обнявшись, ни при каких условиях разглядеть банок было нельзя. Разве что прощупать, но кто бы стал щупать?!

Правда, именно тетка Зина в тот день, когда заложили они между собой первые банки, что-то заподозрила.

Раньше сколько мимо обнявшись ходили, и ничего. Не останавливала, не спрашивала ни разу. А тут, вот бабье чутье-то, тетка Зина как закричит пронзительно, на весь цех:

— Эй, ты! — на Сашку, конечно. Его она узнавала и без красной тесемки на любом расстоянии. — Поди, говорю. Чево ты все мимо... мимо...

Подошли оба, не разжимая объятий. Банки холодили кожу, елозили гладким стеклом по ребрам во время вдоха и выдоха. Иногда похрупывали друг о дружку.

Тетка Зина посмотрела на братьев и сказала:

— Чево склешились-то? Аль на толчок тоже по двое ходите?

Колька молчал. Его тетка Зина и не спрашивала, она его вообще не признавала. Да и Сашка придумает быстрее, чего и как ей ответить.

И Сашка сразу же ответил миролюбиво, что ходить так по двору удобней, потому что им посекретничать надо. От уха до уха ближе выходит.

Сашка в общем-то не врал. Секрет и правда был, только не в ушах дело.

— Ишь какие! — вздорно проговорила тетка Зина. — Шикреты! А вот узнаю я ваши шикрегы, что тогда? — и придиричливо посмотрела им вслед. Но ничего не заметила.

А братья, не торопясь, вышли наружу да скорей за угол.

Тут, на заднем дворе, за спиной цеха, где никогда не появлялись работники завода, находилась свалка. Банки, ящики разные, тележки, бочки и прочая рухлядь. Здесь-то джем надежно прикрыт.

Оставалось переправить его на волю.

Для интересу, хоть мало верилось, испытали братья проходную. Но вохровская старуха с незаряженной винтовкой, хоть и не была догадлива, как тетка Зина, но прикрикнула на них: мол, чево скопом лезете, ходите, как люди, чередой, как все ходють!

«Как все — можно, — подумалось братьям. — Да вот банки тогда не пронесешь!» Был у Сашки еще один способ: перебрасывать джем через забор. Только забор-то каменный, глухой, метра два высоты.

Забежал однажды Колька после работы, выскочив вперед всех, а Сашка с заднего двора кинул ему несколько пустых банок.

Из пяти штук поймал Колька только одну. Поменялись они местами, но результат оказался не лучше. Сашка и вовсе ни одной не поймал. А больше предложить он ничего не смог. Словно бы торможение у него с головой вышло.

Колька как бы невзначай Сашке жмень сахарного песку подсунул. Слышал, что от песка мозги варят быстрее. Вон как джем в котле!

Но и песок не влиял на брата. Он поскучнел, потускнел, зачах, даже осунулся.

Бродил один по двору или подолгу разговаривал с теткой Зиной. А чего с ней говорить, ее на это дело не уговоришь, Колька был уверен. Банки лежат, а время идет... Вдруг их больше не повезут на завод: каждый день последним может стать!

Однажды Сашка сказал:

— Знаешь... Они здесь тоже были.

— Кто? — спросил Колька, но уже и сам догадался. — Черти?

Так Илья звал чеченцев.

— Ага. Черти. Проскакали на лошадях, с винтовками... Стрельнули, и скорей в горы. Тетка Зина видела. Говорит, чуть не померла со страха.

— Убили кого? — спросил Колька.

— Не знаю. А ты думаешь, Регина Петровна почему молчала?

— Почему?

— Она их видела. И заболела. Тетка Зина говорит, от страха, так бывает.

— Регина Петровна ничего не боится, — сказал Колька.

— А мужички? А взрыв? Думаешь, не страшно?

Братья сидели на задней части двора, на ящиках, близ своей заначки. У самых ног в траве протекал через двор ручей. В него сбрасывали отходы из цеха. Ручей был грязновато-желтого цвета и вонял.

— Ну? Ты придумал? — спросил Колька.

— Чево?

— Сам знаешь чего! Так и будем на заначке сидеть?

Сашка почесался и сказал:

— Эх, чешка вошится... — Что означало на детдомовском жаргоне «вошка чешется». И без всякой связи:

— Давай уедем, а?

— Сейчас?

— Ну, завтра. Вон, тетка Зина говорит, она бы давно удрала, да у нее семья... Они тут мобилизованные, их к заводу прикрепили. А нас-то никто не прикреплял!

— Как же Регина Петровна? — спросил Колька. Сашка задумался.

— А вдруг она не вернется?

— Она вернется, — твердо пообещал Колька. — У нее мужички здесь.

— А вдруг она умерла?

— Нет, — опять сказал Колька. — Мы ее только дождемся и на дорогу банок накопим. Нам все равно их вынести надо.

Сашка молчал, смотрел на дальние горы, размытые, едва видневшиеся в бледновато-голубой дымке. Светило нежарко солнце. Было тихо. Лишь всплескивал ручей да жужжали осы.

— А может, никаких чертей нет? — спросил с надеждой Колька. — Ведь их с милицией ловят? Раньше бухали, бомбили. А теперь и бухать перестали.

Колька говорил не потому, что верил. Ему понравилось жить на Кавказе.

Еще бы! Сбылась мечта, извечная мечта голодного шакала о жратве. Где это он еще вволю сможет объедаться сахаром, да «блаженной» икрой, да вареньем? Тетка Зина сказала, что везли их в рай, так он и в самом деле тут рай, на заводе.

И нечего плакаться, что к заводу прикрепили. А Колькина бы мечта, чтобы вовсе от завода никуда колонистов не открепляли. Вырастет, попросит, пусть его навсегда прикрепят. Вот когда сладкая жизнь для него начнется! Будет, как евреи, сахар носить! А уж кто носит, в убытке не остается.

Сашка посмотрел на Кольку и понял, о чем он думает.

— Ладно, — сказал он брату. — Подождем.

— А джем? Как с ним быть? — не унимался Колька.

Сашка пристально посмотрел на горы, на забор, под которым протекал гнилой ручей.

— Будем сплавлять.

— Чево? — не понял Колька. Сашка засмеялся.

— Пустим их по воде, банки, понял?

— Как это?

— Как... Не знаю. Придумаем, — пообещал Сашка. Он подставлял лицо под солнце и, закрыв глаза, о чем-то думал.

Идея Сашки была мировая. Привязать варенье к деревяшке и пустить по течению. Ну, а по другую сторону забора все это, конечно, ловить...

Попробовали разок: деревяшка утонула. Нашли доску. Но и доска не пошла, в осоке застряла из-за своей неповоротливости.

Сашка дело с досками отставил. Весь перерыв шлялся по двору, рыскал глазами по углам, искал. Чего искал, он и сам не знал. Наконец на свалке набрел на галошу. Большую такую галошу, непонятно, кто ее, такую громадину, мог носить! Гулливер разве какой!

Принес Сашка галошу к ручью. Камень в нее сунул, с кулак примерно, пустил по течению.

Проскочила галоша все буруны, все заторы, под стенкой проплыла, а там, за стенкой, Колька ее поджидал.

Тогда Сашка банку песком нагрузил и сунул в галошу. Галоша опрокинулась, банка утонула. Сашка еще раз банку с песком загрузил и на этот раз крепко веревкой связал банку и галошу.

Это все пронеслось, пролетело по воде и выплыло наружу. Только часть песка просыпалась. Да черт с ним, с песком-то, песок — пускай, — решили братья. — Джем не размоет, он напроць закрыт. Лишь бы не тонул, а плыл, ведь со дна его не достанешь! Загонит, закатит течением в камыш, ищи-свищи!

В какой-то вечер, сразу после работы, вышел Колька вместе со всеми ребятами за ворота и пустился бегом к ручью. Колонистам за проходной все равно приходилось подолгу ждать свою машину.

Место, где вытекал ручей, было пустынное, находилось оно в стороне от проходной. Оттого и бежать надо было изо всех сил, заводская кирпичная стена протянулась на полкилометра!

Свистнул Колька, как было условлено, я, мол, тут, на стреме... Валяй, запускай свою технику!

Свистнул и стал ждать. Даже прилег на траву, чтоб видней было.

Время шло. Тянулись минуты, пустые, потому что пусто на воде было.

И вдруг, когда уже и не ждал, когда стал подниматься да отряхиваться, увидел: черная галоша, как подарок судьбы, вынырнула из-под стены и поплыла... Как английский тяжелый дредноут — в книжке картинку когда-то видел! Плыла, поворачиваясь по течению разными боками, а в ней — вот главное! — драгоценный пассажир в золотой шапочке!

Отвязал Колька баночку, от избытка чувств поцеловал ее в золотую макушку и в холодное донышко поцеловал. И у щеки подержал. И около уха: слушая, как переливается густой маслянистый джем.

Банка на свободе смотрелась иначе, чем там, на территории завода, где она вроде бы еще и не была своя.

И галошу Колька погладил, как живую.

Гладил и приговаривал:

— Хорошенька-я, галошечка... Умненькая... Славненькая. Глашечка ты наша родненькая!

Так и стали ее называть братья между собой: Глаша.

Однажды Кузьменыши зашли к девочкам в спальню. Помялись, попросили: нельзя ли, мол, с мужичками Регины Петровны немного погулять.

Девочки разрешили. Только ненадолго, сказали. И далеко не шляться...

С оглядкой привели братья своих меньших братьев на берег желтой Сунжи, вытащили из заначки драгоценную банку джема, вскрыли ее. Посадили мужичков на траву, стали угощать. Ложка была одна, кормили по очереди. Одну ложку Жоресу, другую Марату.

Мужички ели, не торопясь, серьезно. Старательно вылизывали ложку, время от времени заглядывали в банку, много ли там осталось. И хоть видно было, что им ужасно понравилось, еще бы, райская пища! — но сами ничего не просили, а ждали, когда им еще дадут.

Потом сразу как-то наелись.

Вздохнули, заглянув напоследок в банку, спросили: «А еще будет?»

— Будет, — пообещал Колька. — Глаша привезет, и будет.

— Глаша — это кто? — спросил Жорес. Сашка посмотрел на Кольку и сказал:

— Глаша — это... Это Глаша. Она хорошая.

— Может, это ваша мама? — спросил Марат.

— Нет, — сказал Колька. И вздохнул.

— А мы соскучились, — пожаловался Марат. — Без мамы плохо.

— Конечно, плохо, — подтвердил Колька.

— А ваша мама приедет?

— Не знаю, — сказал Колька и стал закрывать банку. Закрывал и слизывал с краев капельки джема. На мужичков не смотрел.

— Все мамы приедут, — сказали мужички.

Кузьменыши заторопились, спустили детишек к воде, обмыли им губы, щеки, руки, все это было сладкое. По дороге в колонию предупредили: про джем, который привозит Глаша, — молчок... А то Глаша обидится.

Братья пообещали.

Чистеньких, зарумянившихся, очень довольных вернули мужичков девочкам.

Колька опять спросил:

— Когда же вернется Регина Петровна?

— Вернется, — сказали девочки. Ясно было, что-то они недоговаривают.

А между тем Глаша возила джем исправно, и однажды Колька сунул руку в лаз, на ощупь посчитал. Выходило, что у них в заначке скопилось целых одиннадцать банок.

— Одиннадцать! — сказал он шепотом брату, который, как всегда, когда лазали они в нору, стоял на стреме.

Видели бы томилинские! Да они бы рехнулись, если бы им показать такое богатство!

За крошечку сахара продавались в рабство, с листьев, рискуя головой, слизывали, забравшись на липу, по весне сладкий сок... Ели мороженую картошку — не только из-за голода, из-за сладости. О конфетах лишь легенды рассказывали, никто их в глаза не видел. Да и варенья никто не видывал тоже.

— Одиннадцать! — повторил Колька для весомости. — И еще два пустых мешка от сахара! Мешки они прихватили, чтобы сподручней с вещами было, когда побегут.

Шакалы на то и шакалы, чтобы все видеть. У братьев четыре глаза, а у шакалов сто четыре. И каждый за угол умеет смотреть, не только напрямую. И усмотрели.

Как ни береглись братья, как ни пытались втихую сплавлять свою Глашу, их все-таки засекли.

Не взрослые, те простофили, лопухи, непонятно, зачем им глаза повтыкали... Свои засекли, шакалы.

Однажды Колька торчал у ручья, поджидал Глашу. Увидел, кто-то из колонистов бежит в его сторону.

Колька на всякий случай штаны приспустил. Пусть думают, что он тут по нужде торчит.

— Тебя там ищут! — крикнул колонист.

— Кто меня ищет? — спросил Колька и покосился на ручей: не дай бог Глаша поплывет, тут все и откроется!

Не подозревал, что все давно открыто и заговор против них созрел.

— Брат тебя ищет! Кузьменыш! Он там, на заднем дворе! Сашка, что ли?

— Это я — Сашка, — сказал Колька.

Подтянул он штаны, бросил последний взгляд на ручей, на колониста и пустился бежать вокруг стены. К проходной уже подлетел, а тут Сашка навстречу.

— Ты... звал? — запыхался Колька, дышит тяжело.

— Я? Звал? — удивился Сашка. — Я не звал. А Глаша где?

— Какая... Глаша? Ты разве послал?

— А ты не принял?

Уставились друг на друга. Без слов стало ясно: подловили.

Брели на посадку, Колька вяло спросил:

— Может, отдадут?

— Шакалы-то? — Сашка усмехнулся, носом засопел. — Не банку жалко... Они дело порушили... Понял?

И с тем молчок. Даже в машине не глазел по сторонам, не рассматривал шакальи рожи, не пытался угадать, кто сыграл с ними шутку.

Если рассудить здраво, то и обижаться Кузьменышам надо лишь на себя. Подловить других и не дать подсмотреть за собой — это и есть главная забота любого колониста.

Если он хочет выжить.

А выжить все хотят.

И шакалы хотят... Вот стая и обступили, и рвут уже...

Галошу, Глашу, они, конечно, вернули. А джем не вернули. Поделили еще там, до прихода машины, и все начисто вылизали. Будто не с завода вышли, где можно было и без того нажраться. Ан, нет. Та же банка да на свободе вдвое слаще показалась!

Теперь колонисты тащили банки из цеха куда больше, чем раньше. В штанинах тащили и за пазухой, для чего, наподобие наших братьев, объединились в пары, тоже стали в обнимку ходить.

Работницы на заводе надивиться не могли: как это наши сиротки возлюбили друг друга!

Господи, по двое, в обнимку, такие миленькие, славненькие... Прямо ангелочки!

Ангелочки же тащили и тащили. У них под одеждой не крылышки прорезались, а крышки от консервных банок!

Под конец придумали в корзинку загружать. Эти корзины время от времени, чтобы освободить цех, вытаскивали наружу. И мешки из-под сахара, и битую тару.

Сашка увидел, ахнул: что значит коллективный ум! Он-то сам до корзины не допер, а шакалы доперли. Они все сволакивали теперь на задний двор, целые склады там образовались.

Галоша работала в несколько смен. Шакалы стали звать ее Волшебной калошей, кто-то сказку такую читал.

Но никакая сказочная калоша не могла сравниться с этой, реальной Волшебной калошей: эта давала не какое-то фантасмагорическое счастье, а вполне реальное, переведенное в энное количество сладких джемовых банок с золотыми крышечками!

Сперва братья переживали за свою Глашу, особенно волновался Колька, не утопили бы, не потеряли, не порвали...

Но однажды Сашка сказал:

— Берите насовсем! Пользуйтесь!

Колька услышал, едва не бросился отнимать. Даже слезы покатались. Так вот, задарма, ничего не потребовав взамен, отдать их золотую, родненькую, славную Глашу?! Лучше, наверное, банки из заначки отдать! Они столько не стоят, сколько их замечательная Глаша! Колька так рассвирепел, что крикнул:

— Сбрэндил, да? — и повертел пальцем у виска. Показывая, насколько у Сашки перевернулись мозги и насколько он сбрэндил.

А Сашка спросил невинно:

— Заметно?

Колька присмотрелся, вытер дурацкие слезы. Нет, не было заметно, что Сашка сбрэндил.

Он и улыбался, как бывший Сашка, и глаза у него были все те же. Только вот с башкой что-то случилось — стала она варить наперекосяк, может, он джему переел! Колька не случайно в него пихал в последнее время... Может, у него мозги от сладостей слиплись?

— Но ведь Глаша-то наша! Наша! — закричал ему Колька с отчаянием. — Как мы без нее жить-то будем?

— Потише... — сказал Сашка, и оба брата оглянулись.

Но никто не слышал их спора. Находились они на заднем дворе, где были полными хозяевами.

Журчал вонючий ручей, бурьян мирно прорастал сквозь старые ящики, лежащие тут с невероятно давних времен, может, даже с до войны.

Сашка надул щеки и громко выдохнул:

— Будем жить, как жили. Без Глаши. Хватит.

— Хватит? — поразился Колька. — Да мы... Мы только начали!

— И закончили, — спокойно сказал Сашка. — Теперь надо замереть.

И так уверенно он сказал, что Колька проглотил очередную фразу, которую готовился ему выдать со зла.

Колька всегда верил в изворотливый ум своего брата. Всегда. Первый раз, пожалуй, усомнился. А Сашка посмотрел на Кольку и все прочел, что тот не сказал.

— Пойми, они же забурились! — Это про шакалов. — Ты видишь, как они шуруют? Они рвут на ходу подметки, про будущее и не думают! Вот сука буду, если они не пойдут вместе с нашей Глашей ко дну... — И добавил: — Себенева...

СБНВ расшифровывалось так: сука буду на все века! И большим пальцем, ногтем, под зуб и под горло. То есть зуб на отрыв даю и горло подставляю... Такая была клятва. Для посторонних же, для взрослых скрытый смысл клятвы якобы раскрывался так: советский боевой нарком Ворошилов... «Ворошиловым» клясться не запрещали. А «сукой» запрещали.

Сашка «сукой» не часто клялся. Тут уж можно было ему поверить.

Но Колька спросил:

— Может... Им сказать?

— Что ты им скажешь?

— Ну что... Что это, хватит. Что зашухарятся ведь, большой бенц будет, и все мы...

— Все они, — поправил Сашка.

— ...И все они... это... завалятся.

— Ну, скажи, — спокойно произнес Сашка. — Они тебе сейчас же поверят... Только почему ты сам не поверил, а? Ты же сейчас рассуждал не лучше самого оголтелого хитника из этих... из шакалов!

Колька вздохнул. Трудно было и правда отказаться от богатства, дармового, которое текло прямо в руки... По ручью, разумеется, текло.

Да кто же из колонистов откажется — в преддверии той голодной зимы, которая, они по опыту знали, у них у всех впереди? Завод-то на месяц, на два: для откорма! А потом? Зубы на полку?

Но Сашка твердо стоял на своем. Шакалы оголтели, и нет у них главного, что отличает приличного вора от шакала... Нет меры, нет совести. В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться, когда изымаешь свою долю из чужого добра. Если от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка! Так сказал великий писатель, какой именно, Сашка забыл. Неважно: писательский опыт он усвоил.

Шакалы же несли не стесняясь! Уже в машине у кого-то выскочила банка из-под одежды. Из-под забора тащили чуть ли не у всех на глазах. Однажды прямо в ящике, который перекинул через забор замечательный грузчик-еврей.

Шоферица Вера улыбалась да пошучивала, заламывая козырек фуражки:

— Ну, пиратики! Ну, разбойнички! Как поработали? Ох, чувствую, моя машинка тяжело пойдет!

Вера видела все. Но никогда никому не доложила. Не продала, словом.

Недели, наверное, две прошло с тех пор, как Сашка себя и Кольку отставил от банок. Ходили смирененькие, тихонькие, сами не тырили, но другим не мешали. Все произошло однажды, когда двое колонистов стали протаскивать корзину с мешками якобы во двор. Глазастая тетка Зина остановила их:

— Чево все с мешками носитесь! Оставьте, я сама потом... Работать надо!

— Мы — помогаем! — с трудом провернули языком колонисты. Корзина была тяжела, очень тяжела: перегрузили от жадности, банок пятнадцать засунули, что ли! А теперь стояли, покраснев от натуги, и не знали, что дальше делать...

— Без помощи! — сказала тетка Зина. — Сама вынесу!

Колонисты тупо молчали, выдохлись уже. Да и корзина тянула вниз, аж потрескивала от напряжения. Потом дно с грохотом отскочило и, позванивая, полетели по бетонному полу банки, зайчики от золотых крышек брызнули во все стороны.

Банок было много. Они катились по неровному полу, а одна, словно по заказу, попала прямо под ноги главному технологу, который проходил мимо. Старик-технолог нагнулся, поднял банку, поправил очки в металлической оправе и посмотрел на этикетку.

— Джем сливовый, ГОСТ 36–72 РРУ РСФСР, — прочитал он и оглянулся: весь цех, прекратив работу, смотрел на него. А самая последняя из баночек еще продолжала катиться по цеху, будто удирала, как удирал бы колонист после такого шухера.

— Это же воровство? — спросил технолог и посмотрел вслед той катившейся баночке. — Это же настоящее воровство?

Вот тут двое шакалов, бросив корзину, и дунули. Через железные цеховые двери, да по двору, да через проходную... Их никто не пытался ловить. Да и чего двух-то ловить; попались двое, а остальные не попались, только и всего.

Колонистов от работы на заводе отставили.

Вечером воскресного дня колонной, хоть это была далеко не та колонна, которая недавно еще сходила с поезда, поражая своей огромностью, пришли ребята в Березовский клуб для встречи с местными жителями.

Концерт самодеятельности совпал со скандалом на заводе.

Но верней сказать, что его поторопились организовать после кражи банок, чтобы как-то растопить неприязнь между колхозниками и колонистами. За два месяца пребывания в этих местах колонисты успели насолить всем.

Клубик находился в самом центре станицы, одноэтажный, кирпичный, с колоннами на фасаде. На колоннах еще видны были следы осколков, наспех заштукатуренные и забеленные.

Зал был просторный, с откидными деревянными стульями, сбитыми по рядам. Занавеса на сцене не было. Справа и слева вели ступеньки. В простенках, по обе стороны сцены, проглядывали какие-то нерусские надписи, их замазали масляной краской и частично прикрыли портретами вождей. Так что выходило: вожди как бы своими спинами стыдливо прикрывали свои собственные призывы, только на другом, нежелательном теперь языке. Слева на авансцене, почти у края стола, стояла фанерная трибуна, крашенная в грязновато-бордовый цвет.

Народу, как ни странно, пришло немало. Большинство переселенцев были под хмельком, оживлены, громко разговаривали, перекрикивались с ряда на ряд. В зале было шумно. Колонисты просочились на свободные места. Но многие по извечной привычке бездомных в чужом месте не разъединяться (а вдруг бить будут!) протиснулись вперед и уселись прямо на пол между первым рядом и сценой. Те же, кто не поместился, выстроились у стенки, прижавшись к ней спиной (тоже самозащита!), заняли боковые проходы.

На сцену поднялся директор Петр Анисимович со своим привычным портфелем, и некоторые, завидев его, зааплодировали. Он направился к трибуне. Как и полагалось, он уже имел кличку: звали его за глаза «портфельчик». Колонисты говорили: «Портфельчик шмон в спальне устроил!» Теперь кто-то из них вслух прокомментировал:

— Портфельчик будет докладывать. О наших достижениях.

Передние, из шакалов, кто слышал, засмеялись. Достижения их были известны.

Директор сделал паузу и, когда шум и смех утихли, начал говорить. Говорил он без бумажки. Он поздравил новоселов-колхозников с первым нелегким годом пребывания на освобожденной от врага земле. И пожелал успехов в уборке урожая и начале новой жизни. Тем более что немецко-фашистские захватчики разбиты, бегут и скоро, очень скоро, должен наступить час окончательной расплаты. Как и предсказывал вождь мирового пролетариата, «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Все зааплодировали. Не «портфельчику», а вождю, конечно.

— Наши колонисты, — продолжал директор, — тоже прибыли сюда, чтобы осваивать эти плодородные земли и после голодной бесприютной жизни начать новую трудовую созидательную жизнь, как и живут все советские трудящиеся люди... Ребята скоро начнут учиться, но они же будут помогать сельским труженикам убирать урожай...

— Да уж помогают! — выкрикнули из зала. Раздался незлобный смех.

— ...А те, кто выйдет из колонии по возрасту в пятнадцать лет, поступят в колхоз или на консервный завод, — продолжал директор, постаравшись не услышать реплику. — Так что жить нам с вами по соседству придется долго. Я так думаю: сегодняшняя встреча поможет нам лучше понять друг друга и подружиться... Вот для начала колхоз выделил нам подсобное хозяйство, правда, далековато... Но ничего. У наших братцев ноги молодые, добегут... Так вот... Есть теперь база для пропитания, там посевы, телята и козы... И прочее... Спасибо!

В зале жиденько зааплодировали. Слова о долгой соседской жизни с колонистами энтузиазма не вызвали. Тем более, и кусок поля со скотиной пришлось отрезать! Но все оживились, когда директор, уже сойдя с трибуны, добавил, что колонисты народ, безусловно, способный, артистический, и они приготовили для колхозников свой первый самодеятельный концерт.

На сцену вышли мытищинские, человек двадцать. Воспитательница Евгения Васильевна объявила песню о Сталине. Директор одобрительно кивнул. Хор грянул:

*Лети, победы песня, до самого Кремля,
Красуйся, край родимый, колхозные поля.
В колхозные амбары пусть хлеб течет рекой,
Нам Сталин улыбнется победе трудовой...*

Ребята из хора, те, что были впереди, вдруг пошли пританцовывать, изображая колхозников, кружиться, и всем стало весело. Зал великодушно зааплодировал, а хор стал неловко кланяться. Но так как аплодисменты не кончались, а петь по списку было нечего, мытищинские стояли и ждали. Потом они, как по команде, выкинули правую ногу вперед и запели: «Тум-та, тум-та, тум-та, тум-та...»

*Раз в поезде одном сидел военный
Обы-кно-вен-н-н-ный...
Купец и франт...*

Директор поднялся и стал пробираться к выходу.

Ребята, конечно, поняли так, что «портфельчик» не захотел слушать не одобренную им песню. Но причина была не в этом. Или — не только в этом.

Надо было срочно, об этом никто не знал, с шоферицей Верой доехать до колонии и принять участие в обыске, по некоторым предположениям именно на территории колонии были запрятаны банки с джемом, уворованные с завода.

Концерт был удобным поводом убрать колонистов, всех до одного из зданий техникума, чтобы провести такой обыск. Провести и успеть вернуться. По завершении концерта предполагалось, что колхозники в знак той же дружбы пригласят колонистов к себе на ужин. Кузьменыши, как и остальные ребята, ни о чем на этот раз не догадались. Даже прозорливый Сашка был беспечен, его волновало лишь, когда им дадут выйти на сцену. Оба вертелись в узенькой, похожей на коридор, комнатке за сценой, а воспитательница Евгения Васильевна со списком выкликала очередных выступающих.

— Каширские... Быстрее! Быстрее! Люберецкие, готовы? Люблинские...

— А мы? Когда будем петь? — подступили к воспитательнице Кузьменыши.

— Как фамилия?

— Кузьмины!

— Оба?

— Что, оба?

— А по отдельности вас как?

— Мы по отдельности не бываем.

— Ага... — сказала воспитательница Евгения Васильевна. — Значит, семейный дуэт? Ждите.

Братья посмотрели друг на друга и ничего не ответили. Хоть и семейными ни за что ни про что обозвали! А вообще с Евгенией Васильевной — Евгешей — они встречались, да, видать, та забыла. Случилось как-то, к Регине Петровне пришли, а там чай пьют втроем, Евгеша эта и еще директор. Повернулись, смотрят, а Кузьменыши, как напоказ выставленные, торчат посреди комнаты, а сразу уйти неудобно.

Регина Петровна рассмеялась и, указывая на них, говорит, вот, говорит, мои дружки, отличить, кто есть кто, нельзя; и зовут их Кузьменыши. А по отдельности запоминать не надо, все равно заморочат.

— Ведь заморочите? — спросила она братьев. Те кивнули. Все охотно засмеялись, а Регина Петровна тоже засмеялась, но не как остальные, которые развлекались, а по-родственному, как своя.

Но Кузьменыши не стали о себе напоминать. Лишь бы про номер не забыли.

В это время несколько человек, в том числе технолог с завода, директор и солдат с миноискателем, обшаривали техникумовский двор. Попадались железки, детали от каких-то старых машин, но того, что искали, не было.

Кто-то предложил вернуться в спальню старших мальчиков, где уже и так все было перевернуто вверх дном.

Несколько раз прошли из угла в угол — безрезультатно. Собрались уходить, но тут в наушниках у солдата запищало, указывая на малое присутствие металла.

Солдат провел своей «кастрюлей» на длинной ручке по комнате, потом снял наушники и показал на дальний угол.

Принесли лом, стали отрывать толстую половую доску. Она не поддавалась.

Директор с сомнением смотрел на всю эту процедуру, бросил взгляд на часы. Спросил солдата:

— Это не ошибка? — И уже к другим: — Это ведь непонятно, что происходит! Ну как они, скажите, могли что-то сюда спрятать! У них ни инструмента... Ничего...

— Ладно, — согласился технолог и поправил металлические очки. — Это последнее. Не найдем, закончим. Значит, твои молодцы ловчей нас!

— Или честней! — сказал директор. — И ничего они не украли!

— Кроме тех, шестнадцати...

— Кроме тех... — вздохнув, повторил директор.

Подросток из Раменского в это время с выражением читал стихи:

*Кавказ подо мною.
Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне...*

Сашка сказал Кольке:

— Про товарища Сталина стихи!

— Как это? — не понял Колька. До него всегда медленно доходило.

Сашка рассердился, стал объяснять:

— Ну, он же на горе стоит... Один, как памятник, понимаешь? Он же великий, значит, на горе и один... И орел, видишь, не выше его, боится выше-то, а наравне! А он, значит, стоит, и на Советский Союз смотрит, чтобы всех-всех видно было! Понял?

Подросток продолжал читать:

*... Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уже люди гнездятся в горах..*

В этом месте в зале почему-то наступила особенная, глухая тишина. Впрочем, увлеченный чтец этого не замечал, он выкрикивал бойко знакомые стихи:

*... И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых берегах,
И нищий наездник таится в ущелье...*

Раздался странный шелест по рядам. В зале вдруг от ряда к ряду стали передаваться слова, но смысл их трудно было уловить. Понятно было одно: «Стихи-то про чеч-ню! Про них! Про гадов!» Так возбудились, что забыли и поаплодировать. Колонисты аплодировали сами себе.

... Доску наконец-то вскрыли, взвизгнули напоследок огромные гвозди, и глазам комиссии открылась яма, подземелье, в глубине которого мерцали золотыми бликами крышечки банок. Сколько их там было: сотни или тысячи, сразу невозможно было понять.

Банки были уложены кучками на землю, и на крышечках каждой из них стояла метка хозяина: буква и цифра. Это чтобы потом не перепутать!

Технолог, кряхтя, прыгнул в яму, поправил свои железные очки, осмотрелся, все не верил, что такое может быть. Задрал голову к директору, попросил подать ему бумагу и карандаш.

— Акт будем составлять! Тут у них товару поболее, чем на заводском нашем складе, — сказал. — Оприходуем? Товарищ Мешков?

Петр Анисимович, сразу побледневший, с готовностью полез в портфель и достал бумагу. Потухшим голосом произнес:

— Это ведь непонятно, что происходит...

Когда Кузьменыши вышли на сцену, в зале стояла натянутая тишина. Братья посмотрели на передний ряд, где сидели колонисты, потом, уставясь в пространство, завели:

На дубу зеленом, да над тем простором

Два сокола ясных вели разговоры,

А соколов этих люди все узнали...

Грустная, конечно, песня, как соколы прощались, один из них умирал, а второй ему и говорит... Говорит, что мы клянемся, но с дороги не свернем.

И сдержал он клятву, клятву боевую,

Сделал он счастливой

Всю-ю стра-ну род-ну-у-ю..

Закончили на высокой ноте, очень даже трогательно, а для большего веселья грянули Гоп со Смыком. Она тоже хорошо ложилась на два голоса.

Изобразили в сценах и под рокот одобрения убежали.

Уходя, братья видели, как через сидящих на полу колонистов пробирается к своему месту директор Петр Анисимович, прижимая к груди портфель. Лицо у него, нельзя не заметить, было не просто грустным, а каким-то угнетенным, серого цвета.

Тяжело вздохнув, он уселся на свой стул и приготовился слушать, не зная, что концерт подходит к концу.

— Фокусы и манипуляции! — объявила со сцены Евгения Васильевна и, помахав рукой с зажатым списком, вызвала на середину Митька.

Митек голову обвязал найденным в подсобке башлыком наподобие какого-то восточного факира, но колонисты его узнали и сразу захихикали:

— Это Митек! Митек! Он от шупа вшпотел!

Митек сделал вид, что ничего не слышит, и вообще изображал из себя какого-то мага. Он поднял руки вверх, поводил ими в воздухе, на ладони оказалось яблоко. Митек откусил яблоко, а колонисты с первого ряда прокомментировали:

— Ни фиги себе! А банку с джемом достать можешь?

Директор при этих словах вздрогнул, испуганно оглянулся.

Митек со вкусом доел яблоко, снова пошарил в воздухе, шевеля пальцами, и у него обнаружилась в руке золотая крышечка, из тех, которыми закрывают банки в цехе. Потом крышечек оказалось много, и они посыпались на сцену, а две упали в зал.

— На заводе наворовал... Крышек-то! — громко сказал кто-то, на него зашикали.

— Не мешай смотреть!

— Главный номер! — предупредил Митек и посмотрел в зал. — У одного из вас, кто сидит в жале, я возьму череш вождох предмет...

В зале оживились, стали проверять карманы. Директор поежился и с опаской поглядел на Митьку. Может, он сейчас жалел, что разрешил ему выступать.

Митек беспечно осмотрел зал, нашел директора и сосредоточился на его портфеле, даже руку к нему протянул.

Петр Анисимович прижал свой портфель к себе. Митек мудро усмехнулся. В руке у него появилась бумажка.

— Вот! — крикнул он и помахал бумажкой в воздухе. — Это из портфеля.

— Докажи! — закричал зал, а директор покосился на свой портфель. Он был крепко заперт на оба замка.

— Можно? Доказать? — спросил Митек директора.

— Можно, можно, — устало отмахнулся тот, не выпуская из рук портфеля.

— Читаю, — сказал Митек и уткнулся в бумажку. — Шегодня, пятого октября, был проишведен обыск на территории колонии, в чашношти в шпальне штарших мальчиков... В шпальне были вшкрыты полы и обнаружен тайник, а в нем...

— Пойдите! — вскрикнул Петр Анисимович и даже привстал от волнения. — Да это же мой документ!

— Читай! Читай, фокусник! — закричал зал.

— ...Тайник, — повторил Митек четко. — А в нем пятьшот банок консервированного шливого джема жавод-шкого ишготоввления...

— Верните мою бумагу, — попросил директор. — Я сейчас объясню...

Но уже колонисты пробирались к выходу, наверное, надеялись спасти хоть часть своих сокровищ. Да и какой тут к черту вечер дружбы, если шмонают за твоей спиной!

Стали подниматься и колхозники, посмеиваясь между собой. Вот это фокусники так фокусники, по соседству пятьсот банок в честь дружбы унесли и спасибо не сказали.

Среди шума и хлопанья стульев не сразу различился голос задних рядов: «Ти-ше! Ти-ше, говорят!» Люди недоуменно замолкали, оглядываясь в сторону голоса: чего это, как резаный, вопит, может, и его уже обчистили?

В наступающей тишине явственно, совсем рядом дробью прозвучали копыта, раздалось ржанье лошади и гортанные выкрики. Потом грохнуло, как с потолка, дрогнули стены, посыпалась штукатурка. Впечатление и правда было такое, что обрушивается свод. Люди машинально пригнулись, а некоторые бросились на пол.

Наступила глухая тишина. Все прислушивались, ждали, глядя вверх. Но ничего не происходило. И тогда люди зашевелились, приходя в себя и растерянно озираясь. И вдруг бросились к дверям, без давки, без крика, вообще без слов проскочили и исчезли, оставив колонистов в полутемном клубе.

— Дружки-то новые слиняли?! — произнеслось в тишине нахально. И тут обрел голос Петр Анисимович.

— Всем колонистам оставаться в клубе! — выкрикнул он, оглядываясь на дверь. — Будем выходить организованно, когда... Когда... Когда...

— У «портфельчика» пластинку от страха заело! — прошептал Сашка.

Колька кивнул. Но он тоже смотрел на дверь. С улицы влетел — все вздрогнули — крик.

— Они машину взорвали! Там Вера наша! Там дом горит!

— А люди? — спросил хрипло директор. Непонятно было, каких людей он имел в виду. Тех, что были тут и разбежались, или... тех...

— Ну, кто-нибудь там есть? — голос у директора взвизгнул и сорвался.

Колонист повторил про машину и про Веру... И про дом, который горит.

Директор осторожно подошел к дверям и выглянул наружу. Еще раз выглянул, прислушиваясь к звукам, что доносились с улицы. Не очень решительно произнес, хриловато откашливаясь:

— Будем это... Значит... Наружу... Это ведь непонятно, что происходит...

Колонисты потянулись к выходу, но никто не рвался вперед.

Пустынна была улица, темна, ни одного окошка не светилось в домах. Может, их успели покинуть?

На площади за клубом костром пылал «студебеккер», тот самый, что возил колонистов на завод. Ребята, замерев, глядели на огонь. Наверное, подумалось сейчас о Вере.

Директор, не останавливаясь и будто не замечая горящей машины, двинулся вперед, а все кинулись за ним вслед. Где-то на окраине, за деревьями колебалось розовое пламя. Когда приблизились, стало видно, что горит дом.

Колька, вздрогнув, сказал:

— Это же дом Ильи!

А Сашка спросил:

— Думаешь, он там?

— Откуда мне знать.

— Небось сбежал... Или... Нет?

Братья переглянулись. В глазах у Сашки, который был лицом к пожару, плясали красные огни.

Директор оглянулся, почти истерически закричал:

— Никому... Никуда... Не подходить! Только со мной! Ясно?

И оттого что он так громко и так не по-мужски закричал, ребята будто сжались и притихли совсем.

Картина была такая. Директор шел впереди, выставив перед собой портфель, как щит. Походка его была не то чтобы нерешительная, а какая-то неровная, дерганая, будто он разучился ходить. Он, наверное, спиной чувствовал, как его подпирают дети. А им тоже казалось, что вот так, за ним, ближе к нему, они лучше прикрыты и защищены.

Слава богу, что никто из них не мог в это время видеть его лица.

Да еще эта глухая темнота, особенно беспросветная после яркого пожара!

Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. Еще наши глаза, не привыкшие к черной ночи, хранили на своей сетчатке красные блики пламени. С непривычки могло бы показаться, что повсюду из черноты выглядывают языки огня. Даже ступать мы старались осторожно, чтобы не греметь обувью. Мы затаили дыхание, старались не кашлять, не чихать.

Задние поминутно оглядывались и норовили протиснуться в серединку, так казалось безопаснее. Все кругом угрожало нам: и ночь, и вязкая тяжелая темнота, и непролазная чаща кукурузы по сторонам дороги, потрескивающей от нечувствительного ветерка.

Что мы знали, что мы могли понимать в той опасности, которая нам угрожала? Да ничего мы не понимали и не знали!

Шушуканье да скрытность вокруг каких-то дел, о которых можно было лишь догадываться, как о несчастном пожаре в колонии...

Но ведь мы были легковверны, беспечны, мы еще не угадывали, что мы смертны, даже опасность, не совсем для нас ясная, казалась нам прежде не больше, чем игрой.

Война приучила нас бороться за свое существование, но она вовсе не приучила нас к ожиданию смерти.

Это потом тот, кто уцелеет, взрослым переживет все снова: ржание лошадей, чужие гортанные голоса, взрывы, горящую посреди пустынной станицы машину и прохождение через чужую ночь.

Нам было страшно не оттого, что мы могли погибнуть. Так бывает жутко загнанному зверьку, которого настигло неведомое механическое чудовище, не выпуская из коридора света! Мы, как маленькие зверята, шкурой чувствовали, что загнаны в эту ночь, в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары...

Но ведь это слова. Слова, написанные через сорок лет после тех осенних событий сорок четвертого года. Возможно ли извлечь из себя, сидя в удобной московской квартире, то ощущение беспросветного ужаса, который был тем сильнее, чем больше нас было! Он умножился будто на страх каждого из нас, мы были вместе, но страх-то был у каждого свой, личный! Берущий за горло!

Я только запомнил, — и эта память кожи, самое реальное, что может быть, — как подгибались от страха ноги, но не могли не идти, не бежать, ибо в этом беге чудилось нам спасение.

Был холод в животе и в груди, было безумное желание куда-то деться, исчезнуть, уйти, но только со всеми, не одному! И конечно, мы были на грани крика! Мы молчали, но если бы кто-то из нас вдруг закричал, завыл, как воет оцепленный флажками волк, то завыли бы и закричали все, и тогда мы могли бы уж точно сойти с ума...

Во всяком случае, этот путь, лежавший через смертельную ночь, был нашим порывом к жизни, не осознаваемым нами. Мы хотели жить, животом, грудью, ногами, руками...

Не всем из нас повезло.

Той же ночью Кузьменыши решили бежать.

Паника, охватившая всю колонию, от директора Петра Анисимовича до последнего шакала из младших классов, коснулась и наших братьев.

Поразил их отчего-то не сам взрыв, случившийся вечером посреди деревни, и не пылающий костром «студебеккер», хотя непонятно было, как это может гореть железо, а добитый огнем дом Ильи-Зверька.

Зверек первый и предупреждал об опасности!

Предупреждал, да сам, дурачок, и попался! Судьбу-то не перехитришь, оказывается.

Ловчил, ловчил, да и погорел. Но хоть подумалось так, а жалко было Илью. Помнилось не то, что он жульничал, а помнилось, как флажками в морду тыкал парню, там, в Воронеже, когда гнались за братьями с воем торгаши. Да и тут, в деревне, на незнакомой земле, кто, как не Илья, привел их в свой дом... А провожая, предупредил, бегите, мол, отсюда, худо будет!

Говорить-то легко, а куда им бежать? Теперь-то, когда у них такой задел из банок с джемом есть, другое дело!

Теперь их любая проводница за банку в тамбур примет, а то и в вагон! Не на колесе, не в собачнике, а на полке барином поедут!

Братья, хоть друг на друга не смотрели, знали, чувствовали едино: все кругом горит, и тот слеп и глуп, кто не чувствует, что огонь к колонистам подобрался... Подпекает уже!

Никто не спал в ту ночь. Братья тоже не спали.

Старшие в свою с развороченным полом спальню прибились. Глядели сумрачно в глубокий подвал, открытый ими, холодный, крысиный запах шел оттуда.

Тоска подступала к сердцу от этой картины, замирало все внутри. Так, наверное, замирает мышь-полевка, у которой поздней осенью, в преддверии голодной зимы, разорили хлебное гнездо.

Кузьменыши не знали, но догадывались о подвале. Понимали, что для такого мощного потока банок и хранилище нужно большое. Но не одобряли они такое хранение.

Вон подпольщики в тылу врага, и те по тройкам рассредоточены. А все для того, чтобы меньше попадаться.

А шакалье, как шуrowали скопом и прятали скопом, так скопом и попались — все сразу потеряли!

Но братья этой ночью не о чужой, о своей заначке пеклись.

Было решено: как затихнет, рассовать свое богатство по мешкам да за спину и пешедралом на станцию... На поезд! И — бежать, бежать, бежать! В свете пожара в эту ночь им было особенно ясно. Про себя. Про свое спасение.

В полночь, когда колония, наконец, погрузилась в свой тяжкий беспокойный сон, если не бессонницу, братья шмыгнули за дом, проскреблись в колючий лаз, он чего-то сегодня особенно неудобен был, пробрались к берегу речушки.

Еще на подходе, из-за кустов увидели свет мелькающих фар, слышали мужские голоса. Сердце у обоих зачастило, дрожь проняла до пяток! Решили, что до их заначки добрались, шуруют ее! Если уж отыскивали в спальне под досками, отчего же не найти на берегу?!

Но, приблизившись, поняли: заначка их ни при чем.

Как говорят: кто о чем, а вшивый о бане!

Просто солдаты на мотоциклах приехали, на берегу на отдых стали. Костра не жгли, а подсвечивали друг другу фарами и матерились, возясь около своих машин. Даже на расстоянии был слышен резкий запах бензина.

Разговоры же громко велись про какое-то ущелье, где их подкараулили бандиты и, завалив дорогу камнями, расстреливали с горки.

Бойцы из ущелья выскочили, угробив мотоцикл с коляской, но одного из них контузило в голову и плечо.

Теперь Кузьменыши разглядели и раненого бойца. Ему оказывали скорую помощь, а он стонал, ругался, а потом закричал пронзительно, братья вздрогнули:

— Басмачи, сволочь! К стенке их! Как были сто лет разбойниками, так и остались головорезами! Они другого языка не понимают, мать их так... Всех, всех к стенке! Не зазря товарищ Сталин смел их на хрен под зад! Весь Кавказ надо очищать! Изменники родины! Гитлеру продда-ли-сь!

Раненого перевязали, и он умолк, а бойцы, отойдя по нужде к кустам, стали говорить разные разности про войну, которой уж конец виден, пусть и за горами! Про то, как им не повезло — дружки осаждают Европу, а тут, курам на смех, приходится штурмовать дохлые сакли в ущельях... Со старухами да младенцами воевать!

Бойцы отговорились, стали укладываться спать. Братья поняли: не уедут они. Сегодня точно не уедут. А это значит, что побег до другого дня откладывается. Бежать без банок — гиблое дело. Куда бы ни наостряли они лыжи, а ждут их, без своего запаса, голод, да попрошайничество, да кражи... И в конечном счете — милиция!

Да и кто от своего, такого богатства, по своей воле уйдет?

Колька так и заявил: лягу, мол, умру, но от заначки шага не сделаю! Лучше, мол, прям на берегу возле заначки жизнь отдать, чем такую заначку бросить!

Решили, в общем, ждать утра, которое, если верить сказкам, куда мудренее вечера.

А оно уже подступало, и сумерки сходили с невидимых пока гор вместе с легкой свежестью и порывистым, шуршащим по кукурузе ветерком.

Наутро за завтраком стало известно, что вернулась из больницы воспитательница Регина Петровна.

Кузьменыши услышали новость в столовке, переглянулись. Оба подумали так: повезло. Не было бы, как говорят, счастья, да несчастье помогло!

Сбегали скорей к заначке, на берег реки. Бойцов уже не было, валялась на траве кровавая вата, обрывки бинтов, бычки от курева.

Колька рукой в нору залез: цела! Цела заначечка! Все банки наперечет, на месте!

Холодненькие, гладенькие, тяжелые даже на ощупь.

Знали бы бойцы, близ какого богатства они тут храпели без задних ног!

Теперь до следующей ночи, когда они наметили снова бежать, непременно надо было им увидеть свою Регину Петровну. Она хоть вернулась, и девочки утверждали, что видели ее, но нигде не показывалась. И в своей комнатке за кухней, как ребята ни пытались заглядывать в окошко, не показывалась тоже.

Промаялись, слоняясь целый день, и все зазря. И когда вечером Колька сказал, что пора им бежать и ждать больше нет сил, Сашка вдруг решительно заявил, что без Регины Петровны, без того, чтобы ее увидеть, он, Сашка, не сдвинется с места. Колька может умереть без заначки, а он, Сашка, не поедет, пока не увидит воспитательницу! И плевать ему на заначку! На все одиннадцать банок вместе с двумя мешками! На все ему плевать! Не может уехать без Регины Петровны и ее мужичков! А то получится, что спасают братья самих себя, а такого человека, как Регина Петровна, оставляют тут погибать!

Они должны вместе бежать, вот что он понял!

И еще одна ночь была потеряна для побега.

Но уже и чувство первой тревоги, той душевной паники, которую пережили все колонисты, сгладилось, а страх, липкий, беспросветный страх стал опадать и таять. Даже похороны Веры-шоферицы на третий день не взвинтили братьев.

С утра за старшекласниками приехал от завода «зисок», обшарпанный, дребезжащий, как телега.

Скамейки на нем не откидывались с бортов, а стояли поперек кузова и качались, потому что были не закреплены.

Да все показалось непривычным для колонистов. Сумрачный, молчаливый старик шофер, и эти неудобные скамейки, и даже то, как их везли, осторожненько, будто стекло, не так, не так их возила лихая Вера!

Шоферицу Веру ребята жалели: она была почти своей. И уж, во всяком случае, не чужая, ибо все понимала про колонистов и никогда ни разу не продала! И машину водила! И красивой была! И веселой! И такой фартовой! Будто век прожила в колонии!

Но вот что странно: никто из ребят не захотел поехать на похороны, и объяснять не объясняли, почему не хотят ехать.

И лишь когда объявили, что ожидает всех кормежка в заводской столовой и даже будет мясо, ребята согласились. Мяса, надо сказать, им еще ни разу не давали. Поехали и Кузьменыши.

У них был свой резон, не считая обеда; побывать, если удастся, на заднем дворе — когда еще такой случай представится — и посмотреть, целы ли несколько банок, заначенных под ящиками, до всей этой суеты.

Если бы и их удалось прихватить с собой! Да перед побегом!

Панихида, как и ожидалось, происходила прямо на заводском дворе.

У гроба, которого не было видно за толпой, кучкой стояли женщины в белых платочках, некоторые из них плакали.

Колонистов увидали от проходной, стали оборачиваться, раздвинулись, пропуская их вперед.

Кузьменыши, хоть не хотелось им этого, оказались прямо перед гробом, плоским, сколоченным из грубых досок и ничем не покрашенных. Эти доски приходились братьям на уровне глаз.

В гробу, куда они, приподнявшись на носки, уставились с любопытством и каким-то ожидаемым страхом, лежала, будто спала, красивая женщина с поджатыми губами; волосы ее, рыжеватые, золотившиеся, окаймляли спокойное чужое лицо.

Женщина никак не походила на бойкую шоферицу в кепочке да мужской одежде.

Это была другая, не ихняя Вера, братья сразу так поняли. И отвели глаза. Потупясь, они стали смотреть на ножки стола, на котором лежала покойница.

Стол, обитый железом, а сейчас покрытый простыней, был им знаком по цеху. На нем обычно стояли стеклянные банки с джемом, который они тырили за спиной закрывальщика. Оба брата подумали, что скорей бы кончилось это занудство и они смогли бы потихоньку убраться на задний двор. Туда, где их банки!

От слез, от причитаний, вздыханий, сморканий вокруг, от всей этой толпы у них начинала болеть голова, как болела лишь в милиции, когда их вылавливали на рынке.

Наконец вышел старик-технолог, прямо в халате, и начал рассказывать всем про Веру, но смотрел он в лицо покойнице. Он говорил, что Вера была молодой девушкой, ей исполнилось девятнадцать, но многое в своей короткой жизни пережила, и главное, она пережила фашистскую оккупацию. Фашисты угоняли население в рабство, а с Верой они справиться не могли... Она трижды сбегала в дороге и трижды возвращалась к себе домой. Последний раз она спряталась в шкаф, и враги вытаскивали ее из шкафа...

Братьям стало вдруг смешно, когда они представили шкаф, в котором сидела шоферица Вера. Но все смотрели на технолога и серьезно слушали.

На заводе Вера была стахановкой, хоть и приходилось ей выполнять тяжелую мужскую работу шофера: возить на станцию продукцию и доставлять на работу детишек... Старик указал при этом на Кузьменышей, и они смутились. Но подумалось: кататься на машине, пусть не погибает, вовсе не тяжело, а приятно.

— Спи, доченька, спокойно, мы тебя не забудем, — сказал между тем старик и наклонил голову. Короткие седые волосы засеребрились на солнце. Женщины стали всхлипывать, а крикливая тетка Зина и тут запричитала на весь двор. Выходило по ее причитаниям, что были они из одной деревни, их вместе сюда и привезли, и прикрепили...

К гробу протолкнулись евреи-грузчики. С непроницаемыми лицами, легко, будто пылинку, подняли они Веру и перенесли в грузовик, на котором ехали колонисты.

Заиграл оркестр: барабан и две трубы, и от гулких ударов тарелок и барабана что-то у братьев перевернулось в груди: заболело, заныло.

В машину посадили по борту, вдоль стола с гробом, несколько женщин и причитающую тетку Зину и повезли.

Все стали выходить за ворота.

Старик-технолог стоял посреди двора и приговаривал, глядя на колонистов:

— Идите... Идите! Сегодня не работаем!

Никакого мяса им не дали. Что называется, получили от тех ворот поворот! И братья отвалили.

Шли по дороге и обсуждали то, что видели. Оба согласились, что Вера не была похожа и не молодая совсем. Девятнадцать, это почти что старость, как посчитали Кузьменыши. Вон, они уж не малые дети, а вместе сложить, так ненамного старше Веры будут.

А еще Колька рассказал, что услышал, в шепоте за спиной, будто Вера сидела в машине и ждала конца вечера, чтобы везти колонистов на ужин... И не заметила, как появились всадники. Они Веру, наверное, и не видели, а видели лишь машину. Но когда они бросили

гранату, Вера еще успела выскочить из горящей машины и пробежать несколько метров и упала. А потом выяснилось, что один осколок попал прямо в сердце... Как же она могла тогда с пробитым сердцем бежать?

Сашка задумался и не отвечал. Кольке он сказал только: «Не верю». Буркнул и затих.

— Чего не веришь-то? — спросил Колька. — Что сердце пробило? Не веришь? Да?

Сашка молчал.

— Ты думаешь, сочиняют... Про сердце?

Сашка молчал.

— Или... Про этих... Про бандитов?

Поле они дошли, срезав часть дороги, до берега Сунжи и теперь сидели на траве.

Сверкали в белесой голубизне совсем невыразительные, похожие на мираж горы. Они вроде бы были, но так были, что, казалось, ощутить их реальность вовсе невозможно.

— Я ничему не верю, — сказал вдруг Сашка. А потом, помолчав: — Ну, все как-то непонятно мне. Была эта Вера. Везла нас, кричала чего-то... А потом раз, и нету. А куда же она делась?

Колька удивился и возразил:

— Куда... Закопали!

— Да я не об этом.

Сашка прищурил глаза и посмотрел вдаль. Дребезжала на камешках рыжая вода, над ней кружилась бабочка.

— Вон эти... — И Сашка показал на горы. — Они тоже пропадают, появляются, но они всегда есть. Так?

— Ну... — спросил Колька.

— Вот... Речка... Тоже всегда...

— Ну?

— А почему же люди? Они-то что?

— Ты про Веру говоришь?

Сашка с неохотой поморщился:

— Про всех я говорю. И про нас с тобой тоже говорю. Тебе страшно было стоять у гроба?

— Нет, — сказал Колька. — Не страшно. Но... неудобно.

Другого слова он не смог подобрать. Лишь поежился.

— А тогда — ночью? Вот через поле шли? Страшно?

— Там было страшно, — сознался Колька.

— И мне страшно. Только не знаю, чего я боялся. Просто боялся, и все.

— Ну, этих... боялся?

— Нет, — сказал Сашка. И вздохнул. — Я не их боялся... Я всего боялся. И взрывов, и огня, и кукурузы... Даже тебя.

— Меня?

— Ага.

— Меня?! — еще раз переспросил, удивляясь, Колька.

— Да нет, не тебя, а всех... И тебя. Вообще боялся. Мне показалось, что я остался сам по себе. Понимаешь?

Колька не понял и промолчал. А вечером они пошли к Регине Петровне.

Сперва они захватили банку джема. Но потом отставили. Много разговоров по колонии ходило об этом самом джеме. Да еще братья припрутся со своей банкой!

Пришли к вечеру, после похорон, и застали Регину Петровну дома. Размещалась она в дальнем углу кухоньки, отгороженном казенным желтым в полосочку байковым одеялом.

Регина Петровна искренне им обрадовалась.

— Милые мои Кузьменыши, — сказала она, пропуская их в угол и усаживая на кровать. — Ху из ху? — И указывая на Сашку, который был на этот раз подпоясан дареным ремешком, спросила: — Ну, ты, конечно, Колька?

Братья засмеялись, и она поняла, что ошиблась.

— Ладно, — сказала, — я с приезда занялась стиркой, накопилось... Мужички мои хоть и были с девочками, но порядком обросли грязью. Но все бросаю, все... Сейчас будем пить чай... С конфетами! Я настоящих конфет привезла!

Братья переглянулись, одновременно кивнули. А воспитательница сразу спросила:

— Или вас конфетами не удивишь? — Она подняла таз с мыльной пеной и вынесла вон.

Вернулась и повторила, присаживаясь напротив: — Что у вас там с джемом? Много натырили — как выражаются ваши дружки? Натырили? Заначили? Я правильно говорю?

— Ну и что? — пробурчал Сашка. — Ну и заначили.

Регина Петровна рассмеялась, и низкий удивительный ее смех будто родная песня прозвучал для обоих братьев.

Они уже успели рассмотреть свою воспитательницу, и оба заметили, что она похудела и на лице, таком же красивом, сквозь природную смуглоту пробивалась желтоватая бледность. Только волосы стали еще гуще, пышнее, не волосы, а черная непослушная грива, небрежно завернутая в узел. Сейчас, на глазах Кузьменышей, она, глянув на свое отражение в окошке, зеркало, наверное, ее сгорело, одним легким движением вынула шпильку, и посыпалось на плечи темным водопадом, а лицо при этом еще больше побледнело, осунулось.

— Пусть подышат, — сказала, откидывая голову назад, чтобы волосы улеглись за спиной. — А я сделаю чай. Тогда и поговорим.

Регина Петровна принесла чайник, стаканы, в блюдечке конфеты, словно майские коричневые жуки.

— Берите, берите, — и пододвинула к ним поближе. — Это подушечки, с чаем прям благодать.

Братья взяли по одной конфете. Сашка засунул сразу в рот и съел, а Колька только лизнул и отложил.

— Ну вот, теперь я поняла, что вы меня не морочите, — Регина Петровна снова засмеялась. — Сашка — это и правда Сашка. Хоть он и с Колькиным поясом. Теперь рассказывайте... Вы же что-то хотите рассказать, да?

Сашка посмотрел на Кольку и кивнул.

— Как вы, милые мои, жили? Я ведь боялась, что вы сбежите! Вы ведь хотели сбежать? Сознавайтесь?

— Хотели, — сказал Сашка.

— Страшно было, да?

Братья не ответили. И так понятно. Регина Петровна посмотрела на них долгим задумчивым взглядом, и они потупились.

— Мне тоже было страшно, — просто сказала она.

— Вы их... Вы видели? — Сашка уставился на воспитательницу.

— Видела.

— Вот! — воскликнул Сашка. — А я знал!

Регина Петровна долила братьям чай и себе долила. Подошла к окну, задымила папироской. Когда она прикуривала, братья заметили, что руки у нее дрожат.

— Слава богу, хоть папирос достала, — сказала она, глядя в окно и глубоко затягиваясь. —

А тогда... Что-то долго не спалось, у меня горел свет. А потом они встали за окном... Трое.

А с ними еще мальчик. Окно распахнулось, вот как сейчас, а я даже не поняла ничего. Стоят трое и смотрят на меня, на мои руки, я папаху кроила. А я на них смотрю... А потом...

Регина Петровна еще раз затянулась, потом достала другую папироску, прикурила от первой, а эту, сгоревшую, бросила за окно.

И снова курила и молчала. Раздавила папироску о блюдце и вернулась за стол.

— Милые мои, дружочки... Вы что же конфет не едите?

— Мы уже, — сказал за обоих Колька. — А что — потом?

Регина Петровна задумалась, прикусив губу. Будто опомнилась, и посмотрела на братьев.

— Да. Да... Только это никому, ладно?

Братья кивнули.

— Мне велели... Приказали в милиции — никому. Так вот, они наставили ружье прямо вот сюда, — она указала на лоб. — А мальчик дернул взрослого за локоть, думаю, что это был его отец. И ружье выстрелило мимо. Мальчик опять что-то ему крикнул, и тогда мужчина посмотрел на меня и заорал по-русски: «Ухады! Убирайся! С этими...» — И стволом на детей. Я к дверям, потом вернулась, схватила мужичков в охапку... А они все на меня стволом, куда я — туда и ствол... может, они боялись, что я закричу? А я как выскочила во двор, сразу и взорвалось... Все там сгорело... И ваша папаха тоже сгорела. А дальше беспамятство какое-то. Ничего не помню. Только слово это застряло: «Ухады!» И ружье повсюду за мной. Я его и сейчас вижу.

— Они Веру убили, — сказал Колька. — Она в кабине сидела. Ей сердце пробили, а она побежала, потом упала.

— А меня пожалели... Почему? Я об этом в больнице все время думала. А когда меня допрашивали, велели об этом не говорить. Вообще ни о чем не говорить. Мол, бандиты — выловят их, и дело с концом. Только я думаю... Не надо было папаху трогать.

— Почему? Не надо?

— Не знаю. Не надо и все. Они на нее смотрели... Так странно... Будто я что-то живое резала...

— А тут солдаты были, — сказал Колька, — которые ловят.

Сашка спросил:

— Эти... Ну, трое — страшные?

— Я и не поняла! — Регина Петровна почему-то снова посмотрела в окно. — Люди как люди. Один в штатском, а двое вроде в военном... Без погон, кажется. И мальчик, такой, как вы... Черненький... Он во все глаза на меня... Отец прицелился, — и она опять показала на лоб, — а он его за локоть...

— А лошади были?

— Не видела, — сказала Регина Петровна. — Может, и были.

Сашка посмотрел на Кольку и достал желтую гильзу.

— Вот, — положил на стол. — Ихнее. От того выстрела.

Регина Петровна испуганно взглянула издалека на гильзу. Спросила тревожно, заглядывая братьям в глаза:

— Так вы бежать... Куда?

Братья посмотрели друг на друга и ничего не ответили. Колька тянул назад, в Подмосковье. Сашка звал вперед, туда, где горы. Было решено промеж ними: сядут, куда первый поезд пройдет.

Регина Петровна поднялась, снова закурила.

— Пропадете вы! — резко произнесла она. — Мы лучше уедем вместе. Только не сейчас, сейчас я не могу. Я еще плохо себя чувствую.

Не докурив, выбросила папироску. Уж очень часто она зажигала и выбрасывала папироски, братья это заметили. Так ей никакого запаса не хватит.

От окна спросила:

— Вы слышали что-нибудь про подсобное хозяйство?

— Ну? — сказал Колька. А Сашка кивнул.

— Меня туда посылают. На поправку. Там две коровы, козы, телята. Поедемте? Со мной?

— А что там делать? — спросил Сашка. Но он уже знал, что с Региной Петровной он куда угодно поедет. Значит, и Колька поедет. А потом они и наовсе вместе смотаются.

— Будем пасти... Следить, кормить... Это для меня такой отдых придумали. Но я одна ехать боюсь!

— Далеко? — спросил опять Сашка. Он совсем другое хотел спросить, но спросил это.

— В горах, но в тех горах... По другую сторону железной дороги, — быстро сказала Регина Петровна, сразу поняв, куда гнет Сашка. — Там никого нет. Они за станцию не ходят... До сих пор не ходили!

Но Колька в первую очередь подумал о заначке.

— А сюда? Мы вернемся?

— Сюда? — Регина Петровна стала закуривать, никак у нее не зажигались спички. — Ну, конечно. У нас даже свой транспорт будет. Молоко или еще что ребятам будем привозить.

— «Студебеккер»? — воскликнул Сашка.

— Секрет, — сказала Регина Петровна.

Но Кольку волновала не машина, а заначка. Отрываться надолго от заначки — дохлое дело. Так и потерять недолго! Тут-то она рядышком, сходишь, рукой пощупаешь, пересчитаешь, и на душе спокойно. А там... Ты спокойно спишь, видишь во сне одиннадцать баночек, каждая блестит крышечкой, как золотой монеткой! И каждая — пропуск в рай! А придут эти с

миноискателем, разворотят, как тот подпол...

Пока Колька переживал по поводу заначки, Сашка спросил про мужичков, а с ними как же?

— Мужички с нами поедут, — сказала Регина Петровна. И повторила: — Только мне одной с ними страшно. А так мы будем все вместе жить. Ну, как семья все равно... Поняли?

Нет, про семью братья не поняли. Они этого понять не могли. Да и само слово-то «семья» было чем-то чужеродным, если не враждебным для их жизни.

Для них и весь мир делился на семейных и несемейных. И эти две половинки были до сих пор несовместимы.

Уйдя от воспитательницы (Колька в кулаке сэкономленную подушечку зажал), они на ночь поспорили. Не сильно. Так, малость.

Оба хотели бежать, в этом разногласия у них не было. Но Колька требовал бежать немедленно. И никаких хозяйств! К чему им коровы да козы?

Сашка же советовал подождать Регину Петровну. Она сейчас слабая, она сама так сказала. Бежать сейчас не сможет. А когда окрепнет, они вместе уедут.

И потом, от подсобленного — так Сашка произнес — хозяйства может быть и прибыль какая! В придачу к их заначке! Вон от консервного завода и не ждали ничего, рады были хоть слив нажраться, а повернулось как!

Сашка умней, это ясно. Все загодя примерил, взвесил.

Колька вздохнул и нехотя согласился.

Он тоже понимал: никто их нигде не ждет. А поездов много. На один не сядешь, так на другой... Нищему терять нечего, одна деревня сгорит, он в другую уйдет.

Перед отъездом сходили в Березовскую, посмотрели на дом Ильи.

Все выгорело: и хата, и сарай, и деревья вокруг дома. Огород был пуст. Наверное, картошку вырыли соседи. А может, и колонисты помогли.

В бурьяне, покрытом, будто пылью, белым налетом пепла, торчала знакомая тележка с заржавленными колесами. На ней Илья дрова возил.

Колька подошел, ткнул ногой. Тележка отъехала. Колька еще раз ткнул... Потом нагнулся, отыскал веревку, за собой потащил.

— Брось! — сказал Сашка. — Охота тебе?

— А вдруг понадобится?

— Зачем?

Колька не ответил. Но тележку довез до Сунжи и спрятал в кустах.

— Она тебе что? Мешает? — спросил он Сашку.

— Мне не мешает! — огрызнулся тот.

— И мне не мешает. Вот и пусть лежит. — И добавил: — Она жрать не просит...

Колька не мог наподобие Сашки все заранее высчитать и выложить. Не так у него мозги устроены. Но и он понимал: если вещь валяется, ее надо подобрать. А опосля думай, что да зачем.

Вот Илью с его домом было ребятам жалко. Жулик он, Илья-Зверек, но жулик-то веселый, почти свой.

Колька поковырял ногой в пепле, произнес задумчиво:

— Он как чувствовал, что его сожгут!

— А почему? — спросил Сашка. — Почему никого не тронули, а его тронули?

— С краю...

— Ну и что? Машину вон в самом центре взорвали!

— Может, они догадались, что он жулик?

— Как это?

— Просто, — сказал Колька. — Вон огород... Он и тяпкой ни разу не махнул! Собирал чужое, как свое, что до него посеяли!

— А другие? Не чужое?

— Они колхозники...

— Какая же разница!

— А зачем они жгут?

— А фашисты зачем жгут?

— Фашисты. Сравнил... Какие же они фашисты!

— А кто? Слыхал, как боец про них кричал? Все они, говорит, изменники Родины! Всех Сталин к стенке велел!

— А пацан... Ну, который за окном? Он тоже изменник? — спросил Колька. Сашка не ответил.

Ни до чего братья не договорились.

Поворошили пепел, огляделись, но никто не интересовался сгоревшим домом Ильи. Все, наверное, только собой интересовались.

Уезжали они рано утром, еще и солнце не всходило. Посреди двора стоял серый ишачок с грустными глазами. Был он запряжен в тележку с двумя колесами. На тележку сложили узлы, кастрюли, мешочки с крупой, поставили бутыл с растительным маслом.

Вышел директор со своим неизменным портфелем. Вид у него был такой, будто он и сегодня не спал. Посмотрел на Регину Петровну, на ее мужичков, которые канючили — их подняли рано.

Кузьменыши стояли тут же, зевая и поеживаясь.

— А эти? — спросил директор, кивнув на братьев. — Они что, с вами?

— Да, — сказала воспитательница. И тоже посмотрела на ребят. — Это братья Кузьмины. Я о них говорила.

Директор наморщил лоб, потрогал зачем-то портфель.

— Кузьмины... Кузьмины... Откуда?

— Из Томилина, — пробормотал Сашка. Нужно бы сказать «из Раменска», да Регина Петровна тут... Он посмотрел на Кольку и понял, о чем тот думает. Не зазря Портфельчик вспомнил их! Надо бы не медлить, убираться подобру-поздорову.

Директор же между тем полез в портфель, порылся, но ничего не нашел.

— Письмо вроде было... — сказал он. — О чем... О какой-то кухне... Нет, не помню!

— Поищите, мы подождем. Это ведь замечательно, что помнят, пишут... — сказала. Регина Петровна и ласково посмотрела на братьев, которые поеживались и переминались около тележки. Они-то уж знали, что это за письмо! И насколько стоит его искать. Лучше бы не помнили!

Директор опять обратился к своему родному портфелю, но ничего, к счастью, не обнаружил.

— Ладно... У нас на два рта будет меньше, — сказал он. И уже Регине Петровне: — Вот вам бумага... От колхоза. Там человек, он покажет... Справитесь ли... С этими-то?

— Они дружные ребята, — сказала Регина Петровна. — Помогут.

Директор посмотрел на небо, вздохнул:

— Эх, был бы посвободней... Тоже махнул! Да где там! Сейчас еду на завод, уговаривать, чтобы назад приняли... И опять же в Гудермес, за педагогами... Пора школу налаживать... И продукты доставать... Это ведь непонятно, что происходит! — заключил он и развел

руками.

Что там у него непонятного, у Портфельчика, ребята тоже не поняли: продукты ли, школа... Или завод... Ясно, как божий день, что на завод их пускать больше нельзя! Это директору одному непонятно! Обокрадут шакалы завод! Опять обчистят как пить дать!

— А то приезжайте! Как освободитесь! — пригласила опять Регина Петровна и стала собираться. — Молочком угостим...

— Я шакалов пришлю, кукурузу ломать. А вы, как мерзнуть начнете, возвращайтесь! Счастливо!

Директор махнул рукой и пошел на кухню. Там уже возились дежурные девочки, начинался день.

Регина Петровна усадила мужичков на тележку так, чтобы они могли еще подремать.

Сунула тряпье им под голову. Взяла ишачка под уздцы, и двинулись в путь.

Сперва так и шли: Регина Петровна впереди, она все боялась, что ишачок увезет тележку в поле, за тележкой — Кузьменыши.

Но ишачок послушно катил свой воз по дороге, только острыми ушами стриг воздух, и Регина Петровна вскоре оставила его, пошла рядом.

Иногда она останавливалась, закуривала, а братьям показывала рукой: мол, езжайте, догоню...

Но они останавливали ишачка и поджидали. Хоть дорога, но и заросли, а вдруг какие враги выскочат!

Одета для дороги Регина Петровна была необычно, по разумению братьев. Мужская светлая рубашка с закатанными рукавами и темные, тоже, видно, мужские, шаровары.

Такой Кузьменыши воспитательницу еще не видели, но не осудили ее. Шоферица Вера и похлеще одевалась!

На расстоянии от Регины Петровны Колька сказал брату:

— Письмо-то про подкуп...

— А вдруг он и правда потерял?

— Портфельчик не потеряет! Он все с собой носит! В портфельчике!

Сашка нагнулся, подобрал какой-то камешек на дороге и отбросил в сторону.

— Ну и пусть себе носит! А мы сбежим!

— А заначка? — спросил Колька.

— Заначку возьмем... И сбежим. — Он оглянулся на воспитательницу и добавил: — Лишь бы Регина Петровна выздоровела.

Ни ходко ни валко добрались они к обеду до станции. На запасных путях стоял товарняк, из него выгружали военную технику: какие-то совсем небольшие, крашенные в ярко-зеленый цвет пушечки, «виллисы», повозки с лошадьми.

Братья замедлили ход, уставились на пушечки. Хоть за войну нагладелись разного, да их и в Москву, в парк культуры возили — на выставку немецкого трофейного оружия, но какой настоящий мужчина пропустит такое зрелище. Оружие почему-то всегда красиво. И даже чем опасней, тем обычно красивее. Пушечки были хороши.

У деревянного покатого настила стояли солдаты, курили, громко разговаривали. Увидели Регину Петровну, развернулись в ее сторону, как по команде.

Ребята рассматривали пушки, а солдаты глядели на молодую красивую воспитательницу. Кузьменышам это не понравилось.

— Ну-у, чево встал! — рывкнул Сашка на ишачка и хлестнул прутом. Эка, мол, невидаль, военный эшелон с солдатами.

Тележка, звонко подскакивая на шпалах, стала переезжать через пути.

— Ишь какие! Туземки-то! — раздалось им вслед.

Братья переглянулись, но отвечать не стали. Солдаты, а понятия никакого нет, что совсем они с Региной Петровной и мужичками не туземцы! Те голяком да в перьях ходят, это в любой географии нарисовано!

По тропе, ведущей в межгорье, за ротонду, они поднялись к развалинам санатория и тут сделали передышку.

Каждый из братьев выбрал себе для купания отдельную ямку и разделся. Регина Петровна окунула мужичков, оставила их играть, а сама отошла подальше, к огромному квадратному бассейну, и там в одиночестве плескалась, повязав голову рубашкой.

Когда раздался ее крик, ребята, не видя ее за паром, решили, что она просто их окликает, и заорали, заулюлюкали в ответ, перебегая от ямки к ямке и с гиканьем в них ныряя.

И вдруг пронеслось:

— Мальчики! Мальчики! Помогите! Сюда! Скорей!

Братья нацепили одежду на мокрое тело и понеслись на ее голос. Они сразу сообразили, что на воспитательницу напали чечены!

Но никаких чеченов не было.

У края бассейна стоял солдат и, не отрываясь, смотрел на Регину Петровну. Сама же Регина Петровна сидела, погрузившись до подбородка в воду, на другом конце бассейна и со страхом глядела на солдата.

Видно, он пришел вслед за ними, оттуда, со станции. Первым подбежал Сашка, успевший на ходу подхватить булыжник. Он встал между бассейном и солдатом, так что солдатская пряжка отсвечивала ему прямо в глаза.

— Ты чево! — крикнул он, задрав голову. — Чево подглядываешь? Тебя звали сюда?

А тут и Колька сбоку наскочил:

— Тебе чево тут нужно? А? Отваливай давай, а то командира позовем!

Солдат удивился, увидев перед собой двух одинаковых одинаково голосивших пацанов. Но как-то спокойно удивился и, тут же забыв про них, снова уставился на воспитательницу. Он шмыгнул носом, как шмыгают мальчишки, и, вздохнув, пошел прочь. Но уходя, несколько раз оглянулся, не на братьев, он их не видел, на женщину, на нее одну и смотрел.

— Иди! Иди! — крикнул вдогонку Сашка и даже камнем замахнулся. А Колька, как моряк в каком-то кино, свой красивый пояс снял.

Солдат вдруг остановился, братья поняли: сейчас вернется и врежет... Не надо было кричать вслед, раз уходил.

Правда, братья знали прием: один из них подкрадывался сзади и бросался под ноги, а второй пихал в грудь... Противник летел кувырком! Только с солдатом такой номер вряд ли прошел бы!

Другое дело: кусаться.

Это они пробовали. В Томилине их избивал, подкарауливая поодиночке, в ту пору, когда посменно копали, один великовозрастный жлобина из блатных. Однажды они от отчаяния набросились и так его искушали, что он стал бегать от братьев, как от бешеных собак!

Завидев, обходил за километр!

Но солдат не вернулся и не полез в драку. Последний раз, не без сожаления, взглянул на Регину Петровну и опять вздохнул. А на крик Сашки лишь повел недоуменно плечами и быстро, очень быстро убрался.

Может, он испугался, что Колька пообещал командира позвать?

Пока братья стояли ошетинившись, Регина Петровна выскользнула из воды, натянула шаровары и побежала к мужичкам. Те, ни о чем не подозревая, играли около тележки. После случившегося она как ожила, стала разговорчивой, смешливой. А может, на нее горячая вода подействовала.

Она все подтрунивала над своим испугом. Надо же так визжать, что всех перепугала.

— Я вас очень напугала? — спрашивала она братьев. А потом сказала:

— Вы теперь мои рыцари! Заступники! Защитники мои!

Братья смутились.

Даже стало жарко.

Никогда не приходилось им быть защитниками для других. Только для себя. Оказалось, это приятно.

— А чево он хотел? — спросил Сашка угрожающе. Он еще не остыл от пережитого. —

Может, он хотел чево украсть?

Регина Петровна посмотрела в ту сторону, куда ушел солдат, и странно улыбнулась.

— Не знаю. Парень-то симпатичный... И чего я развизжалась, напугала... Как девчонка! Да и вы, по-моему, его еще припугнули! Такие молодцы!

Братья посмотрели друг на друга и покраснели. Знала бы Регина Петровна, как они в один миг перетрусили!

Воспитательница полезла в кастрюльку и достала сверток. В нем оказались бутерброды, хлеб с маслом.

— Это вам вместо ордена, — сказала она, смеясь. Ах, какой разругавшейся, какой красивой она сейчас была.

Братья набросились на хлеб, и хоть масло на нем давно растаяло, но впиталось, и было ужасно вкусно. И мужичкам дали кусок на двоих.

От санатория несколько километров дорога была асфальтированной, а потом перешла в булыжник и снова — белая, выгоревшая и потресканная земля.

Горы не походили на те горы, которые начинались за колонией. Они были пусты, ни деревьев, ни кустиков, лишь бурьян да сухая трава. Да в узких ложбинках, вдоль ручьев жались колючая и неуютная растительность.

Ребята со вздохом смотрели по сторонам и думали о том, что их горы за колонией хоть были запретными, но были красивей, сытней: орехи, дикие груши, алыча. А тут ягоды на диких маслинах, и те мелкие, вяжут, невозможно взять в рот.

Регина Петровна, которая взбодрилась и даже курить, как заметили братья, стала меньше, тоже осматривалась с удивлением.

Несколько раз она повторила: «Библейские горы». Что это означает, братья не поняли. Но догадывались: пусто. Так Сашка Кольке и объяснил: «Ни хрена нет, одно название, и то неприличное».

Регина Петровна рассмеялась и сказала, что Библия — это такая большая, большая сказка... А написали ее евреи.

— Грузчики? — спросил Колька.

— Почему грузчики?

— Грузчики, которые на заводе! Они же евреи!

— Они хорошие евреи, — подтвердил Колька.

— А почему евреи должны быть плохими? — спросила с интересом Регина Петровна. И о чем-то задумалась. Вдруг она сказала: — Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди.

— А чечены? — выпалил Сашка. — Они Веру убили.

Регина Петровна не ответила.

Между тем тележка сделала последний поворот, и глазам путешественников, а уж ехали они без малого десять часов, открылась ровная долина меж холмов, где кустилась зелень и белели видные издалика два домика.

Потом-то уже выяснилось, что домик был один, да и то крохотуля: мазанка из самана. А другой — навес, под который можно было въезжать на тележке. Так они и сделали.

Под этим навесом стоял на кирпичях таганок и свалены были всяческие инструменты: грабли, косы, лопаты и мотыги. Больше всего было мотыг.

— Приехали, — сказала Регина Петровна, оглядываясь. Никто их не встречал. — Будем здесь жить, — добавила она и стала быстро закуривать. Наверное, она волновалась.

Пришел мужчина. Братья сразу узнали бывшего солдата, который их подвозил на лошади. Сейчас он не был в гимнастерке, а лишь в рубахе и без кепки, лысоват и еще хроمال.

Вихляющей походкой он направился к приезжим и тоже узнал колонистов. Протянул братьям руку, представился: «Демьян». Воспитательнице кивнул издалика.

— Приехали, значит? — спросил. Обращался к ним, как к взрослым. Регину Петровну будто не замечал.

— Приехали, — отвечал Сашка Демьяну как равному. — Хозяйством заниматься будем.

А Колька добавил:

— Скот пасти.

Демьян не удивился, что ребята приехали заниматься хозяйством. Не то что директор. Он одобрительно кивнул.

— Как же иначе... У нас говорили: воевать так воевать, пиши в обоз! Две коровы, значит, оставляю, семь телят, три козы... Вы доить-то хоть умеете?

— Научимся, — произнесла Регина Петровна и подошла ближе, держа папироску в руке.

Демьян поглядел на ее руку с папироской, на шаровары, погладил загорелую лысину.

— Это, простите... Товарищ дамочка: это работа... Вкалывать, говоря по-нашенски, надо... Не дым пущать!

— Значит, будем вкалывать, — простодушно ответила Регина Петровна и улыбнулась Кузьменышам. Но папироску погасила. И занялась мужичками.

— А чево, — поинтересовался Демьян у братьев. — У колонии уж работников не стало, что женский пол присылают?

Хоть было ребятам приятно вести разговор, как ведут мужчины, но выпада против их Регины Петровны они стерпеть не могли. Да ведь и заступники, защитники они ее!

Колька насупился, а Сашка строго посмотрел на Демьяна, будто впервые увидел.

— Регина Петровна после болезни... — сказал он. — Когда у нас дом взорвали... Из больницы она, ей тут поправляться нужно...

— А работать мы сами будем! — вставился и Колька. И соврал для веса: — Нам директор велел помогать! Одна, говорит, надежда на вас...

Демьян будто стушевался. Он часто закивал головой, стал пояснять, поворачиваясь и к Регине Петровне, что сена он накосил много и камыша накосил. Жить им лучше в саманном домике, там теплей. А вот варить придется на таганке, топить кизяком. Есть в хозяйстве ручные жернова, кукурузу молоть. На грядках еще остались помидоры, огурцы, так, гнилье одно, тыквы, капуста, свекла, картошка... Виноградник есть, но заброшенный, одичавший совсем виноградник, по земле то есть, без таркал, ползет... А вот сахарный тростник он посадил, найдете... Да все со временем найдете...

К вечеру Демьян запряг лошадь, попрощался. Достал напоследок кисет, ловко, одним движением руки свернул длинную козью ножку. Протянул Регине Петровне, это был жест примирения.

— Держи, — сказал, не глядя в лицо. — Хоть лично баб, которые курят, я не терплю... Мода такая военная пошла...

— А вам и терпеть не надо, — отвечала с улыбкой Регина Петровна. — Это вот они терпят. — И указала на Кузьменышей.

— А вдруг еще приеду! — вскинулся озорно Демьян. — Что скажете?

— Мы всем рады, — произнесла Регина Петровна и прикурила от уголька козью ножку, держа ее за перегиб, как трубку. Хотела что-то добавить, но закашлялась.

Демьян радостно захохотал.

— Дерет, а? — вскрикивал удовлетворенно. — Это не ваше городское баловство! Самосадик-горлодер! Сам рубил! Во как!

Он достал из кармана лист газетки, оторвал половинку и отсыпал из кисета горсть буровой крупнозернистой махры.

— Пользуйся, — протянул воспитательнице. — Дымить будешь! Когда скучно станет! Ребятам на прощание руку пожал.

— А вы энто... Поете-то, как артисты... Да... Я уморился, как хохотал! В клубе, в колхозе... — И вдруг другим тоном, насупившись. — А Верку жалко.

Проковылял к телеге, бочком, так было ему ловчей, присел на край, кепчонку на лысину нахлобучил и причмокнул на лошадь, та сразу пошла. Уехал, не обернувшись и будто не интересуясь ничем и никем.

Легкая пыль висела долго над дорогой, ее золотило заходящее солнце.

Регина Петровна поселилась с мужичками в домике. Как-то они ухитрились все трое спать на одной кровати. Кузьменьям постелили на полу, но они отказались. Тесно там и душно. Бросили ломкого, но приятно пахнущего камыша в углу под навесом и на нем устроили лежбище. Стены навеса были сплетены из того же самого камыша, только сухого. По ночам он поскрипывал.

Первым делом они разыскали тростник, который лысый Демьян называл сахарным. Всех угостили, и Регину Петровну, и мужичков. Ели, пока он вдруг не кончился. Вкусный тростник придумали в хозяйстве, жуй да плюй, весь день бы так.

Виноград тоже нашли. Он стелился по земле, и под плетями, если их приподнять, можно было обнаружить буроватые грозди, вываленные в земле.

Сашка сорвал, попробовал на язык, скривился.

— Челюсть вывихнешь! Кислятина!

Но Регина Петровна была иного мнения. Она попросила набрать ягод побольше, сколько влезет в корзинку.

Тут же, на глазах ребят, вывалила гроздь в таз, помыла и стала давить булыжником. Потек мутный сок. Попробовали братья пальцем и на язык: скулу воротит.

Регина Петровна слила сок в бутыл, закрыла крышкой, а бутыл в погребок поставила.

— Вино для праздника будет, — сказала.

— А какой такой праздник? — поинтересовались братья.

— Не знаю, — сказала она. — Какой-нибудь придумаем!

— А праздники разве придумывают? — спросил Сашка. — Я считал, что они сами наступают.

— Иногда наступают... А иногда... — Воспитательница посмотрела пристально на братьев, поинтересовалась: — Вы когда родились-то?

— Чево? — в голос спросили братья. Они не поняли вопроса.

— День рождения у вас когда?

Братья переглянулись и вновь уставились на воспитательницу.

— День? Почему день? А если мы ночью родились? Или утром?

— Ну, конечно, — произнесла она с улыбкой. — У всех, всех на свете — даже у коров, и телят, и коз — есть свое число, когда они родились, и месяц, и год... У вас тоже есть.

Только вы его забыли, правда?

Колька вздохнул и посмотрел на Сашку. У того мозги крепче. Пусть он вспоминает.

Если бы спросили, сколько банок джема, к примеру, в заначке, Колька бы сказал. А это...

Но Сашка тоже молчал.

— А мы сами придумаем число, — сказала Регина Петровна. — И будет у нас праздник! Ну?

Колька тупо спросил:

— Это когда?

Регина Петровна что-то посчитала про себя, шевеля губами.

— Ну, скажем, через недельку. Семнадцатого октября. Устроит?

— Не знаю, — сказал Колька. И Сашка сказал: «Не знаю».

— А уедем когда? — поинтересовался Колька.

— Куда? Уедем?

— Куда-нибудь.

— А вам тут не нравится? — спросила Регина Петровна, обращаясь теперь к Сашке. Тот помялся.

Про себя подумал. Тут — нравится... Нам там — не нравится...

Ему представилось, что Портфельчик оставит их тут навсегда. В школу ходить не надо, научатся, как Демьян, козьи ножки крутить, махру рубить, косить траву, жрать тростник. А потом кто-нибудь из них женится на Регине Петровне и будет мужичков кашей кормить. Впрочем, нет, мужички тоже, наверное, вырастут. Они стадо пасти будут.

— Ладно, — сказала Регина Петровна. — Справим день рождения, а там решим. Согласны? Ее голос, теплая ласка умиротворили братьев. Они согласились ждать. До праздника. А в праздник, это они уже знали по опыту: позовут в столовку, по одному сухарику дадут и жмень семечек в придачу. И катись подальше... Колбаской до самой Спасской!

Если бы братья захотели придумать праздник, то они и сами бы придумали. Вон, у Сашки голова оборотистая, он сколь хочешь этих праздников сочинит! И не надо там никакие рождения придумывать.

А может, это все сказки, что безродные — колонисты да детдомовцы — рождаются? Может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме. Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то щели появились! Копошатся, жучки эдакие, и по рожам немытым видно, по движениям особенным хватательным: ба! Да это наш брат беспризорный на белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от него и моль, и мор, чесотка всякая... И так в стране продуктов не хватает, а преступность растет и растет. Пора его, родного, персидским порошком, да перетрумом, да керосинчиком, как таракашек, морить! А тех, что попрожорливее, — раз, и на Кавказ, да еще дустом или клопомором рельсы за поездом посыпать, чтобы памяти не осталось. Вот, глядишь, и не стало. И всем спокойно. Так на совести гладко. Из ничего вышли, в ничего ушли. Какое уж там рождение! Господи!

Все перетерпели в жизни братья. И уж день рождения как-нибудь перетерпят. Не такие трудности переживали! Да и когда это будет еще!

Но вот странно, это в колонии время медленно шло. Там слоняешься, ждешь, когда тебя накормят. А тут дни мелькали, как вагоны поезда, который летит мимо.

А все потому, что Кузьменыши занялись делом.

По очереди ходили они под гору, к родничку, воду таскали для хозяйства. Там и умыться можно. Но этого братья откровенно не любили. Да и вредно холодной водой умываться. Кожа стирается, одежда намокает.

И вообще: ни к чему.

Стадо гонять на луг тоже их забота. А вот коров доить им Регина Петровна не разрешила. Тайком попробовали, не вышло. Как дала корова ногой по бадейке... спасибо не по башке! Коров звали Зорька и Машка. Так Демьян научил.

Зорька крутобокая, бурая, незлобивая. Ее-то братья и пробовали доить. А Машка худющая, в черных и белых пятнах, стервозная и капризная. К ней не подступись. Потом-то

попривыкла, стала подпускать к себе воспитательницу, Сашку, даже мужичков, но настороженно, с оглядкой. Лишь Кольку не терпела. Как издали завидит, шею вытянет, мокрый нос в его сторону повернет и нюхает. А если он захочет приблизиться, начинает копытом передним бить, рога в землю наставит, мычит. Ругается, значит.

Колька всерьез обижался на Машку, грозил издали кулаком. И — уходил.

Пробовали братья морочить корову, переодеваться и выдавать себя друг за друга. Но корову, как тетку Зину, обмануть оказалось невозможно.

На круглых жерновах, один круг над другим, мололи братья кукурузу. Крутишь верхний, а в дырку зерна суешь. А из щели, между кругами, белое крошево сыплется. Его в сите потрясешь, вот тебе и мука и крупа. Жратва, словом.

Хоть чуреки пеки, лепешки такие грубые, хочешь, мамалыгу вари. Это все, особенно в смысле пожрать, братья быстро освоили. Вот только жернов крутить не любили.

Сперва по очереди крутили. Потом один Сашка. У Кольки, как он заявил, терпелка не выдерживала.

Зато он дрова и кизяки собирал с охотой. А Сашка кизяков видеть не мог. Ему легче сто раз жернов повернуть, чем один кизяк подобрать.

По-ихнему, может, это и кизяки, сказал он, а по-человечески все равно — г... Если бы он в колонии знал, он бы от колонистов, которые у забора кладут, столько бы добра вынес! На сто лет вперед топить бы хватило! Варили они рисовую кашу с молоком, пока был рис, а потом тыкву.

Поперву, когда закатили с огорода тыквину, величиной с одного из мужичков, братья все крутились вокруг нее. Пока Регина Петровна топором не разрубила на желтые куски. Оба тут же хватанули по куску. Погрызли, погрызли, бросили. Думали, она, как арбуз, а она, как кормовая морковь, один вид, а вкус — деревянный!

Заявили воспитательнице: эту дылду жрать не станем.

— Это не дылда, а тыква, — поправила она.

— Все равно. Пусть ее Зорька с Машкой шамают или телята. Они глупые, не разберутся.

Регина Петровна рассмеялась, пригрозила:

— Еще добавку попросите!

— Не попросим! — пригрозили братья. — И чего такие дылды на огороде место занимают!

Большая — а дура... семечками набитая!

А Регина Петровна куски на противешок и в печь на угли сунула. Пекла, колдовала и хитро помалкивала.

Во время обеда положила по кусочку: пробуйте! Привереды несчастные!

Братья подумали, отщипнули. И еще отщипнули. Каждый ломоть подрумянился, набух, стал ароматным, сладким. Липкий мед по корочке тянется... Вкуснотища, словом.

Съели братья, посмотрели на противень: сколько штук осталось? Регина Петровна погрозила пальцем, но добавок дала. Гордые братья сами бы не попросили. Вот это был праздник: сплошное обжиранье!

Колька пальцы вылизал и заявил: — Хорошо, что на Кавказе такая дылда растет!

Это он Кавказ так похвалил. А заодно и тыкву. Сашка промолчал. Но про себя отметил: в этом деле они маху дали. Опозорились. Из молока делала Регина Петровна сметану, творог

в мешочке из марли вывешивала. Давала пить. Только молочное у братьев не пошло. Пили и морщились. Старались удрать из-за стола.

— Глупенькие вы мои, — уговаривала Регина Петровна, разливая по кружкам парное молоко. — Вы своего счастья не понимаете! Это же лучшее, что придумала для вас природа!

— А мы без природы, — упрямо произносил Колька. И Сашка кивал. — Мы сами по себе.

— Так вы и есть природа... Вы еще какая природа: стихия! — смеялась Регина Петровна и садилась пить сама. А чурек ломала на кусочки для каждого.

— Отчего, скажите, пожалуйста, вы, когда вас много, такие неуправляемые? Вы же, как пыльная буря: не удержишь, не успокоишь... А когда вас двое, — еще им по кусочку чурека, — вы другие, и лучше. Не совсем, конечно. Но лучше, лучше...

— Без шакалов хорошо, — объяснил Сашка. — А вот они приедут, так все расшарапят. И дылду, и молоко, и чуреки...

— А сами? — спросила Регина Петровна. И вытерла белые губы и белые носы у мужичков. Они лакали молоко, как котята, язычком, из блюдца.

— Что... Сами?

— Будто не знаете? — сказала Регина Петровна.

Сашка хотел сказать, что не знает, но запнулся. Они вчера зачанку с Колькой сделали. Положили туда три чурека, думали, воспитательница не заметит. Еще муки в бутылку набили.

Регина Петровна сметала со стола крошки, но видно было, что ждет она от братьев ответа. Как соловей лета. Черные брови свела, сердится, значит. Насупясь, присела и, подперев щеки руками и глядя мимо них, стала говорить, что вот думала она, живут семьей, да все у них общее, и все свое... А кто-то по-шакальи ведет себя, то есть сам у себя ворует. Тырит, кажется, так называют. И это ей, Регине Петровне, ни в жизнь не понять. Как можно у себя со стола украсть?

Братья, не произнося ни слова, встали и пошли. Сперва к лугу, чтобы посоветоваться, потом к зачанке.

Вернулись, и все добро, то есть чуреки и муку в бутылке, положили на стол.

Больше об этом не вспоминали.

Накануне дня рождения Регина Петровна поставила тесто для пирога. И дылду пожелтей попросила прикатить с огорода. И за стадом присмотреть. И за мужичками.

Сама же запрягла ишачка и уехала на станцию. Вернулась не скоро: выложила на стол две железные банки тушенки. Выменяла на молоко у проходящего поезда.

Верней так: тушенка была одна, а в другой, овальной баночке с ключиком на боку была американская консервированная колбаса.

Братья уже знали: всунешь ключик в петлю, покрутишь, и крышка по шву расползется, а под крышкой... Мать честная, вот праздник, так праздник! Ради таких банок братья готовы каждый день свое рождение терпеть!

Кузьменыши от стола не отходили, все приглядывались, принимались к баночкам, все поглаживали их сверкающие холодные бока. Пытались лизать, но вкус у железа был самый что ни есть железный, щипало язык, и только.

Вдруг приехал на телеге Демьян, хоть его никто не звал. Про день рождения он, конечно, не догадывался, но привез кусок сала в тряпке и банку джема: у своих, у заводских, выпросил. Регина Петровна встретила Демьяна сдержанно, а джему обрадовалась: настоящий сладкий пирог будет!

Братья же посмотрели на джем снисходительно. Их такими банками не удивишь. Вот если бы в их заначку тушенку добавить или колбасу, в овальной банке с ключиком! А то сожрут зазря, и Демьян поможет. Ишь, нюх-то у него — прямо к тушенке поспел.

Демьян же, хоть вроде приехал по делам, у кухни крутился. Регине Петровне мешал. О хозяйстве своем что-то ей рассказывал, как картошку засыпал, как арбузов замочил, а яблоки здешние он ругал, а хвалил те, что у него на родине антоновкой зовутся.

— Я мужик умелый, полезный, только бабы нет, — толковал он, глядя в спину Регине Петровне. — Я и за себя, и за бабу могу, но все равно без хозяйки хата как без печки. Все есть, а тепла нет. Да и вам, гляжу, с двумя крохотулями-то нелегко... А?

Регина Петровна, не оборачиваясь, колдовала у горящей печечки, у таганка, и ничего не отвечала. Но вдруг попросила закурить:

— Сделайте мне эту... «ножку»...

Руки у нее были в тесте, и Демьян, скрутив «ножку», сунул ей в рот и камышинку поднес горящую. При этом вопросительно глядел ей в глаза.

Регина Петровна пыхнула дымом, покосилась в сторону Кузьменышей, стороживших тут же.

— Я жена летчика... Знаете, что это такое? Это профессия... — сказала она. — У нас в городке до войны так и говорили: ее профессия «жена летчика». Провожать... Ждать. А потом снова провожать... Когда мы сходились, мы были чем-то похожи, жены летчиков: у кого-то о тряпках, об украшениях, а мы — о самолетах да о полетах. Чей муж летал на Север, да чей в Америку... Это было тогда модно. И всегда — о войне. Потому что самолеты эти возили бомбы — они так и зовутся бомбовозы, и хотя это был военный секрет, мы все знали о самолетах: сколько бомб он везет, какая скорость и куда полетит в случае чего.

А потом, когда началось, их сразу под Ленинград, и они полетели Берлин бомбить. Оттуда короче было. С первого вылета он вернулся, я его встречала. Мужички у меня тогда совсем, совсем крохотные были. А в семьи тех, кто не вернулся, надо было нам, женам вернувшихся, идти. Так было заведено. Вот что страшно-то, идти в дом, где еще ничего не знают. И делать вид, что зашли случайно.

А потом был второй вылет; Сталин лично им приказал. Для эффекта. А там уж приготовились, это первый раз фашистам в голову не пришло, что мы осмелимся к ним летать... И жены других летчиков ко мне пришли...

Наш летный городок перебазировался в тыл, немцы подходили, а мне за летчиками ездить уже не к чему было. Вдова, да еще с таким хвостом...

Регина Петровна сплюнула «ножку» на землю и затоптала ногой.

— Пошла в детдом, где чужие, там и свои, легче управляться. Да и голод! А потом решила сюда... Подумалось, тут-то легче будет...

Зашипело, переливаясь через край кастрюли, Регина Петровна охнула:

— Сбежало! Ну вот, до чего разговоры-то...

Она подхватила, бросилась к печке, и Демьян за ней поскакал, пытаясь помочь.

— Давай поддержи! Поддержу! — зачастил он, суетясь около хозяйки. — Я умелый! Я сам что хошь сварю! Ты не думай!

Регина Петровна справилась с огнем, вытерла лоб тыльной стороной руки, спросила:

— А картошку, Демьян Иванович, вы почистить можете?

Тут же лысого Демьяна засадили за картошку, а Кузьменышей, которые ревниво следили не только за банками на столе, но и за мельтешащим гостем, погнали за топливом. Сушняк да кизяки собирать. Дров сегодня требовалось много.

— Ишь, — произнес Колька, оглядываясь, когда ушли они подальше, за огород. — Увидел небось тушенку, так и прилип к кухне... Я умелый! Я умелый! С тушенкой-то все мы умелые! Облысел от своей умелости-то!

— Плешивые, они хваткие, — подтвердил Сашка.

— Пусть свое хватает!

— Он не банку схватить-то хочет!

— Не банку? Дылду, думаешь? — спросил Колька.

— Не-е... Это мы, дылды, ничего не поняли! Когда он про свое хозяйство начал нудить...

— А что понимать? — удивился Колька. — Облезлый, говорит... И без печки.

— Облезлый-то он облезлый, — подтвердил Сашка. — А как завернул насчет печки, я его сразу раскрыл... Он жениться хочет!

Колька тупо уставился на своего брата. Даже про кизяки свои, которые — дерьмо, забыл. Так его поразило Сашкино открытие.

— На ком же?

— На ком... Эх ты!

Колька недоверчиво помолчал. Обдумывал новость. Неожиданно вывел:

— Так он же старый? Ему тридцать небось...

— Ну и что? А ей?

— Регина Петровна другая, — сказал Колька уверенно. — Она красивая. На ней женится генерал... Или маршал... — Колька подумал и поправился: — Пожалуй, мы сами на ней женимся.

— Нас она не возьмет, — отмахнулся Сашка.

— Это почему?

— Дурак ты, Колька! — крикнул Сашка сердито. — Ну как ты можешь на ней жениться, если ты еще не вырос?

— Так я же вырасту! — буркнул упрямый Колька.

— Пока ты вырастешь! Придет вот такой облезлый да умный, попрыгает, попрыгает рядышком, про печку расскажет, про картошку... А потом и увезет!

— А я не дам! — сказал Колька. — Я его убью!

— Демьяна-то?

— Ну отравлю! Я ему в пирог белены положу, — упрямо талдычил Колька. — И лошадь его отравлю.

Он посмотрел в ту сторону, где виднелся за кустами синий дымок кухни, заорал изо всех сил:

Хорошо тому живется, у кого одна нога,

И портчинина не рвется, и не надо сапога!

Отсюда, издалека, его, конечно, плешивый Демьян слышать не мог. Да и легче от Колькиного крика братьям не стало.

Но праздник есть праздник, согласились — терпи.

Да к тому же, когда братья вернулись, когда увидели свою Регину Петровну, которая принарядилась, платье надела и — никакого внимания лысому Демьяну, а смотрела только на Сашку с Колькой, они так и поняли: замуж? За этого? Да ни за что на свете! Пусть трижды умелый! Покрутится, покрутится, да и уберется домой, как последний шакал!

А Кузьменыши тут, при ней останутся.

Из-за переживаний не сразу разглядели Кузьменыши, какой стол им приготовили. Вот это был стол! Если бы всю заначку их выложить, до единой баночки, все равно не было бы такой красоты, какую они увидели на том столе.

В мисочках, а то и прямо на лопушках — небось Регина Петровна со своими мужичками придумала — красовались на столе, застеленном белой простыней, всяческие небывалые продукты. Тут были румяные лепешки из кукурузы, нежное, в крупинках соли, сало, украшенное колечками лука, колбаса из консервной банки, нарезанная тонкими пластинками, розоватыми на срезе, соленые огурцы с прилипшим укропом, помидоры, чеснок и ломти их любимой дылды. Ломти были хорошо пропечены, с угольками на боках и выступившим вязким медом.

А еще на столе лежали кусочки сахара, сверкающего гранями, как гора Казбек. А еще отдельной россыпью подушечки кофейные, а еще стоял джем.

А еще: пирог.

Вот о пироге надо бы сказать отдельно.

Это был круглый, многослойный, а потому высокий пирог, еще теплый, как говорят, — он дышал!

Верх пирога был украшен сливами и кусочками яблок по кругу, а в центре белым молочным кремом было выведено крупно: «КОЛЯ, САША, 17.10.44 г. УРА!» В этот пирог, будто свечечки, были воткнуты одиннадцать золотых камышинок.

Наверное, это не все, что успели схватить взглядом ребята, а им уже предложили садиться — первыми! — за такой волшебный, неправдоподобный стол.

Они вдруг оробели!

Никогда не терялись они при виде жратвы, знали, раз лежит, надо хавать. Попросту — жрать. Потом не будет. А тут устали и не знали, как подступиться.

У Сашки по спине вверх-вниз мурашки забегали, холодно от волнения стало. А Колька чуть мимо скамейки не сел, осоловел от всей этой нечеловеческой картины.

Наконец уселись. И мужичков усадили. А плешивый Демьян боком, ему мешала деревянная нога, приспособился.

Откуда-то из-за спины он извлек бутылку самогона, ухмыльнувшись (не знал про рождение, а бутылку-то припас, лысый оборотень!), налил в стаканы себе и воспитательнице. Она не отказалась. Хотел он и ребятам плеснуть, но Регина Петровна сразу сказала: «Нет. Им этого не надо».

Знала бы, как они у Ильи тогда залились! По машинисту!

Она сходила в погреб, принесла закрытый в банке сок, отерла стекло тряпкой и налила братьям в кружки. А из одной — первая же отхлебнула.

— Вот что им надо! — произнесла она. — Пейте, но не все сразу. Договорились?

Братья одновременно кивнули и посмотрели ей в глаза, темные, мерцающие, огромные и глубокие, аж дух захватывало! В самое нутро их посмотрели.

Но Регина Петровна выдержала их взгляд и спокойно улыбнулась в ответ. Так, как всегда улыбалась.

И стало ясней ясного, что никакого лысого нам не надо! Не на таковскую напал! Приезжайте чаще, без вас веселее! Так бы им всем и сказать! Плешивым, хромым, облезлым... Всяким! Всяким!

Регина Петровна зажгла от печки камышинку и все те камышинки, которые были воткнуты в пирог, тоже зажгла.

А потом сказала:

— Дуйте!

— Чево? — спросили братья.

— Дуйте на огонь! — крикнула она громко. — Ну?

Братья подули, привстав. И погасили. Только дым вился над столом.

— Настоящие мужчины! — сказала торжественно Регина Петровна. И с чувством подняла свой стакан. — Ну, мальчики, я вас поздравляю. Будьте хорошими, здоровыми, такими, которых, как сейчас, всегда бы я любила! Заступниками моими!

Братья посмотрели друг на друга. Вот главное, что они хотели услышать. Она их любит. А лысых не любит. И стали пить кисловатое вино. Оно вдруг им понравилось. Так что все выдули, еще попросили.

— Это же не сок! — закричала Регина Петровна. — Это же вино! Его ведрами не пьют!

— А мы пьем! — крикнул в ответ Колька. — Это теперь каждый месяц так будет? Да?

— Что? Будет? — спросила Регина Петровна.

— Праздник? Который в рождение?

— Ишь какие! — воскликнул Демьян, хлопнул ладонью по своей деревяшке и засмеялся. И воспитательница засмеялась.

— Нет, милые мои, — сказала. — Это раз в году... Но зато — всегда.

— Всегда? — переспросил Колька. — И когда двадцать лет будет?

— Конечно. И когда тридцать, и сорок...

— Мы тогда старые будем, — вставил Сашка. — Мы забудем все.

— Ничего вы не забудете...

Регина Петровна легко, как девочка, подскочила, скрылась в мазанке и почти сразу вернулась, неся что-то в руках. Подошла и положила каждому брату на колени по свертку в газете.

— А это от нас... И от мужичков тоже.

Присела, глядя разгоревшимися глазами на ребят.

Она была и вправду сегодня ослепительная, в нарядном платье, и волосы ее были красиво уложены узлом. А на шею она повесила красные бусы из каких-то собранных ягод... Даже Демьян крикнул, заглядевшись. И стал смущенно сворачивать свою козью ножку.

В другое любое время это не прошло бы мимо братьев, но сейчас они были заняты свертками.

Никогда не получали они подарков. Кроме того случая, когда всучили им по одному сухарику и жмени семечек, сказав, что у них праздник... Сухарик проглотили не жевая, семечки изгрызли, а праздник тем и запомнился, что еще хотелось! Да не дали!

Теперь они не знали, что со свертками делать. Разворачивать или не разворачивать, а может, поскорей их отнести в заначку да спрятать! Пока не отобрали!

Регина Петровна все поняла.

— Мы сейчас вместе посмотрим, что там...

Она взяла сверток у Сашки, который сидел ближе, и развернула газету.

А там, сверху, лежала рубашка, новая, голубая, с воротником и с пуговицами. А под рубашкой лежали штаны. Тоже голубые. С карманами. А еще там были ботинки, желтые, высокие, с желтыми шнурками, с широким языком. А еще платок в клеточку: как тетрадь по арифметике, и круглая шапочка с цветными узорами. Шапочку называли тюбетейкой. А Сашка сразу сказал:

«Тютюбейка». И все дружно засмеялись.

Только Колька вдруг сморщился и тихо, тихо шепнул, почти пискнул в миску: «А мне?» Он забыл, оказывается, что у него на коленях такой же сверток.

И все опять тогда засмеялись и стали разворачивать его газету, и там все оказалось то же самое, но другого, уже зеленого, цвета.

Ребят попросили примерить подарок на себя.

Напряженно сопя, с оглядкой, они ушли за угол и стали одеваться.

И хотя при этом братья не сказали друг другу ни словечка, они знали, что каждый из них думает и переживает.

У Сашки спина чесалась от волнения, даже красные пятна выступили, это Колька заметил.

А у самого Кольки вдруг задергалась левая нога, и он никак не мог попасть ею в штанину.

Он сказал подавленно:

— Иди первый! Ты умный!

А Сашка ответил:

— Ты тоже не дурак! Чего это я пойду!

— Я боюсь, — тогда сознался Колька. — Я никогда так не ходил.

— И я не ходил. Думаешь, личит? Или — не личит?

Колька посмотрел на Сашку и зажмурился. Ни фиги себе, подумалось, каждый день так ходить. В глазах рябит. И вообще, не одежда это для колониста, сопрут сразу. Кто увидит, подумает, что они не колонисты, а какие-нибудь жулики! Разве у нормального человека может быть столько на себе добра! Показать бы, да в заначку! А потом на барахолку! С руками спекулянты оторвут!

Но Колька ничего подобного не сказал, он будто себя увидел со стороны. Произнес, вздохнув:

— Красивый.

— Ты тоже!

— И это... Как будто не ты, а фон-барон!

— А у тебя хрустит? — спросил Сашка.

— Где?

— Везде. И жмет еще... Может, пуговицы оторвать?

— Оторвать можно, — сказал, подумав, Колька. — Только жалко. Они вон как блестят! Переговаривались бы долго, медля выходить. Но все пришли к ним сами. Демьян озадаченно развел руками и произнес чудное. Он сказал: «Да-а. Как антилегенты!» Мужички замерли от восторга. Регина Петровна захлопала в ладоши, заплясала на месте.

— Ну, мальчики! — воскликнула она. — Какие же вы настоящие братья! Только теперь я совсем вас не узнаю! Да? Ты Колька? — И она ткнула пальцем в Сашку.

Ребята засмеялись. А Регина Петровна ничуть не сконфузилась. На этот раз она шутила.

— Пойдемте за стол, — приказала бойко, все оглядываясь на братьев, будто боялась, что они сейчас сбегут. — Как начнете есть, так я и пойму... ху из ху?

Лысый Демьян при этих словах почему-то засмутился и предложил выпить еще.

Потом они ходили гулять, и, завидев стадо, Демьян изобразил им фокус. Он зажег сигарку и показал издали козе. Коза тут же подбежала и взяла сигарку в рот. Из ноздрей у нее пошел дым... А потом она съела сигарку, и все из нее шел дым!

— Ах, зачем вы издеваетесь над бедными животными? — спросила Регина Петровна. Но она была весела и произнесла это без упрека. — Лучше давайте придумаем клички для наших телят.

Первым предложили придумывать братьям, они ведь именинники!

Братья, не медля, одного бычка, самого жадного, назвали Шакалом, другого — Оглоедом, а двух телок — Халявой и Обороткой.

Регина Петровна кличек не одобрила, но ничего не сказала. Как могли, так и называли. Зато других двух бычков она предложила назвать Кузьменышами.

— А разве можно? — спросил Сашка.

— А почему же нет. Телята как телята. Дружные, себе на уме. А если тырят, то возвращают. Хорошие телята, в общем.

Пока спорили, хромоногий Демьян подмигнул и ушел в дальний конец огорода, в заросли. Вдруг он появился оттуда с громадным арбузом.

Кузьменыши сперва подумали, что у него в руках дылда, а потом разглядели: полосатый! Да это ж арбуз! Настоящий арбуз!

И все тогда стали плясать, и мужички запрыгали, прося только дотронуться до арбуза.

— Откуда у вас? — спросила приятно изумленная Регина Петровна. — У вас тоже заначка? Да?

Демьян ухмыльнулся и покачал лысой головой.

— Дык я про арбузную грядку забыл сказать... А как уехал, все прикидывал, как вот энти... — кивнул на братьев. — Найдут аль не найдут. А они — хоть опытные искатели, а проглядели!

Кузьменыши посмотрели друг на друга и одновременно подумали, что прошляпили грядку с арбузом, это уж, и правда, позор! Все вынюхали: тростник сахарный, и ореховое дерево, и вот эти ягоды, что стали бусами. Оказывается, их барбарисом зовут. Но арбузы, да еще такие... Ну, лысый обормот, наказал, так наказал! Опозорил братьев на всю колонию! Хоть, может, и врет, привез из дома, а теперь хвастает!

Но Демьян и сам понял, что переборщил с подначкой своей. Уже принесся арбуз на стол, он отрезал по куску всем, а братьям дал самую сладкую серединку.

— Небось такого и не едали!

— А он не железный? — спросил Колька дурачась.

— Чево? Какой такой железный? Арбуз как арбуз!

Тогда братья сказали, что это анекдот есть такой...

Они могут рассказать, как встретились два приятеля-враля...

— Ну, расскажите, — попросила с удовольствием Регина Петровна.

Братья встали, повернулись друг к другу.

КОЛЬКА: И где только я не бывал... Во! Везде бывал!

САШКА: А в Париже ты бывал?

КОЛЬКА: Бывал.

САШКА: А Фелевую башню видал?

КОЛЬКА: Не только видал, но и едал!

САШКА: Как едал? Так ведь она железная!

КОЛЬКА: Мда. А ты на Кавказе был?

САШКА: Ну, был.

КОЛЬКА: А кумыс пил?

САШКА: Чево?

КОЛЬКА: Кумыс, говорю, пил?

САШКА: Ну, нет... Не поймашь. Он железный!

Братья и все вокруг засмеялись. А мужички хоть не поняли, но захлопали в ладоши. А Регина Петровна похвалила, только поправила: не Фелева, а Эйфелева башня. Эйфель ее построил.

Заначенный арбуз был отомщен, и братья с удовольствием его съели. Уж теперь-то они не упустят заветной грядки! Весь камыш разгребут, но арбузы разыщут. Если Демьян не враль! А если враль, то, значит, анекдот прям про него!

Регина Петровна это поняла. Но ей хотелось, чтобы такой день закончился мирно. Она предложила спеть. Какой же праздник без песни?

Братья сразу согласились. Лихо завели:

*Сижу, сижу в тоске и вспоминаю я,
А слезы катятся из глаз моих,
А слезы катятся, братишка, потихонечку
По исхудалому лицу...*

Но Регина Петровна махнула рукой, будто отодвинула их вместе с песней. Она запела свое.

*Ехали казаки с ярмарки до дому,
Пидманули Галю, забрали с собою,
Ой ты, Галю, Галю молодую,
Пидманули Галю, увезли с со-бо-ю...*

Тут откашлялся Демьян, прочистил горло и вдруг вступил, да так пронзительно, тонко, высоко, что у братьев дух захватило:

Едем, Галю, с нами, с нами, казаками,

Краше тебе буде, чем родная хата-а...

И Кузьменыши, и Регина Петровна радостно подхватили:

Ой ты, Галю, Галю молодую,

Пидманулн Галю, увезли с со-бо-ю!

А лысый Демьян куда-то ушел и вернулся с балалайкой. Балалайка была непривычная, таких не видели прежде братья, с длинной-предлинной ручкой.

— В избе нашел, — похвалился Демьян и потрынькал на трех струнах. — Чечня развлекалась, а звала, говорят, деревянной гармонью... Темные люди и есть! Какая же она гармонь, если она балалайка! Тонкий струмент! К ней особенность нужна!

Пьяно усмехаясь, он снова провел по струнам, извлекая туповатые короткие звуки, и вдруг ударил всей ладонью и, закатив глаза вверх, высоким голосом запел:

За рекой на горе

Лес зеленый шумит;

Над горой, над рекой

Хуторочек стоит,

В том лесу соловей

Громко песни поет,

Молодая вдова

В хуторочке живет...

Пропел, сделал паузу и посмотрел на Регину Петровну. И снова пьяно усмехнулся. Глаза его блестели.

Демьян пел вроде бы негромко, но лихо у него это выходило. Он будто пел про Регину Петровну, про себя и про этот их домик, куда он, будто в хуторок, приехал погостить...

Кузьменыши от зависти приподнимались на цыпочки, шеи вытягивали, стараясь заглянуть Демьяну в рот... Так сильно, так гладко управлял он своим красивым голосом. И чеченская балалаечка с тремя струнами играла-переливалась на русский манер под его рукой. Вот чудно-то!

В этот момент все братья ему простили, обормоту хитрому: и заначенный арбуз, и козу с цигаркой, и даже его пристаивания к воспитательнице Регине Петровне.

И вот что потрясло ребят: оказывается, и не тюремную песню, а про какую-то там вдову можно петь так, что пробирает мороз до косточек.

Никогда ничего подобного они не знали и не чувствовали. Особенно же к концу стало им грустно. Оба могли и заплакать, да уж это было бы слишком... Это когда вдова посадила за стол купца с рыбаком, которые стали песни играть, а в это время молодец-то в окошко все высматривал, все терпел, терпел... А потом не выдержал да и убил их всех! Как чечен какой. Так по Демьяновой песенке выходило.

И с тех пор в хуторке

Уж никто не живет,

Лишь один соловей

Громко песни поет...

Все молча сидели, потрясенные то ли историей такой ужасной, то ли таким смелым, таким лихим молодцом, что из-за любви убил вдову... Мужичков Регина Петровна увела спать. И вернулась. Был вечерний закат, и было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом. Хотя о счастье наши братья еще не догадывались, они, может быть, поймут это позже. Если поймут. Если будет у них еще время понять!

Боже мой, как жизнь коротка, и как тяжело думать и загадывать наперед, особенно когда мы уже все, все знаем...

Помню, помню этот несказанный вечер на нашем обетованном хуторке в глубине каких-то предгорий Кавказа. Как ни странно, но день, придуманный для нас волшебницей Региной Петровной, стал моим днем рождения на всю жизнь. Я думаю, может, и правда, я тогда по-настоящему только и родился? Я глядел по сторонам, желая выявить эту разительную перемену мира. Но все было как было: и небо, размытое к вечеру, но чистое, ни облачка. И теплые, нагретые за день травы, и запах сухой, полынный, горьковато-грустный от жесткой здешней земли. И смирная лошадь Демьяна, что паслась невдалеке, — темный силуэт на фоне гор, но не летящий, не распластаный, как на знакомой картинке, а смирно опущенный мордой вниз, — дополняла нашу идиллическую картинку. Я знал, я наверняка знал, что так не бывает, а если и бывает, то не к добру, уж слишком хорошо, чтобы потом не было еще хуже. Но именно тогда, предчувствуя всякое недобро, я впервые вдруг понял, что я живой, что я взаправду существую, а потом я умру. Это щемящее чувство скоротечности того, что я только что узнал, меня поразило на всю жизнь, как удар молнии, как осколок в самое сердце шоферицы Веры! Как не хотелось никогда умирать, боже мой! Но только впоследствии я понял, прочтя некую научную статью, что во мне проснулся в то мгновение «ген смерти», который дан всем живым людям, но до поры, до времени он себя не выявляет, а лишь в ранней юности в какую-то особую минуту... И потом уже на всю жизнь. А дети, как и я до той поры, живут, не ведая ни о чем преходящем, и потому бессмертны они.

На следующее утро, ранехонько, лишь солнце из-за горы полоснуло, Демьян засобирался в обратный путь. Положил в телегу две желтые большие тыквы, камыша настелил.

Регина Петровна, заведя из окошка его сборы, вышла, на ходу торопливо застегивая на груди рубашку.

— Вы моих Кузьменышей не возьмете? Нам продукты получить надо.

В лицо Демьяну она не смотрела, держалась чуть-чуть отстраненно.

А все из-за вчерашнего вечера, точнее же, ночи, когда Демьян напросился спать в мазанке на полу, якобы от холода, а потом полез в постель, будто бы перепутал по пьянке, а она его прогнала. Из мазанки прогнала. Он устроился на камыше возле крепко спящих ребят. Всю ночь чадил самокруткой, ждал рассвета. Вспоминал, как в госпитале под Бийском пришел он к реке топиться: в письме написали, что жену и двух детишек сожгли фашисты вместе с избой, а сам-то калеченый, никому не нужный... Его еще не списали по чистой, он при госпитальном хозяйстве был.

Так вот, пришел к реке, с удочкой вроде, за рыбкой, а вода там быстрая, не то что в равнинной России, круговорот да буруны. Да рев на всю округу.

Наклонился, голова кругом пошла. Ах, мать честная, и это не жизнь, если все внутри и снаружи выгорело!

А тут баба-врач, которая ногу ему пилой пилила, он-то кричал тогда... Как уж она оказалась на том берегу, гуляла, что ли. Увидела и говорит... Хотите, говорит, спирту, Демьян Иваныч? Пойдемте, у меня припасено. Согласился. Хлобыстнул стакан, полегчало. Закурил. А она еще наливает. «Пейте, не бойтесь. Вы куда отсюда поедете-то?» Он принял еще полстакана. Буркнул: не знаю. А самому подумалось: «Чуть вот не уехал... В омут головой». А она вдруг говорит, на Кавказе, мол, пустые земли богатые стоят. Мужика ждут. А чего бы не попробовать! Тридцать лет не возраст, это у мужика вроде подросткового, все еще зарастает...

— Все, — повторила она. — А детей нарожать еще успеете, и вырастить, хоть дюжину. Была баба-врач еврейкой. Не старой, замужем. Муж ссыльный, тут при ней, а может, она при нем, на лесоповале вкалывал. Тоже не сахар, если посудить, жизнь у них. А он-то, Демьян, вольный, может, и правда, выдюжит. Хуже, рассудил, не будет. Чего терять, в самом деле! И поехал, дивясь на непривычные горы, на землю, жирную, черную, ветку воткнешь, а она уже цвести хочет!

Чужую хату, неведомо чью, привел в порядок, подвал выкопал, дорожку к дому камнем уложил и тополем по обеим сторонам засадил...

Сарай отремонтировал, колодец почистил, самогону, как в своей деревне, наварил бутыль. Оглянулся, все есть, а чего-то не хватает! Ему? Да ему вот горсть кукурузы и корочка хлеба нужны. Больше ничего и не надо. Это надо, когда тут живут, когда дети бегают, животная скотина мычит и кукарекает, и тебя встречают у порога с кувшином, и воду льют, и смотрят, как ты, фыркая, смываешь пот с лица от дня работы.

Стал попивать. И все один. И опять ему омуток привиделся. Закрыв глаза, и нет ничего. Так и не было. Вот в чем дело. Это лишь иллюзия, что показалось, что живой... Оживел... Баба-врач, хоть и мудрая женщина, но и она не все во внутренних рассмотрела. Вот к чему он

пришел. Когда ехал первый раз на подсобное хозяйство, все на рельсы поглядывал, часто ли поезд проходит. Омуты тут нет, так рельсов сколь хошь. Лег, и вся недолга. Тем более и поезд пролетал, лишь эхо от него до гор и обратно.

А на подсобном вдруг — воспитательница с детишками.

— Так возьмете, Демьян Иваныч? — спросила она, щурясь от встречного солнца.

Красивая баба, ладная, и все в ней крепко: и грудь, и руки, и ноги, а волосы, как у ведьмы, можно вокруг узлом завязаться. Да еще и лицо без помады, жаль, дуреха, курит. Так это можно и отучить. Кнутом или еще как.

— А сама чево? — грубо поинтересовался он. — Аль напужал, что не доверяешь? Думаешь, вертопрах Демьян! Развратник такой-сякой? Да?

— Ну, почему так... Я вам верю, Демьян Иваныч. Да сама, видно, так устроена, что... Вот, глупая такая! — сказала она и все щурилась от солнца и на него не смотрела. — А у меня мальчик заболел... Переел он, что ли, всю ночь несло. А то бы, конечно, сама поехала. Мне как раз не хочется именинников посылать! Боюсь за них!

Она стояла, виноватая будто. Стало жалко ее.

— Я вам попку привезу, — сказал. — Меня бабка моя еще научила: пленочку от куриного жалудка сушить и молоть, так попкой и зовется: от любых поносов и расстройств лечит...

— Спасибо, — тихо сказала Регина Петровна. И все стояла, ждала.

— А ребят чево не взять? У меня телега большая. Вот обратно как?

— Обратно не сможете?

Он прикинул:

— Два конца — день. Не отпустят ведь.

— А вы до станции! — горячо произнесла Регина Петровна. — До станции лишь довезите, а я на ишачке встречу... А?

Тот крикнул, потер лысину. Повернулся и направился к телеге. Не оборачиваясь, бросил на ходу:

— Дык, будите! Время у мене уходит!

Регина Петровна заспешила, стала поднимать братьев. А они вчера ухайдакались, спросонья ничего не разберут. Растормошила, полила водой, чтобы умылись, велела поесть что-нибудь. Но они от еды отказались.

Сунула им два матерчатых мешочка для крупы в сумку, а сумка для хлеба. Еще туда бутерброды положила, бутылку с молоком. В эту бутылку, если выйдет, они на обратном пути нальют постного масла.

— Запомнили? Не забудете? — спросила братьев. Те кивали, зевая на ходу. Никак не могли проснуться. У каждого под мышкой сверток: вчерашний подарок с собой прихватили.

— А это зачем? — удивилась Регина Петровна. — Хотите в колонии оставить?

Братья помотали головой. Нет, не такие уж они дурачки, чтобы в колонию такое богатство везти!

— В заначку, что ли? — догадалась она. Братья ничего не ответили. Ясно, что в заначку.

— Лучше оставьте, — посоветовала Регина Петровна. — Никто вашу одежду не тронет. Я вам обещаю. Ну?

Братья переглянулись, отдали ей свертки.

— Езжайте... — И погладила их по голове, одного левой, другого правой рукой. — Если директор спросит, скажите, что живем тут нормально, все есть. Могут колонистов присылать для сбора...

— Да ну их! — сказал, отворачиваясь, Сашка. И Колька кивнул.

Регина Петровна проводила братьев к телеге и усадила сзади.

— Присмотрите за ними, Демьян Иванович. Все-таки... Там беспокойно... А я, как договорились, завтра встречу.

Демьян порылся в соломе, откопал свою потертую кепочку, надвинул на самый лоб. Из-под козырька в упор глянул на воспитательницу. Глаза у него при утреннем свете были насквозь голубые, детские.

— А чево смотреть, там теперь нормально. Я когда ехал сюда, все как есть по-фронтовому оценил. наших бойцов в гору на машинах везли да везли. Столько везли, будто они окружение под Сталинградом делали. А обратно этих... черных... Вывозили...

— Вывозили? То есть как вывозили? — спросила Регина Петровна, вдруг побледнев. — Живых, надеюсь?

— Всяких! — отмахнулся Демьян. — Я вчерась не хотел говорить, не к чему было. Так, думаю, с ними покончили — жисть станет спокойнее...

Регина Петровна насупилась.

— Вы так, простите, будто радуетесь...

— А что мне плакать! — взвился вдруг он. — Лучше мы их, чем они нас! Иль тебе, прости, по-другому хотелось? Мало страху тебе задали?

Регина Петровна покачала головой, посмотрела на ребят.

— Мне-то уж ничего не хочется. Но зачем же убийства-то?

— Видать, по-другому не могут. Гитлеру продались! Из довоенного прокурора генералом своим сделал! У них резать русских — это национальная болезнь такая!

— А если вас станут из дому выселять? — спросила тихо Регина Петровна.

— Дык мене выселяли, — усмехнулся вдруг будто легкомысленно Демьян. Но вряд ли было ему смешно. — За лошадь, шашнадцать лет было. В кулаки записали. Ничево. Отдал.

Сказал: спасибо. Без нее легче стало. Вот, на колхозной езжу... Зато живой!

— Не знаю... Мы не о том говорим, — вздохнула Регина Петровна. — А вы просто на войне ожесточились. Все ожесточились. Оттого и страшно... Так вы поберегите, пожалуйста...

Слышите?

Демьян отвернулся, чмокнул лошади.

Братья сидели обнявшись, свесив ноги с телеги, и смотрели на Регину Петровну.

— Я завтра к обеду-у приеду-у! — крикнула она вслед и помахала рукой.

Братья разноголосно откликнулись: «Ла-но!» А Демьян не отвечал и не оглянулся. Будто его уже это и не касалось. Он правил, поглядывая на дорогу из-под козырька, и молчал.

Всю дорогу промолчал.

Братья догадались сразу, отчего молчит: ему от ворот поворот сделали! Хоть он и поет мирово, но не жених! Ясно!

И когда зашли братья в кукурузу, за обочину, по нужде, Колька так и сказал:

— Бортанула она его... Лысого!

— А мне жалко, — отвечал Сашка. — Поет он мирово!

— А нас директор не бортанет сегодня? — перевел Колька разговор на другое. — Письмо-то при нем!

— Забыл небось... Там не до нас!

— Главное, заначку забрать, — сказал Колька. — Я считаю, что нужно драпать.

— А Регина Петровна?

— А что Регина Петровна? Она ведь после рождения обещала!

— А вдруг не поедет?

— Ну и что?

— Ее жалко...

— Не жале! Тут теперь вокруг жалельщиков много! — Сашка стал застегивать портки, разнервничался, аж пуговицу оборвал. Сказал, выходя на дорогу: — Как хошь, я ее не брошу.

— Совсем?

— Как, совсем?

— Ну, совсем? — переспросил пораженно Колька. — Со мной? Не поедешь?

Сашка кивнул.

Называется, поговорили. Впервые за всю их жизнь выяснилось, что могут они по своей воле расстаться.

Колька ушам своим не поверил. И если бы сказали ему, не поверил бы! Их разделить нельзя, они нерасчленимые, есть такое понятие в арифметике... Это про них как раз!

Колька понял, что Сашка свихнулся. Хорошо, если ненадолго свихнулся, а если... Но он отбросил мрачные мысли, а Сашке сказал:

— Приедем, тогда решим. Договорились? — И отдал ему серебряный ремешок вместо пуговицы. Тот, что Регина Петровна подарила.

— Договорились, — согласился Сашка. Может, он думал, что это не он, а Колька переменит решение. Но ремешком подпоясался.

Потом они прилегли на телеге и, обнявшись, уснули.

Проснулись в сумерках и сразу не поняли, где находятся.

Телега была распряжена, а лошадь паслась рядом, среди кукурузных зарослей. Сам Демьян отчего-то сидел на земле и озирался по сторонам. Лицо его было растерянным, даже бледным.

Братья подняли головы, почесываясь, глядя вокруг.

— Эй! — негромко позвал Демьян и поманил их рукой. — Сюда идите... Только тихо, тихо!

Братья нехотя спрыгнули с телеги, подошли.

— А где колония?

Но Демьян странно замахал руками, показывая, чтобы они подошли еще ближе и присели.

— Заболел, что ли? — спросил, удивляясь на такое поведение, Сашка. А Колька добавил:

— А я тоже вчерась обожрался! У меня в животе целая музыка! Оркестр со струей!

Ребята загоготали, а Демьян оглянулся, зацыкал на них:

— Ти-хо! Тихо, я сказал... Там ваша колония! — И показал рукой в сторону. — Только там... это... пусто!

— Как пусто! — спросили братья, уставившись на Демьяна. — Что пусто?

— Пусто, да и все! — отрезал шепотом он. — Сходите, если хотите. На дорогу не высовывайтесь... Поняли?

— Нет... А что?

— Я говорю, чтобы осторожнее, ну? Посмотрите да возвращайтесь. Я вас тут подожду. Братья постояли, тупо размышляя.

Ни до чего они не додумались. Повернули, не сговариваясь, пошли. Шли свободно, как гуляли, места были теперь знакомые, свои. Хотя прежде-то зудело сбегать к заначке: живали, родимая? Цела ли?

Метров через пять-десять кукуруза поредела и стала видна колония: большой двухэтажный дом. Удивляла тишина. Не слышно было ни одного голоса, а уж здесь всегда стоял ор, и крик, и визг, слышимые за километры.

— Полезешь? — спросил Сашка, показывая на лаз.

— А ты?

Они перешли на шепот, хотя не было еще причин чего-то бояться. Просто в той тишине не получалось говорить громко. Что касалось Демьяна, то ребятам в последнюю минуту, когда он сидел в странной позе на земле, показалось, будто он после вчерашнего дня еще хлебнул и не очухался. Может, ему не только пустая колония, но и чертики зеленые виделись в траве?!

Братья, пыхтя, прокореялись через свой лаз и оказались у задней стены двухэтажного дома.

Тих был дом, никто не торчал в окнах. Может, на обеде все? Может, в поле на уборке?

Они прошли вдоль стены дома, завернули за угол и замерли.

Колька, который шел сзади, налетел на Сашку. Оба пораженно оглядывали свой двор. Станный был у этого двора вид. Он был завален барахлом, будто в эвакуацию. Могло показаться, что собирались удирать: вынесли, навалили горой и койки, и матрацы, и столы, и стулья, а потом все бросили да сбежали.

И — тихо. Какая-то неживая тишина. Только сверху, будто с неба, доносился равномерный колокольный звон: бом, бом...

Братьев передернуло. Как на похоронах все равно!

Медленно, с оглядкой пошли они по двору, под ногами хрустело стекло. Окна в доме были выбиты. Рамы выбиты. Двери, сорванные с петель, валялись тут же плашмя на земле.

В одном из проемов на втором этаже торчала кровать, ее голубая спинка. Пустая створка окна под ветром колотилась о спинку, оттуда неслся этот печальный звон.

Сашка нагнулся, поднял жестяную мисочку, сделанную из консервной американской банки. Повертел, бросил. Она покатила по стеклам, по земле и долго не падала, все катилась, катилась с железным дрынканьем, будто заводная. А там, куда она прикатилась, в десяти шагах что-то темнело на земле.

— Смотри-ка, — сказал Колька, вертя в руках находку. — Это же пряжка... Пряжка от... Он хотел сказать: «Пряжка от портфеля». Но не успел, потому что черный предмет на земле был сам портфель.

Тот знаменитый, известный любому колонисту портфель, с раздутыми белесыми боками и двумя сверкающими застежками спереди — сейчас одна из них была оторвана, — который носил с собой Петр Анисимович. Всегда носил, не оставляя нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах!

Братья смотрели на этот портфель, и что-то до них, уже и так ошарашенных внезапной картиной разрушения, доходило.

Уж если сам портфель тут, а директора нет, значит, случилось не менее, чем катастрофа. Может, бомбежка какая? Может, немцы откуда-нибудь свалились? Может... Может...

Страх начал поселяться в них, пока беспричинный, неосознанный, он усугублялся тем, что ничего не было понятно.

Сашка присел, осторожно потрогал портфель руками, будто это был не портфель, а живое существо.

Но вдруг рядом что-то гроыхнуло, Колька дико закричал: «Атас! Бежим!» И они рванули. По стеклам, по фанерным дверям, по матрацам, распушившим свои соломенные, торчащие из нутра хвосты... За угол дома и сквозь лаз, не задев, вот чудо, ни одной из колючек. Они вломились в кукурузу, валя по пути хрусткие стволы.

Что так напугало Кольку, да их обоих, они бы не могли объяснить. Разве что ветер рванул какую железяку и резанул по нервам!

Чем дальше они бежали, тем больше в них было паники, тем становилось страшней.

Им казалось уже, что они тут одни и нет никакого Демьяна. Что тогда они станут делать?

Но Демьян, к счастью, сидел там, где его оставили. Он лишь резко, испуганно обернулся, когда они появились.

Не вставая, не меняя положения, он посмотрел на них из-под козырька, в упор.

— Ну? Видали? — спросил и стал сворачивать свою «козью ножку». Руки его не слушались, и махорка сыпалась на одежду и на траву.

Братья уставились на его руки. От страха или от бега оба задохнулись. Теперь смотрели на его суетливые непослушные руки и тяжело дышали.

Наконец Демьян закурил. Несколько раз он с силой втянул в себя дым, глядя в одну точку, куда-то за спины стоящих ребят. Отшвырнул самокрутку прочь и поднялся сразу, без помощи посторонних.

— Надо итить, — произнес хрипло.

Непонятно, к кому он обращался, к себе или братьям. Не произнося больше ни слова, двинулся в заросли; было совсем незаметно, что он хромает.

Ребята рванулись следом, но в растерянности встали, оглядываясь на телегу с сумкой и на лошадь, которая паслась сама по себе.

Демьян оглянулся, рукой махнул.

— Шут с ними, — пробормотал, будто опять не братьям. — Не до них! Свою голову надо спасать!

— Свою... Чево? — спросил Сашка.

Но Демьян сделал знак молчать, приставив палец к губам. И направился в чашу кукурузы, стараясь обходить каждый просвет, каждую поляну. С оглядкой, сторожко, как делают, наверное, на войне разведчики.

Они сразу поняли, что двигался он к Березовской. Значит, к дому.

К братьям он больше не обращался, не вспоминал о них.

Лишь однажды, когда Сашка по нерасторопности громко хрустнул веткой, резко повернулся и показал кулак:

— Тише, ну! Чтобы ни звука!

И тут же споткнулся Колька, загремел сухим стеблем. Демьян вернулся, поманил ребят к себе, больно пригибая головы обоим братьев к земле. Прошипел зло, прямо в уши:

— Дурачки! Жить, что ли, надоело! Тогда, вон, дорогой ходи... Они шею враз свернут!

— Кто? — спросил Сашка, вытаращив глаза. Никогда он не видел такого рассерженного, а скорей испуганного взрослого мужчину. Он-то всегда думал, что взрослые, да еще бывшие солдаты, бояться не могут.

— Кто! Кто! — произнес все тем же злым шепотом Демьян. — А вы что — не поняли? Тут они! Рядом ходють. — И оглянулся по сторонам.

Отпустив братьев, он заковылял, но уже медленней, наверное, устал, да все они устали.

А Кольку еще мучил понос. В колонии бы сказали: во, со страху-то! Матрос, в штаны натрес!

Он поминутно останавливался, садился и пыхтел, глядя в густеющих сумерках на уходящего Сашку жалобными глазами. А Сашка, хоть и знал, что Кольку не бросит, но спешил вслед за Демьяном, стараясь не упустить и его, поворачивая голову то вперед, то назад.

Сам же Демьян будто Колькиных мучений не замечал, да и самих ребят не замечал, он крался по кукурузе, приседая и озираясь, как вор какой.

В такой момент все и произошло. Демьян был впереди, вдруг он прыгнул куда-то в сторону и пропал. Колька, который в очередной раз присел и мучился от приступа, хоть ни капельки из него уже не выходило, увидел, что Сашка бросился вслед за Демьяном, сверкнул серебром поясок дареный, его тоже не стало видно.

Потом вновь появился Демьян. Он ходко ковылял, топоча своей деревяшкой, уже не оберегаясь. Крикнул назад, наверное, Сашке:

— Не беги ты кучей! Рассыпся... Им ловить хуже!

Он с треском провалился в густую чашу кукурузы и пропал. И Сашка пропал, не появился. Колька остался сидеть один.

Все это произошло в мгновение. Он и сообразить не успел, И штанов надеть не успел.

Сбоку, прямо над кукурузой появилась лошадиная морда. Сидя, как был, он смотрел на эту морду, а та уставилась красным недоверчивым глазом прямо на него. И вдруг там, над лошадью, он сразу не заметил всадника, темную его тень, зычно, гортанно пролаяло: «Гхе-ей! Гхе-ей! Гхе-ей!» Вот когда дошло!

Колька шмякнулся на землю и закрыл глаза.

Он слышал, как лошадь двинулась к нему, шумно раздвигая кукурузу. Она фыркала, дышала прямо в шею, и он, приоткрыв один глаз, увидел прямо у своего лица беспокойную,

переступающую ногу, копыто, раздавившее хрупкий ствол. Этот стволик, отскочив, больно хлестнул Кольку по лицу, а крошки земли полетели ему на волосы, на спину.

Надо было вскочить и бежать. Он понял, что его нашли, сейчас его схватят. Но лишь шевельнулся, поднимаясь, как лошадь вдруг испугалась, храпнула и отпрянула резко в сторону.

На своих негнущихся, бесчувственных, как костыли, ногах, весь дрожа, Колька мелкой рысцей побежал по зарослям, поддерживая руками штаны. А где-то рядом, за спиной снова пронесся гортанный вскрик и лающее:

«Гхе-ей! Гхе-ей! Гхе-ей!» А потом треск, шум, топот, грохот... Погоня.

Он бежал, смешно подпрыгивая и поддерживая штаны. Он не знал, преследуют его или нет, потому что, кроме своего собственного дыхания и треска сокрушаемой по пути кукурузы, он уже ничего не слышал. Потом дыхание его кончилось. И кончились его силы. Он упал в какую-то ямку и даже шевельнуться не мог. Неподвижность поразила его. Да и самого Кольки уже не было.

Он не слышал, как, обламывая стволики, прошла неподалеку от него лошадь и стала удаляться, пока не пропала совсем.

Когда он пришел в себя, было темно. Черно было кругом. Словно залепило глаза и уши.

Он ощупал свою ямку, но опять же не смог подняться. Тогда он стал руками и ногами копать под собой. Он загребал пальцами назад тяжелую, пахнущую перегноем землю и по-звериному отбрасывал, отпихивал ее прочь ногами.

Сколько он это делал, зачем, он не знал. Да он уже ничего про себя не знал. Когда он выбился из сил, он приник, вжимаясь в землю, в свою вырытую им ямку, и снова исчез из этого мира. Провалился в небытие.

Было утро, теплое, без единого облачка, без ветерка. В голубом, по-утреннему размытом небе четко вырисовывались близкие горы. Просматривалась каждая морщина на них. Снег ослепительно сиял на вершинах.

Какая-то серая птица, часто мельтеша крыльями, стояла, зависнув над полем, выслеживая добычу. Звенели кузнечики, попискивали птахи. Черной стаей прошелестели скворцы.

Было так обычно, так мирно, что все случившееся вчера воспринималось как дурной сон.

Если бы не ямка, которую Колька выкопал, да не следы лошади, глубокие, в пробитом среди кукурузы коридорчике, Колька бы так и решил, что все ему приснилось.

Вот бы проснуться на подсобном хозяйстве, на камыше, а рядом Сашка похрапывает. А Колька его кулаком в бок: слушай, какой сон-то я увидел... Будто за нами этот, ну... чечен на лошади гнался! А я без штанов от него! Вот смеху-то!

Но даже это происшествие со всадником не воспринималось так страшно, как вчера.

Уж очень было голубо и мирно. Не верилось, не представлялось, что в такое утро может происходить хоть какое-нибудь зло.

Колька отряхнул землю со штанов, осмотрелся, даже подпрыгнул, чтобы разглядеть, в какой стороне Березовская. Но ничего, конечно, не увидел.

Попытался сообразить по солнцу и по горам, выбрал направление — верное, как ему показалось, и пошел, не стараясь прятаться или пригибаться. Сашка и Демьян не могли уйти далеко и тоже, если догадаются, пойдут в Березовскую.

А может быть, они уже там? Сидят у колодца, пьют холодную воду. Ему тоже захотелось сильно пить.

Шел он и шел, отлепляя от лица густую паутину, которой была местами перевита кукуруза, и вспугивая жирных черных птиц.

Один раз выстрелил из-под куста серый заяц и понесся куда-то, лишь земля из-под ног брызнула.

Колька не испугался зайца, но подумал: «А вдруг они вовсе не за мной, а за этими зайцами охотились? А мы-то, дураки, дрожали... Как этот серый небось?!» На одном стволике, зеленом совсем, видать, позднего самосева, он отломил кукурузный молочный початок и съел его, вместе с сердцевинкой. Хотел найти еще такой же, но больше зеленых не попадалось. А сухие кочны были такие крепкие, что их не только зуб, камень не брал. Когда уже не ждал, не надеялся, вдруг выскочил на дорогу. Сухой, белый проселок, покрытый легкой пылью.

На обочинах цвели запоздалые ромашки, мелкие и кустистые. Летали бабочки. И не было ни единого следа от проезжающей тут машины или телеги.

Колька опять посмотрел на горы и подумал, что он, блуждая, выскочил за Березовскую и надо бы повернуть обратно. Иначе он придет к станции. А до станции топать целый день.

Да и зачем ему сейчас станция, если его ждут Демьян с Сашкой? Не такие уж они недогадливые, чтобы не понять, что Колька будет искать в Березовской. Но сперва он отыщет колодец и напьется воды.

Интересно, как они будут отбрехиваться, что драпанули от всадников? Небось наплетут, что ничего и не испугались, а побежали, потому что другие побежали... Сашка станет ссылаться

на Демьяна, который первый прыгнул в заросли, а Демьян скажет, что это Сашка его взбаламутил и развел панику.

Пусть врут, если им приятно. Лично Кольке не хотелось вспоминать, как он лежал под копытами лошади, спасибо ей, не наступила. И как потом рысью шуговал по зарослям, поддерживая штаны, а сзади что-то трещало и топало... А может, это он сам трещал и топал! И — ямка... Про ямку он уже точно не расскажет. Ему и самому чудно, как пытался зарыться, ничего не соображая, поглубже в ту ямку!

За поворотом поле поредело, стали видны огороды с плетями тыкв и кабачков, верхушки тополей, крыши домов.

Колька ускорил шаг, почти побежал.

Он почему-то верил, что сейчас войдет в деревню и сразу разыщет Сашку с Демьяном. А нет, так спросит. Ему скажут, где их видели и куда они пошли.

Но прежде он напьется воды.

В горле пересохло, даже слюны не было, нечем было сглотнуть. Одна сухая пыль на зубах. Сожмешь — скрипят.

Наверное, Колька был слишком беспечен. Иначе бы на подходе заметил, что в деревне никого нет. Но он думал о Сашке и мало глядел по сторонам.

Лишь приблизившись к первому дому, он увидел, что тут, как и в колонии, выбиты окна, чернеют на фоне белых стен, как в черепае, пустые глазницы.

На пути стоял колодец с круглой бетонной нишей и ведерком, немного помятым, на крюке. Колька наклонился над черной дырой, в дальнем конце которой маслянисто поблескивала вода. Взял ведерко, но вдруг увидел, что ведерко вымазано в чем-то густом, жирно-красном... И отпрянул.

И тут он увидел Сашку.

Сердце радостно дрогнуло у Кольки: стоит в самом конце улицы Сашка, прислонясь к забору, и что-то пристально разглядывает. На ворон, что крутятся рядом, загляделся, что ли?

Колька свистнул в два пальца.

Если бы кто-то мог знать привычки братьев, он и по свисту бы их различил. Колька свистел только в два пальца, а выходило у него переливчато, замысловато. Сашка же свистел в две руки, в четыре пальца, сильно, сильнее Кольки, аж в ушах звенело, но как бы на одной ноте. Теперь Колька свистнул и усмехнулся: «Во-о, Сашка уж и свиста не слышит, оглох! Стоит, как статуя!» Колька побежал по улице, прямо к Сашке, а сам подумал, что хорошо бы потихоньку, пока Сашка ловит ворон, это с ним и прежде бывало, зайти со стороны забора да и гаркнуть во весь голос: «Сдавайся, руки вверх — я чечен!» Но на подходе стал замедляться сам собой шаг: уж очень странным показался вблизи Сашка, а что в нем было такого странного, Колька сразу понять не мог.

То ли он ростом выше стал, то ли стоял неудобно, да и вся его долгая неподвижность начинала казаться подозрительной.

Колька сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился.

Ему вдруг стало холодно и больно, не хватило дыхания. Все оцепенело в нем, до самых кончиков рук и ног. Он даже не смог стоять, а опустился на траву, не сводя с Сашки

расширенных от ужаса глаз.

Сашка не стоял, он висел, нацепленный под мышками на острия забора, а из живота у него выпирал пучок желтой кукурузы с развевающимися на ветру метелками.

Один початок, его половинка, был засунут в рот и торчал наружу толстым концом, делая выражение лица у Сашки ужасно дурашливым, даже глупым.

Колька продолжал сидеть. Странная отрешенность владела им. Он будто не был самим собой, но все при этом помнил и видел. Он видел, например, как стая ворон стережет его движения, рассевшись на дереве; как рядом купаются в пыли верткие серые воробьи, а из-за забора вдруг выскочила дурная курица, напуганная одичавшей от голода кошкой.

Колька попытался подняться. И это удалось. Он пошел, но пошел не к Сашке, а вокруг него, не приближаясь и не отдаляясь.

Теперь, когда он встал напротив, он увидел, что у Сашки нет глаз, их выклевали вороны.

Они и щеку правую поклевали, и ухо, но не так сильно.

Ниже живота и ниже кукурузы, которая вместе с травой была набита в живот, по штанишкам свисала черная, в сгустках крови Сашкина требуха, тоже обклеванная воронами.

Наверное, кровь стекала и по ногам, странно приподнятым над землей, она висела комками на подошвах и на грязных Сашкиных пальцах, и вся трава под ногами была сплошь одним загустевшим студнем.

Колька вдруг резко, во всех подробностях увидел: одна из ворон, самая нетерпеливая, а может, самая хищная, спрыгнула на дорогу и стала медленно приближаться к Сашкиному телу. На Кольку она не обращала внимания.

Он схватил горсть песка и швырнул в птицу.

— Сволочь! Сволочь! — крикнул он. — Падла! Пошла!

Ворона отпрыгнула, но не улетела. Будто понимала, что Колькиных сил неостанет, чтобы по-настоящему ей угрожать. Она сидела на дороге чуть поодаль и выжидала. Этого стерпеть он не мог. Заорал, завыл, закричал и, уже ни о чем не помня, как на самого ненавистного врага, бросился на эту ворону. Он погнался за ней по улице, нагибаясь и швыряя вслед песком. Наверное, он сильно кричал — он кричал на всю деревню, на всю долину; окажись рядом хоть одно живое существо, оно бы бежало в страхе, заслышав этот нечеловеческий крик. Но никого рядом не было.

Только хищные вороны в испуге снялись с дерева и улетели прочь.

А он все бежал по улице, все кричал, швыряя песок, и куски дерна, и камни куда придется. Но голос его иссяк, он запнулся и упал в пыль. Сел, отряхивая грязь с головы, вытирая лицо рукавом. И уже не мог понять, чего это он кричал и зачем бежал по деревне аж до самого ее края.

Едва передвигаясь, он вернулся к телу брата и сел отдышаться у его ног, рядом с кровью. Все, что делал он дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что сознавая, как бы глядя на себя со стороны.

Отдохнув, он приблизился к Сашке, осклизаясь на густой крови и, обхватив его руками, принял на себя. Сашка сразу опустился на землю и будто съежился. Кукуруза выпала у него изо рта, рот остался открытым, Колька зашел с головы, взял брата под мышки и поволок в дом, самый ближний к нему.

Дверь была оторвана. В сенцах горкой лежала кукуруза.

Он положил брата на кукурузу, накрыл ватником, который висел тут же на гвозде. Потом он поднял дверь и загородил вход, чтобы хищные птицы не смогли проникнуть в дом.

Проделав все это и немного отдохнув, Колька направился по дороге к колонии, ни от кого не прячась и не оберегаясь.

Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся и притащил за собой на веревке тележку, ту самую, что они нашли у дома Ильи.

Тележка была запрятана в кустах возле заначки, Колька ее сразу нашел.

Заначка тоже была цела: и варенье, и мешки, и тридцатка с ключами от поезда — все было на месте.

Колька вытащил оба мешка, а еще пол-литровую банку джема. Банку он открыл камнем, съел две ложки, но его тут же стошнило.

Он спустился к речке, умылся и голову окунул, чтобы немного взбодрить себя.

По пути, волоча за собой тележку, он завернул в кукурузу, где накануне оставляли они лошадь с телегой. Это место он нашел сразу. Был виден след от телеги, и рядом валялся недокурный бычок Демьяна.

Вернувшись в Березовскую, в дом, Колька снова перетащил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтоб брату не было слишком жестко, а под голову положил, свернув трубочкой, ватник.

Потом он принес веревку, найденную в углу прихожей, толстую, но гнилую, она рвалась, и ее пришлось для крепости сложить вдвое. Походя отметил, что ремешка серебряного на Сашке не было. Пропал ремешок.

Колька протянул веревку под тележку, а потом завязал узлом у Сашки на груди. Живота он старался не касаться, чтобы не было Сашке больно.

Завязал, посмотрел. Лицо у Сашки было спокойным и даже удивленным, оттого что рот так и остался открытым. Он лежал головой по ходу, и Колька подумал, что так Сашке будет удобнее ехать.

Пока собирался, наступили сумерки. Короткие, легкие, золотые. Горы растворились в теплой дымке, лишь светлые вершины будто сами собой догорали угольками на краю неба и скоро пропали.

Ровно сутки прошли с тех пор, как проснулись они на закате в телеге Демьяна. Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно. Они ступили на разоренный двор колонии, бежали сквозь заросли, а Демьян сидел на земле и трясущимися руками пытался закурить. Где-то он сейчас? Он-то все, все понимал! Это они глупыми были.

О подсобном хозяйстве, о Регине Петровне с мужичками Колька не вспоминал. Они находились за пределами его сегодняшней жизни. Его чувств, его памяти.

Он отдохнул, поднялся. Подцепил тележку так, чтобы не резало руку, и повез по улице.

Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили поврозь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя.

За деревней стало просторней, светлей, но ненадолго. Воздух загустел, чернела, сливаясь в непроницаемую стену, кукуруза по обеим сторонам дороги.

А потом вообще ничего не стало видно, Колька угадывал дорогу ногами. Да вроде бы впереди, где должны сомкнуться заросли, еле просматривался светлый в них проем, на фоне совсем чернильного неба.

Кольку не пугала темнота и эта глухая беспросветность дороги, на которой не встречались ни люди, ни повозки.

Если бы Колька мог все осознавать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции.

Все, кто сейчас мог встретиться: чечены ли или другие, пусть и добрые люди, — неминуемо стали бы помехой в том деле, которое он задумал.

Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом.

Он говорил ему: «Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше-то мы возили друг друга по очереди. Но ты не думай, я не устал, и я тебя доставлю до места. Может, ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варилась быстрее. Я был твоими руками и ногами в жизни — так уж нам было поделено, — а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекли, а руки и ноги оставили... А зачем оставили-то?» Колька поменял одну руку на другую. Затекла рука.

Но прежде, чем двинуться дальше, он ощупал Сашку и убедился, что тот лежит удобно и ватник не вывалился из-под головы.

Только Сашка будто застывать, замораживаться начал. Все в нем задубело, и руки, и ноги стали деревянными. Но все равно это был Сашка, его брат. И Колька, убедившись, что того не растрясло на ухабах и что ему ехать удобно, повез дальше.

Дальше потек и разговор их.

«Знаешь, — говорил Колька, — я почему-то вспомнил, как в Томилинский детдом привезли из колхоза корзину смороды. А я лежал тогда больной. А ты полез под телегу и нашел одну ягоду смороды и принес мне... Ты залез под кровать в изоляторе и прошептал: „Колька, я принес тебе ягоду смороды, ты выздоравливай, ладно?“ Я и выздоровел... А потом на станции на этой, на Кубани, когда дрисня нас одолела и ты загибался в вагоне, ты же смог все перебороть! Ты же встал, ты же доехал до Кавказа!

Неужто мы с тобой через всю дорогу проволочились лишь для того, чтобы нам тут кишки вырезали и вместо них совали кукурузу? Мол, жрите, обжирайтесь нашим добром так, чтобы изо рта торчало!» Тут Колька услышал: возки гремят впереди. Когда приблизился скрип колес и мужские голоса, он торопливо в заросли свернул, затаился.

Как зверь затаивается при появлении человека.

Но глаз с дороги не сводил, смотрел во все глаза (теперь у них двоих только два глаза было!). Понял, что едут солдаты. Позвякивало оружие, погромыхивали повозки, фонарики вспыхивали, полосуюя обочины дороги. Разговаривали негромко, но можно было разобрать, что вот-де их окружили в горах, часть постреляли, а другая часть прорвалась в долину и устроила резню. Местные жители, кто уцелел, бежали. Теперь приказ такой: никого не жалеть, а если в саду, или в доме, или в поле спрячется, так палить вместе с домом и полем... Если враг не сдается, его уничтожают!

Проехали. Растворились огоньки в темноте. Стихло все.

Колька высунулся, уши в одну, в другую сторону наставил — нет ли кого следом? Выждал, убедился — никого.

Вернулся за Сашкой, пощупал, как ему лежится, снова выволок тележку на дорогу. Схватил веревку двумя руками, повез.

«Вот, — сказал, — небось сам слышал, как солдаты, наши славные боевые бойцы, говорили... Едут чеченов убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот, если бы он мне попался, я, знаешь, Сашка, не стал бы его губить. Я только в глаза посмотрел бы: зверь он или человек? Есть ли в нем живого чего? А если бы я живое увидел, то спросил бы его, зачем он разбойничает? Зачем всех кругом убивает? Разве мы ему чего сделали? Я бы сказал: „Слушай, чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем! Нас привезли сюда жить, так мы и живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь, видишь, как выходит... Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты — погибнете. А разве не лучше было то, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтоб жили? Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем?“» Тут Колька, хоть и был занят разговором, а услышал, что рядом станция. Сперва услышал ее, а потом выскочил на чистый луг, и стало видно; в глаза сверкнули лампочки вдоль линии, и можно было разглядеть, что на запасных путях стоит эшелон. Там горят прожекторы, слышны ржание и грохот повозок; приехала еще одна воинская часть.

Колька приблизился, но лишь настолько, чтобы в случае чего можно было спрятаться. За кустом тележку поставил.

«Приехали, — сказал Сашке. — Мы тут с тобой недавно были. Мечтали вместе уехать. Теперь мы будем с тобой ждать поезда. Я немного устал. Да и ты, наверное, устал, правда? Ты побудь здесь, а я на разведку схожу. Только не думай, что я тебя бросаю. Я вернусь, только посмотрю, что там на станции делается...» Колька оставил Сашку за кустом, а сам продвинулся поближе к огням и к линии.

Никого, кроме военных, он не увидел. Военные же были заняты своим делом: суетились, кричали, грохотали повозками, которые спускали по наклонным доскам из вагона.

Колька прикинул: эшелон ему не помеха. Как поезд пойдет, он закроет собой братьев от солдат, и никто их не увидит.

Он вернулся к Сашке. Сказал ему: «Видишь, я пришел. Там сейчас солдаты, они приехали твоего чечена убивать, который кукурузы в тебя натолкал. Но, когда поезд придет, нас не видно будет. Ты ведь знаешь, я не такой башковитый, и мне пришлось долго соображать. Но это я сам придумал. Теперь-то я понимаю, как тебе было нелегко ворочать мозгой. Но как же ты не додумал чеченов-то на коне обдурить? Может, ты, я сейчас подумал, сам к ним вышел... Поверил, что они ничего тебе не сделают, как не убили они Регину Петровну, хотя наставляли на нее ружье?» Колька посмотрел из-за куста на станцию и задумчиво добавил: «Наверное, утро скоро. Если бы поезд пришел до света... При свете нам тяжелее с тобой будет».

Тут и поезд вынырнул, распластался вдоль дальней сопки, как Сашкин пропавший ремешок. А паровоз у него — пряжка с двумя сверкающими камнями.

Отчего ж Колька опять о том серебряном ремешке вспомнил? Не давал пропавший ремешок покоя. Ведь если посудить, это последнее, что видел он, когда они расстались.

Сашка бросился в заросли, лишь ремешок сверкнул в сумерках...

А вдруг ремешок, старинный чеченский, и выдал Сашку с головой?

А вдруг он стал причиной казни?

Но ведь еще по дороге в колонию не Сашка, а Колька был подвязан тем ремешком! Это случай с пуговицей все изменил... Поезд приближался. Уже доносился отраженный от сопок глухой перестук вагонов.

Колька спохватился и вместе с тележкой брата поскакал по лугу. Подоспели они с Сашкой прямо в тот момент, когда состав резко затормозил и встал, а под колесами зашипело.

Колька оставил тележку в лопухах под насыпью, а сам побежал вдоль вагонов. Нагибался, искал собачник.

У первого вагона собачника не было и у второго, лишь у третьего обнаружил он железный ящик.

Пощупал, крышку открыл, даже руку засунул: нет ли там каких пассажиров?

Потом сбегал, подвез Сашку к вагону, веревку развязал. Ватник постелил на дно ящика.

Стал Сашку подтягивать под мышки и все молился, чтобы поезд не отправляли. Сашка был твердый, не гнулся, но показался легче, чем раньше.

Колька, запыхавшись, перевалил его в ящик, лицом вверх, а сверху и сбоку мешками обложил. Чтобы холодно не было. Все-таки кругом железо!

Тележку с веревкой он в траву отпихнул. Все, отъездились.

Но поезд продолжал стоять, и Колька опять придвинулся к ящику, сел перед ним на корточки, сказал Сашке через дырку:

— Вот, уезжаешь. Ты ведь хотел поехать к горам... А я пока побуду здесь. Я бы поехал вместе с тобой, но Регина Петровна с мужичками одна осталась. Не бойся, Сашка, я о тебе буду думать.

Колька постучал кулаком по ящику, чтобы Сашке не было страшно одному.

Отходя, увидел: выскочил проводник из вагона, мимо Кольки пробежал, да застопорился:

— Ха! Привет! — кричит. Зубы скалит. Колька пригляделся: Илья перед ним. Зверек который.

— Ну, здравствуй, — ответил. — А ты разве не сгорел?

Илья смеется:

— Ха! Я не горючий! Во как! Я раньше сообразил, что тут за каша заваривается, удрал на дорогу. Езжу, как видишь. Куда хошь провезу.

— Не-е, — сказал Колька. — Не могу.

— А ты кто же будешь? Ты Колька или Сашка?

Колька помолчал и сказал:

— Я — обои.

В это время поезд свистнул.

Илья опять крикнул: «Ха! Смотри! А то от беды лучше со мной, а?» — и побежал к вагону.

Прыгнул на лесенку.

— Лучше, — кивнул, вздохнув, Колька, Илья уже слышать его не мог. Поезд дернулся, клацкнул буферами и поехал быстрее и быстрее в сторону невидимых отсюда гор. И Сашка поехал. А Колька один у черной насыпи остался.

Колька еще посидел на рельсах.

А когда стало светать, быстро, словно где-то включили свет и желтые блики поползли по серовато-синим стальным полоскам, Колька обогнул станцию и поднялся на горку к белой ротонде.

Он сел на ступеньки и стал смотреть вниз. Смотрел-смотрел и заплакал. Впервые заплакал с тех пор, как увидал на заборе Сашку. Он плакал, и слезы застилали ему прекрасный вид на горы и на долину, открывавшийся вместе с восходящим солнцем.

А потом он устал плакать и уснул.

Ему снилось: горы, как стены, стоят, и ущелья вниз опадают. Идут они с Сашкой, он к самому краю подошел, а не видит, не видит... И уже тихо по льду начинает вниз скользить, катиться, а Колька его за пальто, за рукав ловит... Не может схватить! Покатился Сашка отвесно вниз, дальше и дальше, аж сердце заболело у Кольки, что упустил он брата и теперь он руки-ноги поломает и сам разобьется вдребезги. Далеко-далеко комочек черный катится... Проснулся от страха Колька.

Пощупал лицо: мокро от слез. Значит, он опять плакал.

Посмотрел вниз на долину, вдруг вспомнил стихи. Никогда раньше он не вспоминал этих стихов, да и не знал, что их помнит.

*Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя,
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.*

Может, этот холм и есть утес, а ротонда — тучка... Колька оглянулся и вздохнул. А может, тучка — это поезд, который Сашку увез с собой. Или нет. Утес сейчас — это Колька, он потому и плачет, что стал каменным, старым, старым, как весь этот Кавказ. А Сашка превратился в тучку... Ху из ху? Тучки мы... Влажный след мы... Были и нет.

Колька почувствовал, что снова хочет заплакать, и встал. Нашел надпись, которую они тут сделали 10 сентября. Поискал острый кремешок, дописал внизу: «Сашка уехал. Остался Колька. 20 октября».

Зашвырнул камешек, проследил, как он катится по склону горы, и стал следом спускаться. Потом он умыл лицо в одной из ямок с горячей водой и пошел по дороге вверх, туда, где было их подсобное хозяйство. Он еще не знал, что скажет воспитательнице Регине Петровне.

Подходил к хозяйству, уж и за последнюю горку повернул, но так и не придумал, соврет или правду скажет. Он не хотел пугать ее да мужичков. Тут-то им не опасно. Паси скот да пеки дылду. Только он не станет здесь жить. Он скажет: «Сашка уехал, и мне надо ехать».

Конечно, он им отдаст весь джем из заначки, лишь банку себе на дорогу возьмет. И тридцатку возьмет. Это их с Сашкой состояние, не даром в Томилине по корочке

складывались, чтобы тридцатку свою личную заиметь. Теперь Сашке деньги не нужны. Он задаром путешествует...

Он теперь навсегда бесплатный пассажир. Колька подошел к навесу, но никого не увидел. Небось спят, решил. Постучал в окошко, в домик заглянул. И тут никого. Койка застелена, аккуратно, как все у Регины Петровны, и вещи на своих местах, а хозяйки нет.

Колька подумал, что они ушли коров доить. Он вернулся под навес, пошарил по посуде, нашел мамалыгу в котелке и прямо рукой загреб в рот. Только сейчас он подумал, что зверски хочется есть. Он стал доставать горсть за горстью и все это мгновенно проглотил. Но не наелся. Выскреб дочиста котелок, потом творог нашел и тоже съел. Регина Петровна вернется, отругает, но простит. Он же не нарочно, с голодухи.

Он запил водой, прилег на камыш, на свою и Сашкину лежанку. И вдруг уснул.

Проснулся под вечер от тишины. Он был один, лишь птицы гомонили на крыше. Он дошел до ключа, напился и ополоснул лицо.

Было почему-то не по себе от этой тишины и от одиночества. Он спустился к огороду и далее на луг, где паслось стадо. Еще недавно они все стояли тут и называли бычков и телок разными именами. А козы самокрутку с огнем сожрали, аж дым из ноздрей. Теперь все стадо повернулось к нему, и козы заблеяли, узнали, и бычок тот, который Шакал, побежал Кольке навстречу... И самое странное, что злобная корова Машка, которая при виде Кольки рога наставляла, вдруг тоже замычала ему призывно и совсем по-доброму: «Му-му-у-у!» Признала наконец. Да что толку. Вот если бы она ответила, где пропадает Регина Петровна с мужичками. И вдруг вспомнил: ведь нет ишачка с тележкой!

Ну, конечно, она уехала за ними в колонию! Сашка, тот бы мигом сообразил! Наверное, съездила на станцию, не нашла их и рванула скорей в колонию! А он-то, сачок, дрыхнет тут! Как не хотелось Кольке возвращаться через деревню в колонию! Но представил себе разбитые, брошенные дома, а среди них растерянную, напуганную Регину Петровну, которая их с Сашкой ищет! Она и поехала-то из-за них в это пропащее место, где еще чечены на конях рыщут, а он, Колька, еще колеблется, еще мучается — идти ему или не идти!

Кто ж теперь ее будет спасать, если не Колька!

Последний раз он оглянулся, пытаясь хоть за что-то зацепиться глазом. Уж очень трудно преодолевал он свое нежелание, несмотря на свои собственные уговоры. Да и что-то его удерживало, он не мог понять, что именно.

И только когда вышел и полчаса прошагал по теплой, нагретой за день дороге, вспомнил: он же хотел посмотреть, цела ли их красивая одежда? Желтые ботиночки, да рубашка со штанами, да пестрая «тютюбейка»... Или уперли? Теперь-то, пока они с Региной Петровной ищут друг друга, наверняка упрут!

В густых сумерках миновал он станцию. Эшелона с военными уже не было. Зато было много следов на дороге, и кукуруза на обочине помята и поломана.

А дальше — гарью запахло. Колька не понял, в чем дело, вот Сашка, тот мигом бы догадался. Сашка бы только мозгой шевельнул и выдал: «А знаешь, они ведь урожай палят! Чеченов из зарослей выживают!» Так подумал Колька и только потом сообразил, что это он, он сам, а не Сашка подумал.

Гари становилось больше, уже дым над дорогой, как поземка, полз. Глаза у Кольки слезились и болели. Он тер глаза, а когда было невмочь, ложился лицом вниз в траву, ему становилось легче.

Встречались выжженные проплешины. По бокам, и особенно впереди небо играло красными сполохами, и даже тут, на дороге, было от этих сполохов светлей.

А потом Колька дошел и до огня. Тлели остатки травы, да стволы подсолнечника дымились — красные раскаленные палки. Тут уж таким жаром пыхало, что Колька лицо рубашкой закрыл, чтобы брови не обгорели. И ресницы стали клейкими, они, наверное, тоже опалились.

Тогда он лег на землю и стал думать: идти ему в колонию или не идти? Если идти, то он сгореть может. А если не идти, то получится, будто бросил он Регину Петровну с мужичками одну среди этого огня и опасности.

Полежал, отдышался, стало легче. Решил, что надо к Регине Петровне идти. Не может он не идти. Сашка пошел бы.

Огонь теперь поблескивал со всех сторон, и поташнивало Кольку от дыма. К пеплу, к гари он как-то привык, почти привык, только странно было, что огня вокруг много, а людей по-прежнему никого.

Это он, когда ехал с Сашкой, не хотел, чтобы попадались люди. А теперь он так же сильно хотел, чтобы они ему попались.

Хоть разок.

Хоть кто-нибудь.

Вот если бы случилось: он идет, а навстречу ему по дороге на ишачке Регина Петровна едет! Мужички испуганные в тележке, а сама она по сторонам озирается, огня боится. А Колька ей кричит: «Ху из ху? Не бойтесь! Я тут! Я с вами! Вместе нам не страшно! Я уже знаю, как через огонь проходить! Сейчас, сейчас, я вас с мужичками проведу до подсобки, а там уж рай так рай! Сто лет живи, и никаких пожаров, и никаких чеченов!» Опомнился Колька, лежит он посреди дороги, угорел, видно. Как упал, не помнит. Голову ломит, тошнота к горлу подступила. Попробовал встать, не встается. И ноги не идут. Вперед глянул: господи, крыши домов торчат. Березовская! Вот она! Рукой подать! На карачках, да доползу...

А тут уж огороды, деревья, кусты, огонь через них не пробивает. Как до колодца добрел, Колька опять не помнил. Цепь долго спускал, а поднять уж сил не хватило. Дважды до середины ведерко выбирал, а оно вырывалось из рук, падало обратно.

Перегнулся над краем Колька, стал из колодца дышать. Воздух сырой, холодный, только бы не упасть. Обвязал он ногу цепью и долго лежал на перегибе, голова там, а ноги наружу. Полегчало. Лишь небольшая тошнота осталась.

Побрел он дальше. Мимо поля, мимо кладбища, тут ему вдруг показалось, что вовсе это не столбики гранитные, а чечены рядами стоят... Неподвижная толпа застыла при виде Кольки, глазами его провожает... Наваждение какое-то! Или он с ума стал сходить. Закрыл глаза, провел по лицу рукой, снова взглянул: столбики каменные, а никакие не чечены. Но шаги на всякий случай ускорил и глаз не спускал, чтобы, не дай бог, опять не превратились в чеченов! В сторону колонии огонь не проник, тут ни голову рубашкой прикрывать, ни к

траве приникать не надо. Вот только черен он был, Колька, хоть сам себя не видел. Если бы попался кто-то, наверное бы, решил, что сам черт выскочил на дорогу из преисподней. Но то, что прошел Колька, преисподняя и была.

Не помнил, как добрался он до Сунжи. Приник к ней, желтенькой, плосконькой речонке, лежал, поднимая и опуская в воду голову.

Долго-долго так лежал, пока не начало проясняться вокруг. И тогда он удивился: утро. Солнышко светит. Птицы чирикают. Вода шумит. Из ада да прям в рай. Только в колонию скорей надо, там Регина Петровна его ждет. Пока сюда огонь не дошел, ее вызволять скорей требуется. А он себе приятную купань устроил!

Вздыхнул Колька, пошел, не стал на себе одежду выжимать. Само высохнет. Но в колонию через ворота не пошел, а в собственный лаз полез, привычной так, да и безопасней.

Ничего не изменилось с тех пор, как ходил тут с Сашкой. Только посреди двора увидел он разбитую военную повозку, лежащую на боку, рядом холмик. В холмике дощечка и надпись химическими чернилами:

Петр Анисимович Мешков. 17.10.44 г.

Колька в фанерку уткнулся. Дважды по буквам прочел, пока сообразил: да ведь это директор! Его могила-то! Если бы написали «портфельчик», скорей бы дошло. Вот, значит, как обернулось. Убили, значит. И Регину Петровну убить могут...

Он встал посреди двора и сильно, насколько мочи хватало, крикнул: «Ре-ги-на Пет-ро-в-на!» Ему ответило только эхо.

Он побежал по всем этажам, по всем помещениям, спотыкаясь о разбросанные вещи и не замечая их. Он бежал и повторял в отчаянии: «Регина Петровна... Регина Петровна... Реги...» Вдруг осекся. Встал как вкопанный. Понял: ее тут нет.

Ее тут вообще не было.

Стало тоскливо. Стало одиноко. Как в западне, в которую сам залез. Бросился он за пределы двора, но вернулся, подумал, что опять через огонь пройти уже не сможет. Сил не хватит. Может, с ней, с Региной Петровной, да с мужичками он бы прошел... Ради них прошел, чтобы их спасти. А для себя у него сил нет.

Он прилег в уголке, в доме, на полу, ничего под себя не подстелив, хотя рядом валялся матрац и подушка тоже валялась. Свернулся в клубочек и впал в забытие.

Временами он приходил в себя, и тогда он звал Сашку и звал Регину Петровну... Больше у него никого в жизни не было, чтобы позвать.

Ему представлялось, что они рядом, но не слышат, он кричал от отчаяния, а потом вставал на четвереньки и скулил, как щенок.

Ему казалось, что он спит, долго спит и никак не может проснуться. Лишь однажды ночью, не понимая, где находится, он услышал, что кто-то часто и тяжело дышит.

— Сашка! Я знал, что ты придешь! Я тебя ждал! Ждал! — сказал он и заплакал.

Он открывал глаза и видел Сашку, который тыкал ему в лицо железной кружкой. Колька мотал головой, и вода проливалась ему на лицо.

Сашка просил, ломая свой язык. «Хи... Хи... Пит, а то умырат сопсем... Надо пит водды... Хи... Пынымаш, хи...» Колька делал несколько глотков и засыпал. Ему бы сказать Сашке, как смешно он «умырат» произносит, да сил не было. Даже глаз открыть сил не было. Какие уж тут хи-хи.

Сашка накрывал брата чем-то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой. Однажды Колька открыл глаза и увидел незнакомое лицо. Верней, лицо было ему знакомо, потому что у Сашки, когда он тыкал кружкой в губы, оно оказывалось вдруг такое странное, чернявое, широкоскулое... Но раньше это почему-то Кольку не смущало. У Сашки такая голова, что он себе любое лицо придумает.

А тут Колька лишь взглянул и понял: никакой это не Сашка, а чужой пацан в прожженном ватнике до голых колен сидит перед ним на корточках и что-то бормочет.

— Хи, хи, — бормочет. — Бениг... Надто кушыт... А не пымырат...

Колька закрыл глаза и опять подумал, что это не Сашка. А где тогда Сашка? И почему этот чужой, чернявый, Сашкино новое лицо взял и Сашкиным новым ломаным голосом говорит? Недодумался ни до чего Колька и заснул. А когда проснулся, спросил сразу:

— А где Сашка?

Голоса своего не услышал, но чужой голос он услышал.

— Саск нет. Ест Алхузур... Мына так зыват... Алху-зур... Пынымаш?

— Не-е, — сказал Колька. — Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет.

Это ему казалось, что он сказал. На самом деле ничего он не сказал, а лишь промычал два раза. Потом он опять спал, ему виделось, что чернявый, чужой Алхузур кормит его по одной ягоде виноградом. И кусочки ореха в рот сует. Сначала сам орех разжевывает, а потом Кольке дает.

Однажды он сказал:

— Я, я Саск... Хоти, и даэк зыви... Буду Саск... — И опять орех жевал... И по одной ягоде виноград давил прямо в губы. — Я Саск... А ты жыват... Жыват... Харош будыт... — И Колька первый раз кивнул. Дело пошло на поправку.

Алхузур откликался на имя Сашка, оно ему нравилось. Колька лежал в углу на матраце, куда его перетащил Алхузур, накрыв вторым матрацем.

Однажды не выдержал, заглядывая в лицо Алхузура, спросил:

— А Сашки, правда, не было? — Алхузур грустно посмотрел на больного товарища и покачал головой.

— Сылдат был, — сказал он. — Я это... Со ведда... Убыгат...

— Испугался солдата? Нашего?

Алхузур с опаской посмотрел в окно и не ответил. Лицо у него было скуластое, остренькое, и такие же остренькие блестящие глаза.

— А пожар? — спросил Колька.

— Пазар? — повторил Алхузур, уставившись на него. — Пазар? Рыных?

— Да нет... Я про огонь хотел спросить: кукуруза-то горит?

Тот закивал, указывая на свой ватник, на многочисленные дырки.

— Много охон... Хачкаш харыт... Хадыт нелза... В мэнэ мнох дым...

Колька смотрел на удрученного Алхузура и хихикнул. Уж очень смешно прозвучало, что в нем много дыма.

Алхузур отвернулся, а Колька сказал:

— Не сердись, я же не со зла... У тебя карандаша не найдется?

Алхузур покосился на Кольку и не ответил.

— Или угля... Надо!

Алхузур молча ушел и вернулся с куском горелой деревяшки.

Колька повертел в руках обгарок:

— От дома директора, — сказал, вздохнув. — Когда в него гранату бросили. Всю ночь горел, представляешь...

Алхузур кивнул. Будто мог знать о пожаре. Колька удивился:

— А ты что, видел? Ты, правда, видел?

— Я не выдыт, — отрезал Алхузур и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Что-то он недоговаривал. А может, Кольке показалось.

Он придвинулся к краю матраца и стал рисовать на полу схему ломким углем, изобразил колонию, речку, кладбище. Алхузур смотрел на размазанные линии, ткнул пальцем в кладбище:

— Чурт!

— Ну, пусть черт, — согласился Колька. — А по-нашему, так кладбище. А тут Березовская, значит.

Алхузур размазал Березовскую, а руки вытер о себя.

— Нэт Пересовсх... Дей Чурт, так называт!

— А почему?

— Дада... Отэц... Махил отэц...

— Могила отца? — сообразил Колька. — Твоего отца здесь могила?

Алхузур задумался. Наверное, вспомнил об отце.

— Нэт мой отэц... Всэх отэц...

Вот теперь Колька дотумкал: селение так прозывается: Могила отцов. Кладбище — Чурт, а деревня — Дей Чурт... То-то Илья все долдонил от страха — черт да черт! И правда, похоже!

Колька обратился к чертежу, приподымаясь, чтобы видней было. Куст около речки обозначил, а возле куста дырку начертил.

— Найдешь? Нет? — спросил тревожно. Никогда и никому бы в жизни не открыл он тайну заначки. Это все равно что себя отдать. Но Алхузур теперь был Сашкой, а Сашка знал, где хранятся их ценности. Да и самому Кольке не добрести до них. Сил не хватит, — Найдешь... Банку джема тащи!

Сказал и откинулся. Длинный этот разговор вымотал его.

Алхузур еще раз взглянул на рисунок и исчез. Как провалился. Кольке стало казаться, что названный его брат пропал навсегда. Нашел заначку, забрал и скрылся. На хрена, если посудить, нужен теперь ему Колька? Больной да немощный! Теперь-то он сам богат! Но Колька так не думал, не хотел думать. Мысли, помимо него, возникали, а он их отгонял от себя. Но почему Алхузур не возвращался?..

Часы прошли... вечность! Когда раздался грохот и влетел Алхузур, лицо его было искажено. Он споткнулся, упал, вскочил, снова упал и так остался лежать, глядя на дверь и вздрагивая при каждом шорохе.

Колька голову поднял.

— Ты что? — спросил. — Ударился? Не ушибся?

Но Алхузур, не отвечая, натянул на себя с головой матрац и затих под ним.

— Оглох, что ли! — крикнул Колька сердито. Подождал, потом подполз и откинул край: Алхузур лежал, закрыв глаза, будто ждал, что его ударят. И вдруг заплакал. Плакал и повторял: «Чурт... Чурт...» — Ну, перестань! — попросил Колька. — Я же тебя не трогаю! Алхузур повернулся лицом вниз, а руками закрыл голову. Будто приготовился к самому худшему.

— Ну, ты даешь! — сказал Колька и попытался встать. От слабости его качало. На четвереньках дополз до оконного проема, подтянулся, со звоном осыпая осколки стекол на пол.

В вечерних сумерках разглядел он двор и на нем группу солдат. Солдаты пытались вытолкать застрявшую повозку, на которой лежали, Колька сразу узнал, длинные могильные камни. «Неужто с кладбища везут? — подумалось. — Куда? Зачем?» Телега, видать, застряла прочно.

Один из возчиков махнул рукой и поглядел по сторонам.

— Ломик бы... Сейчас пойду пошукаю.

Он огляделся и направился в сторону их дома.

Колька увидел, отпрянул, но не успел спрятаться под матрацем. Так и остался сидеть на полу. Как глупыш-птенец, выпавший из гнезда.

Солдат не сразу заметил Кольку. Сделал несколько шагов, осматривая помещение, и вдруг наткнулся взглядом на Кольку. Даже вздрогнул от неожиданности.

— Эге! А ты чего тут делаешь? — спросил удивленно. Солдат был белобрыс, веснушчат, голубоглаз. От неожиданности шмыгал носом.

— Живу, — отвечал Колька хрипло.

— Живешь? Где?

— Тут, в колонии...

Солдат огляделся и вдруг прояснел.

— Ты говоришь, колония? — он присел на корточки, чтобы лучше видеть пацана. И опять шмыгнул носом. — Где же тогда остальные?

— Уехали, — сказал Колька.

— А ты чего же не уехал? Ты один? Или не один?

Колька не ответил.

Солдат-то был востроглазым. Он давно заметил, как подергивается матрац на Алхузуре. И пока беседовал, несколько раз покосился в его сторону.

— А там кто прячется?

— Где? — спросил Колька.

— Да под матрацем.

— Под матрацем?

Он тянул время, чтобы получше соврать. Сашка бы сразу сообразил, а Колька после болезни совсем отупел, голова не варила.

Выпалил первое, что пришло на ум.

— А-а, под матрацем... Так это Сашка лежит! Брат мой... Его Сашкой зовут. Он болеет. — И добавил для верности. — Мы оба, значит, болеем.

— Так вас больных оставили! — воскликнул солдат и поднялся. — А я-то слышу, вчерась, будто разговаривают... Я на часах стоял... А ведь знаю, что кругом никого... Как же это вас одних бросили?

Он подошел к Алхузуру и заглянул под матрац.

— Конечно! У него же температура! А может, малярия! Вон как трясет!

Помедлил, рассматривая Алхузура, и накрыл матрацем.

Солдат направился к выходу, но обернулся, крикнул Кольке:

— Сейчас приду.

Колька насторожился. Зачем придет-то? Или засек, что Алхузур не брат? Но солдат вернулся с железной, знакомой Кольке мисочкой из-под консервов, принес пшеничную кашу и кусок хлеба. Поставил на пол перед Колькой.

— Вот, значит... Тебе. И ему дай. И вот еще лекарства...

— Он положил рядом с миской шесть желтых таблеток.

— Это хинин, понял? У нас многие малярией мучаются, так хинин спасает... Тебя как зовут?

— Колька, — сказал Колька. Менять свое имя сейчас не имело смысла. Да и кем теперь назовешься? Алхузуром?

— А я боец Чернов... Василий Чернов. Из Тамбова.

Солдат постоял над Колькой, все медлил уходить. Шмыгал носом и с жалостью смотрел на больного. Уходя, произнес:

— Так ты, Колька, не все сам ешь... Ты брату оставь... А я, значит, санитаров пришлю... Завтра. Ну, бывай!

Лишь когда стемнело, Алхузур выглянул в дырку из-под матраца. Он хотел убедиться, что солдата уже нет.

Колька крикнул ему:

— Вылезай... Нечего бояться-то! Вон, боец Чернов сколько принес! Тебе принес и мне...

Алхузур смотрел в дырку и молчал. Матрац на нем шевельнулся.

— Будешь есть? — спросил Колька. — Кашу?

Алхузур высунулся чуть-чуть и покрутил головой.

— Пшенка! — добавил аппетитно Колька. — С хлебом! Ты пшенку-то когда-нибудь ел?

Алхузур приоткрылся, посмотрел на миску и вздохнул.

— Давай... Давай... — приказным тоном солдата Чернова произнес Колька. — Он велел поесть.

Алхузур поворочался, повздыхал. Но выползать из-под матраца не решался. Так и полз к Кольке со своим матрацем, который тянул за собой. В случае опасности можно укрыться. Ему, наверное, казалось, что так он защищен лучше.

Колька разломил хлеб пополам и таблетки разделил. Вышло по три штуки.

Указывая на хлеб, спросил:

— Это как по-вашему?

— Бепиг...

Алхузур с жадностью набросился на хлеб.

— Ты не торопись, ты с кашей давай, — посоветовал Колька. — С кашей-то всегда сытней!

А воды мы потом из Сунжи принесем..

— Солжа... — поправил его Алхузур. — Дыва река, тазк зови...

— Разве их две? — удивился Колька, пробуя кашу.

— Одын, но как дыва.

— Два русла, что ли? — удивился Колька. — Прямо как мы с Сашкой... Были... Мы тоже двое, как один... Солжа, словом!

Кашу брали руками, съели все и мисочку пальцами вычистили. Корочкой бы, но корочку сжевали раньше. Довольные, посмотрели друг на друга.

— Теперь ты мой брат, — сказал, подумав, Колька. — Мы с тобой Солжа... Они завтра придут за нами, фамилию спросят, а ты скажи, что ты Кузьмин... Запомнишь? По-нормальному, так Кузьменыш... А хлеб, это для нас с тобой бепиг, а для них хлеб это хлеб... Не проговорись, смотри... Сашка Кузьмин, вот кто ты теперь!

— Я Саск, — подтвердил Алхузур. — Я брат Саск... — Он спросил, вздохнув: — А дыругой брат Саск гыде?

— Уехал, — ответил Колька. — Он на поезде в горы уехал.

— Я тоже хадыт буду, — заявил Алхузур. — Я бегат буду... Ат баэц...

— Зачем? — не понял Колька. — Бойцы хорошие... Боец Чернов нам каши дал.

Алхузур закрыл глаза.

— Баэц чурт ломат...

— Могилы, что ли? Ну и пускай ломают, нам-то что!

Но Алхузур твердил свое:

— Плох, кохда ламат чурт... плох...

Он закатил глаза, изображая всем своим видом, насколько это плохо.

— Ну, чего ты разнылся-то! — крикнул Колька. — Плох да плох. Могиле не может быть плохо! Она мертвая!

Алхузур вытянул трубочкой губы и произнес, будто запел, вид у него при этом был ужасно дурашливый.

— Камен нэт, мохил-чур-нэт... Нэт и чечен... Нэт и Алхузур... Зачем, зачем я?

— А я тебе твердю, — сказал, разозлившись, Колька. — Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть. Разбираешь? Как Солжа твоя.

Алхузур посмотрел на небо, зачернившее окно, ткнул туда пальцем, потом указал на себя:
— Алхузур у чечен — пытыща, так зави. Он лытат будыт... Хоры. Дада-бум! Нана-бум!
Алхузур не лытат в хоры и ему... бум...
Он выразительно показал пальцем, изобразив пистолет.

В Москве, в Лефортове, за спиной студенческих общежитий МЭИ, стоит четырехэтажное кирпичное здание бани. По средам там собирается команда любителей помыться и попариться. Студенты, пенсионеры, военные.

Однажды мой приятель, полковник, привел меня сюда. Было это в начале марта.

Представил человеку пенсионного возраста, крепкому, но с животиком, произнеся:

— Вот, Виктор Иванович... Надо показать ему (то есть мне) нашу баньку по всем, как говорят, правилам!

Виктор Иванович был в вязаной шапочке, в босоножках.

Он подал мне два дубовых веника — сам делал! — и повел в парную, по пути наказав окунуть их в холодный бассейн, а потом хорошенько стряхнуть, чтобы влаги не осталось.

В эти веники, уткнувшись лицом, можно было дышать в парной, когда нас облепил, окутал сильный жар. И тут, на полках, все друг друга окликали, все знали. Кому-то кричали: «Коля, давай еще! Хорошо бы мяты! Эвкалипта! Витя! Эвкалипта у тебя нет?» А потом разложили меня на каменном полке, это уже не в парной, и Виктор Иванович с моим приятелем кудесили надо мной, особенно старался Виктор Иванович. Он поставил две шайки: одну в другой, с кипятком, а сверху третью — с мыльной пеной. Он окунал два веника в кипяток и быстро переносил их на мое тело. Прижимая к бокам, к спине, к позвоночнику, раскаляя до боли кожу, он шептал: «Терпи... Терпи...» И все разогревал меня, да так, что еще немного, и я бы не выдержал, но, видно, в том и было искусство, что он знал меру, эту границу-то!

А потом они терли, мылили, ласкали пальцами каждую во мне мышцу, каждую жилочку, подолгу растирали руки от кисти к плечу и ноги от пальцев вверх к коленям, а потом и брови, и щеки, нежненько, от носа к вискам, и все это потом ополаскивали водой, то горячей, на пределе (но ни разу того предела не перешли!), а то холодной, и тоже на пределе терпения.

Опять пошли горячие венички к моему радикулитному поясу, это уж специально, я потому и пошел в баню, что приболел; замучил меня радикулит...

О радикулите надо отдельно сказать, он у меня такой давний, застарелый... С тех пор, как я однажды в детстве в поле среди сухой кукурузы в ямке лежал... Всадники гнались за нами. Одна лошадь прошла надо мной в сантиметре. Я слышал затылком, как она переставляла копыта и шумно дышала, шевеля на моем затылке волосы... Но были сумерки, и всадник не успел понять, отчего его конь затоптался на одном месте. Издали протяжно, на чужом гортанном языке его кликнули на помощь — кого-то поймали! И он ускакал, стегнув нерасторопную конягу.

С тех самых пор мучит, мучит эта неумолимая боль в спине... Спасибо бане, спасибо Виктору Ивановичу, спасителю моему.

А в перерывчик блаженно усталые мои новые друзья извлекли водочку, у банщика подкупили пивца: по рублю за бутылку, а Виктор Иванович достал кореечку, лучку зеленого и банку с огурцами... И тихо-мирно, завернувшись в простыни, приняли из стаканчика, видать, тоже ритуального.

Виктор Иванович стал рассказывать про дубовые венички, которые он ломает, потом под гнет кладет, потом вялит на балконе и хранит в полиэтиленовом мешке... До следующего

сезона как раз хватает!

— До лета, что ли? — спросил мой приятель, полковник-танкист.

— Эх, молодежь! — сказал Виктор Иванович, покачав головой. — Все-то вас учи да учи, ничего не знаете! До Троицы! Слыхивали про такую?

Последний раз они зашли в парную — лакировочка! А потом допили, оделись и вышли наружу. Но это был еще неполный ритуал, так я понял. Они свернули в ту же баню, с обратной ее стороны. Виктор Иванович скрылся за грязной дверью, но вскоре появился и поманил нас за собой: «Сюда! Сюда давайте!» В замусоренной полуподвальной комнатке стоял фанерный щиток, а за ним сидели два человека, выпивали: мы их видели в той же бане... А около них стоял небольшого росточка в зимней ушанке, в ватнике мужичок.

— Как, Николай Петрович, будет? — спросили его.

— Будет, будет, — отвечал он озабоченно. — Вот, хотите тут, а хотите в другой отсек...

— Нам бы в другой отсек... Если можно, — сказал Виктор Иванович. Повелительно так сказал.

Нас повели через заваленный столярной рухлядью коридор и привели в другой чулан, побольше первого. И тут была фанерка, и ящики вместо табуреток. Николай Петрович скрылся, принес бутылку и стаканы.

Разливая, Виктор Иванович кивнул в сторону коридора и сказал:

— А эти... наши! Один подполковник, а другой не помню... Из интендантов, кажись...

— А вы из каких? — спросил почему-то я.

Он, не отвечая, достал книжку участника войны.

— Вот, — сказал. — Я всю войну от корки до корки.

Выпили. Он глотнул из банки рассольчик и, заедая корочкой, добавил:

— Начиная от парада в сорок первом... А потом везде... Я автоматчиком был... Вот на Кавказе... Мы там этих, черных, вывозили. Они Гитлеру продались! Их республиканский прокурор был назначен генералом против нас...

Он опять налил. И мы выпили.

— В феврале, в двадцатых числах, помню, привезли нас под праздник в селение, вроде как на отдых. А председателю сельсовета сказали: мол, в шесть утра митинг, чтобы все мужчины около твоего сельсовета собрались. Скажем и отпустим. Ну, собрались они на площади, а мы уже с темноты вокруг оцепили и сразу, не дав опомниться, в машины да под конвой! И по домам тогда уж... Десять минут на сборы, и в погрузку! За три часа всю операцию провели. Ну, а те, что сбежали... Ох, и лютовали они... Мы их по горам стреляли... Ну, и они, конечно...

Появился Николай Петрович, посмотрел на пустую бутылку, сказал:

— Закрываю, пора!

Встали, Виктор Иванович выходил первым и продолжал рассказывать:

— Помню, по Аргуни шли... Речка такая... На ишачках, значит, одиннадцать ишачков, я второй... Он как полоснет с горки из пулемета! Двое упали, а мы, остальные, отползли за выступ! Настроили миномет, и по той горке, где он засел, как дали... Горку ту срезали, ни пулеметчика, ни пулемета! Клочка одежды не нашли. У нас ведь как положено: голову тащишь в штаб, а там кто-нибудь из ихних опознает и вычеркнет из списков: Ахмет или еще

кто... Ну, там до весны орден дали, а потом татар из Крыма переселял... Больше на тот свет... Калмыков, литовцев... Тоже злодеи-фашисты, сволочи такие...

И вдруг я услышал что-то уже знакомое, слышанное давным-давно. Наверное, там же, на Кавказе.

— Всех, всех их надо к стенке! Не добили мы их тогда, вот теперь хлебаем.

Тут завернули мы в стекляшку, она как бы тоже не случайно встала на нашем пути.

Расположенная рядом с церковью, так и зовется стекляшка: у Петра и Павла, ее в Москве знают. Разменяли рубль на мокрую мелочь, сполоснули кружки, из автоматов нацедили пива и за грязным столом стали пить, закусывая солеными баранками.

Толпился кругом народ, люди здоровались, перекликались. И тут, как в бане, все знали и приветствовали друг друга.

К Виктору Ивановичу притянулись двое, сморщенные, в длиннополых старого покроя пальто из черного драпа. Мне их представили как «наших ребят», завсегдатаев.

— Вот они повоевали... — хвалил их Виктор Иванович. — Мы в одних войсках были, хоть и не встречались... Да тут наших много!

Он повел рукой, и я невольно оглянулся. И правда, не считая студентов, которых нетрудно было выделить по возрасту и одежде, другие все или почти все были как бы вровень с нашим Виктором Ивановичем... Не такие моложавые, но уж точно, спокойные, благодатные, что ли. И хоть без погон, но чувствовалась в них старая выучка... Школа. Какая школа!

Виктор Иванович кричал своим друзьям, похрустывая солененькой бараночкой, крошки от нее летели на пол:

— Я этих гадов как сейчас помню... У меня грамота лично от товарища Сталина! Да!

Его мирные улыбчивые дружки кивали и протягивали с мутным питием кружки, соединив их в едином толчке.

А ведь, не скрою, приходила, не могла не прийти такая мысль, что живы, где-то существуют все те люди, которые от Его имени волю его творили.

Живы, но как живы?

Не мучают ли их кошмары, не приходят ли в полночь тени убиенных, чтобы о себе напомнить?

Нет, не приходят.

Поиграв с внучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Печать, наложенная их профессией, видать, устойчива.

И, сплачиваясь, в банях ли, в пивных ли, они соединяют с глухим звоном немые кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее.

Они верят, что не все у них позади...

На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, и с поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробирались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями. Видать, ее вчера так и не смогли вытащить.

Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу.

Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да рыжела вывернутая земля.

Но когда мы полем направились к реке, мы снова наткнулись на могильные камни, положенные в ряд.

Это и была дорога, необычная дорога, проложенная почему-то не в станицу, а в сторону безлюдных гор.

Мой спутник на первом же камне будто запнулся. Постоял, глядя себе под ноги, потом наклонился, присел на корточки, на колени. Неловко выворачивая набок голову, что-то вслух прочел.

— Что? — спросил я нетерпеливо. — Что ты там читаешь?

Не отрываясь от своего странного занятия, он сказал:

— Тут лежат Зуйбер...

— Зуйбер? Кто это?

Он пожал плечами.

— Дада... Отэц...

И переполз к следующему камню...

— Тут лежат Умран...

— А это кто?

Как и в первый раз, он повторил, не глядя на меня:

— Дада... Отэц...

И далее, от камня к камню:

— Хасан... Дени... Тоита... Вахит... Рамзан... Социта... Ваха...

Я оглянулся кругом. Рассвело уже настолько, что нас было видно издалека. Надо было спешно и скрытно уходить.

Я поторопил своего спутника.

— Пойдем, пойдем... Пора!

Он не слышал меня.

Переползая от камня к камню, он прочитывал имена, словно повторял на память историю своего рода.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы дорога не уткнулась в высокий обрывистый берег реки... В пропасть. Наверное, дальше будет мост, его уже начинали строить.

Миновав опасный обрыв, мы спустились к реке, перешли по камням на другую сторону и стали удаляться в сторону гор.

Мой спутник все оглядывался, пытаясь запомнить это место.

Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время — и дети, и внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю.

Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся, придя сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место.

Они унесут ее всю, и дороги, ведущей в пропасть, не станет.

— Может, рвануть к станции? — спросил последний раз Колька. — На подсобном хозяйстве знаешь как здорово?! Будем чуреки печь... Дылду сварим... А?

Алхузур покачал головой и указал на горы.

— Тут стрылат, там не стрылат, — бормотал упрямо и смотрел себе под ноги.

— Ладно, — согласился Колька. — Раз брат, то вместе идти надо. Мы с братом порознь не ходили. Ты понял?

— Панымат, — кивал Алхузур. — Одын брат — дыва хлаз, а дыва брат — четыры хлаз!

— Во дает! — воскликнул Колька и тут же оглянулся, заткнул себе рот. Негромко продолжал: — Ты прям как Сашка... Он то же самое говорил!

— Я Саск... — подтвердил Алхузур. — Я будыт хырош Саск... А там... — Он указал на горы. — Я будыт хырош Алхузур... А хлеб будыт бепих, а кукуруза — качкаш... А вода будыт хи...

Колька нахмурился. В памяти, навечно врезанная, возникла рыжая теплушка на станции Кубань, из окошек зарешетчатых тянулись руки, губы, молящие глаза... И до сих пор бьющий по ушам крик: «Хи! Хи! Хи! Хи!» Так вот что они просили!

Ребята пробирались вдоль узких оврагов, переходящих в складки гор. Попалось огромное дерево грецкого ореха, и Алхузур ловко сшибал орехи палкой, а Колька собирал за пазуху. Потом они ели дикий сладкий шиповник, нашли несколько грибов, но те оказались горькими. Тяжелый дым сопровождал беглецов всю дорогу, и Колька, еще слабый после болезни, часто садился отдыхать.

Алхузур же карабкался по камням, лишь голые ноги из-под ватника мелькали. Пока Колька отдыхал, он успевал пробежать по кустам и приносил дикие кислые яблочки и груши.

— Былшой полза, — обычно говорил он, протягивая фрукты и улыбаясь. — А в Хор дым нэт... Там хырош будыт...

Один раз наткнулись на солдат, но те ребят не заметили. Они возились с машиной, которая невесть каким образом сползла на обочину и там застряла. Солдаты матерились, кляли горы, кляли чеченцев и свою машину в придачу.

Колька следил за ними из-за кустов, с горки, которая была над ними. Он прошептал Алхузуру:

— Хочешь, я к ним спущусь? Попрошу поесть? А?

Алхузур задрожал весь, как тогда в колонии.

— Нэт! Нэт! — закричал он, двое из солдат оглянулись. Едва успели мальчики пригнуться, как раздалась автоматная очередь. Но солдаты пальнули и снова занялись машиной, стреляли они, видно, на всякий случай. Эхо разносило выстрелы по горам. Так что могло показаться, палят со всех сторон.

Ребята отползли от края и пошли в противоположную сторону.

К ночи пришли они к ветхому сарайчику, кошаре, в котором обычно живут пастухи. Так пояснил Алхузур. Около кошары был небольшой садик и огород, сейчас они оказались в полном забросе. И все-таки ребята отрыли несколько морковин, почистили их о траву и съели. И орехи доели.

Ночь была холодной, горы давали о себе знать. Они спали, обнявшись, на соломенной подстилке, но все равно мерзли, а накрыться им было нечем. Под утро стало невмочь, оба дрожали и даже говорить не могли: языки позастывали.

Тогда Алхузур стал бегать вокруг кошары и петь свои странные, булькающие песни. Колька тоже побежал, заорал изо всех сил свою песню. «От края до края по горным вершинам, где гордый орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом,

прекрасные песни слагает народ...» Но песня о Сталине его не согрела. Он стал вспоминать песни о Буденном и Климе Ворошилове... Они все скаковые, под лошадиный ритм бегать удобней. А потом пришла на ум та, которую они орали в спальне: «Бродили мы с приятелем вдвоем... Бродили мы с приятелем по диким по горам, по диким по горам...» Он стал учить Алхузура этой песне. Вдвоем они кричали что есть мочи, прыгали, бегали, толкали друг друга плечами... А потом вышло солнце, пробилось сквозь густой туман, стало чуть теплее.

Они легли прямо на траву и снова заснули, счастливые оттого, что не надо им больше дрожать от холода.

Алхузуру снился родной дом, и мать ругала его, что он не выучил уроков. А Кольке приснился брат Сашка, который пришел к кошаре и спрашивал: «Зачем спыш? Смытры, хоры кругом, а ти спыш? Да?» И все дергал за плечо.

Колька проснулся и не мог понять, что же происходит. Над ним стоял Алхузур и еще какой-то мужчина, в рыжей бараньей шубе, в зимней шапке и с ружьем в руках.

— Спыш, да? — кричал мужчина странным переливчатым голосом, который шел прямо из горла. — С руским свиным спыш? Да? А сам чычен, да?

Алхузур тянул его за руку, державшую ружье, это ружье он направлял на Кольку.

Спросонья Колька ничего и не понял. Он глаза протер и хотел подняться, но мужчина пхнул ногой, и Колька полетел наземь, больно ударился плечом.

— Лыжат! — закричал мужчина громко. — Стрылат буду!

Он опять наставил на Кольку ружье, и Колька лег, глазами в землю. Так он лежал и слышал, как кричал мужчина и кричал Алхузур. Но Алхузур громко говорил по-своему, а мужчина отвечал ему по-русски, наверное, чтобы слышал Колька. Чтобы ясно ему было, что его сейчас убьют.

Мужчина гремел:

— Мой зымла! Он на мой зымла приходыт! Мой дом! Мой сад! А я стрылат за то... Я убыват...

— Ма тоха цунна! — кричал Алхузур. — Не убей! Он мынэ от быэц спысат... Он мынэ брат называт...

Мужчина посмотрел на Кольку:

— Хан це хун ю? Разбырат? Нэт? Как зыват?

Колька повернулся. Мужчина посмотрел на Кольку холодно, жестко, и цвет его глаз был такой же стальной, как дуло его ружья, направленного на Кольку.

Колька хотел опять приподняться, но мужчина прикрикнул:

— Лыжат! Отвечат! Хан це хун ю? Хо мила ву?

— Ну, Колька, — сказал Колька, лежа и глядя на мужчину. Он опустил глаза от ружья и увидел, что на ногах у мужчины обмотки и галоши, крест-накрест повязанные лыком. А тулуп у него драный, видать, долго ходил по колючкам. На голове папаха, такая же драная, а тулуп перепоясан блестящим серебряным ремешком... Ну, точно таким, какой был у них с Сашкой. Странно, но именно папаха и ремешок поразили Кольку, который и думать о них не должен, его убивать собирались...

— Колка? — переспросил мужчина. — А зачэм прышел? Хор — зачэм? Чычен слыдыш зачэм?

— Я не слежу, — сказал Колька. — Я вот с ним...

— Ми брат! Ми брат! — выкрикнул Алхузур.

— Со ххеру хех, — сказал горец, повернувшись к Алхузуру.

— Ма хеве со, — отвечал тот.

Горец посмотрел на Кольку, на Алхузура и добавил по-русски:

— Его убит надта! Он будыт быэц прывадыт!

— Ма хеве со, — крикнул Алхузур. И заплакал. Так и было: Колька лежал и смотрел на мужчину, на ружье, а рядом плакал Алхузур. Колька без страха подумал, что, наверное, его сейчас убьют. Как убили Сашку. Но, наверное, больно, только когда наставляют ружье, а потом, когда выстрелят, больно уже не будет. А они с Сашкой снова встретятся там, где люди превращаются в облака. Они узнают друг друга. Они будут плыть над серебряными вершинами Кавказских гор золотыми круглыми тучками, и Колька скажет:

— Здравствуй, Сашка! Тебе тут хорошо?

А Сашка ответит:

— Ну, конечно. Мне тут хорошо.

— А я с Алхузуром подружился, — скажет Колька. — Он тоже нам с тобой брат!

— Я думаю, что все люди братья, — скажет Сашка, и они поплывут, поплывут далеко-далеко, туда, где горы сходят в море и люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата.

Пришел Колька в себя не скоро, он не знал, сколько времени миновало с тех пор, как его убивали.

А может, его уже убили?

Рядом с Колькой сидел Алхузур и по-прежнему плакал. Но горца нигде не было, и стояла в сумерках тишина.

Колька удивился, что Алхузур еще плачет, и спросил:

— Он тебя обидел?

Алхузур услышал голос и заплакал еще сильнее. Он вытирал слезы рукой и полкой ватника, из дырок которого торчала горелая вата. От ватника пахло пожаром. Алхузур выдергивал вату и пускал ее по ветру.

И Колька опять спросил:

— Чего реवेशь? И зачем дергаешь вату?

Тот вытер рукавом лицо и посмотрел на Кольку.

— Я думаю, что ты умират.

— Вот еще придумал!

— Ты глыза закрыват, и так вот: хыр-хыр... — Алхузур изобразил хрип. — А я становится плох... Одын брат нэ брат...

Колька сказал:

— Если он не стрелял, то я живой. Он ушел?

Алхузур показал на горы.

— Он там... Он свой зымла стырыжит... Он ее сыжалт... Он ее лубыт...

— А если бы он застрелил меня? — спросил Колька. И ему вдруг стало холодно. Тоскливо-тоскливо стало. Даже присутствие Алхузура не помешало этому чувству.

Он понял, что его и правда хотели убить. И сейчас он валялся бы тут с выпавшими кишками, и вороны расклевали бы ему глаза, как Сашке. Алхузур посмотрел на Кольку.

— Я плакыт, — сказал он и правда заплакал. И тогда Кольке стало легче, совсем легко. И он стал утешать названного брата и стал объяснять, что им надо породниться по-настоящему.

То есть разрезать руку и смешать кровь.

Они нашли стекляшку, и сперва Колька, а потом Алхузур надрезали на левой руке кожу и потерлись ранками.

— Вот, — сказал Колька. — Теперь мы совсем родные. А отсюда нам надо уходить. Чечены меня все равно застрелят.

Алхузур молчал.

— Давай спустимся обратно, — предложил Колька. — Там внизу теплей.

— Там быэц стрылат, — с боязнью произнес Алхузур.

— А здесь чечен стреляет... — воскликнул Колька.

— Выздэ плох! — Вздохнул Алхузур. — А зычем они стрылат? Ты пынымаш?

— Нет, — сказал Колька. — Я думаю, что никто не понимает.

— Но оны же больше... Оны же умыны... Тэк?

Колька ничего не ответил. Наступил вечер. Они смотрели на горы, сверкающие в высоте, и не знали, как им дальше жить.

Их поймали на склоне, близ долины, где они, обнявшись, спали в кустах. Набрел на них солдатик, свернувший с дороги по нужде.

Когда их стали разнимать, оба они закричали. Алхузур стал кусаться, а Колька извивался изо всех сил и что-то вопил нечленораздельное.

Солдаты из обоза их скрутили, а потом развязали и дали поесть.

Ели они из миски руками и ни на кого не глядели. Они смотрели только друг на друга и переговаривались жестами да мычанием. Ни на какие вопросы ответить они не смогли.

Приехавшая женщина-врач констатировала, что оба мальчика в состоянии дистрофии и невозможно сейчас сказать, будут ли они вообще жить. Кроме истощения, заметны у обоих нарушения психики.

Дети разлучать себя не позволили и поднимали невероятный крик, если одного из них уводили на медосмотр.

А через месяц и десять дней из детской клиники номер шестнадцать города Грозного ребят перевели в детприемник, где держали выловленных и собранных беспризорных перед тем, как отправить их в разные колонии и детдома.

Я запомнил этот дом, размещавшийся на тихой окраинной улочке в деревянном здании бывшей школы.

Здесь никого не учили, но в комнатах стояли парты, и за неимением столов за этими партами нас и кормили, давали привычную затируху: мука с водой да лук, да в редкие удачливые деньки — мерзлую черную картофелинку... Утром два финика к чаю или десять изюминок, вечером кусок протухшей селедки и снова чай. Иногда каша — в праздники и на воскресенье.

В нашей спальне жили дети разных национальностей. Веселый, прыщавый, нескладно длинный татарин Муса. Он любил всех разыгрывать, но, когда ярился, мог и зарезать, становился белым и скрипел зубами. Муса помнил свой Крым, мазанку в отдалении от моря, на склоне горы, и мать с отцом, которые трудились на винограднике.

Балбек был ногаец. Где находится его родина, Ногайя, никто из нас, да и сам Балбек, не знал. Был он низкоросл, скуласт, справедлив. Как-то пытались они разговаривать с Мусой, каждый на своем языке, и даже что-то у них получилось. Оба умели играть в кости. Балбек учил нас ругаться по-ногайски...

Лида Гросс, попавшая в мальчиковую спальню потому, что она одна была девочка, а жить одной в холодной спальне невозможно, просила нас называть ее по-русски: Гроссова. Она знала наизусть все лекарства, была очень аккуратной девочкой и всем убирала постели. Она и пол подметала. О своем прошлом помнила лишь, что жила у большой реки, но однажды ночью пришли люди и велели им уезжать. Мать плакала от страха. А потом в поезде маме стало плохо, и ее вынесли, Лида тоже вышла; ее подобрали, умирающую, где-то в чужом городке, на вокзале...

Еще жили в нашей комнате два брата, Кузьмины, мы их звали Кузьменыши. И хотя не были они похожи, уж куда разней: один светлый курносый, русачок, а другой черный, стриженный и черноглазый, он и по-русски едва говорил... Но Кузьменыши твердили, хоть их никто о том не спрашивал, что они кровные братья!

В соседней с нами комнате жили армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина. А через комнату жили слепые.

Слепые дети жили здесь давно, это можно было понять по тому, что они сами находили дорогу в столовую и спальню, знали свои места за столом и даже могли гулять по улице, вдоль забора.

С одним из слепых мы успели познакомиться, его звали Антоша. Был он мал, лицо его было усеяно черными крапинками, будто дробью. Антон рассказал, что он нашел гранату и пытался ее разобрать. При этом он показал свои руки, где не было трех пальцев на левой руке и двух на правой.

Антон принес книгу, странную книгу с пупырышками и, водя пальцем, прочитал несколько строк.

— Вырасту, заведу попугая и буду на рынке билетки продавать, — говорил Антон. — У нас многие гадают на рынке. Столько заколачивают, ахнешь.

Кузьменыши спали вместе, на одной кровати, был декабрь, бесснежный, но ветреный, в спальне стояла холодина.

Они, как все мы, выжидали, как повернется их судьба.

В детприемниках судьбы поворачивались по-разному: одних отправляли в распределители и колонии, других в детдома, а некоторых в ФЗУ и ремесленные училища, если выходило по возрасту.

Но случались и чудеса; кого-то находили родители или родственники или брали какие-нибудь люди на воспитание, из тех, кто имел жилье и мог кормить и одевать.

По поводу последнего слухов и легенд было особенно много. Да и как иначе! Живешь, живешь, как кролик, выставленный на рынке в корзине: купят или не купят? А тут вдруг появляется волшебник и уводит тебя. Куда — не важно. Важно, что отсюда. И — навсегда.

Фантазия? Но ведь должна же быть у безродных сказка? Как им без веры в сказку жить?

Однажды в распределитель пришла женщина и вызвали к заведующей Кольку. Все как-то возбуждились и старались отираться поближе к кабинету. Вдруг их тоже вызовут. Никто не сомневался, что Кольку хотят усыновить.

Алхузур ни на шаг не отставал от Кольки, но в кабинет его не пустили. Как ни кричал он, как ни скандалил, дверь закрыли, и он остался один.

Впрочем, Колька успел ему шепнуть:

— Не бойся, я без тебя не уеду!

Заведующая детприемником была толстая пожилая женщина Ольга Христофоровна.

Фамилия у нее была Мюллер. Рядом с ней, Колька еще в дверях увидел, сидела Регина Петровна, похудевшая, но красивая. На волосы был накинута платок, в руке — папироса. Ольга Христофоровна сказала:

— Кузьмин? Вот тобой... интересуются!

Колька стоял посреди комнаты с письменным обляпанным чернилами столом, таким же шкафчиком и тремя одинаковыми стульями, глазами он уперся в пол.

— Я так понимаю, вы знакомы? — спросила заведующая.

Колька молчал.

Ольга Христофоровна бросила взгляд на Регину Петровну и добавила:

— Можете поговорить тут...

Она тяжело поднялась и вышла. Из прихожей попытался пробиться Алхузур; он заорал в дверную щель:

«Я тут! Я тут!» Дверь опять плотно прикрыли.

— Ну, здравствуй, — произнесла Регина Петровна и улыбнулась. Папироску она погасила и поднялась навстречу Кольке. Но Колька стоял, не двигаясь и никак не проявляя себя. На лице его было тупое безразличие.

Регина Петровна остановилась на полпути, но, помедлив, все-таки подошла к Кольке и тронула за плечо. Он поежился и отступил на один шаг. Чужая рука ему мешала.

— Ты что? Коля? Ты меня не узнаешь?

— Нет, — сказал он.

— Не узнаешь? — переспросила она с застывшей улыбкой.

— Нет.

Она натянуто рассмеялась.

— Не валяй дурака... Кстати, ху из ху... Ты и вправду Колька?

— Нет.

— Ты Сашка, да?

— Нет.

— А где... другой?

Колька посмотрел на ноги Регины Петровны и вздохнул.

— Ну, садись! Садись! — сказала Регина Петровна и сама села. Колька присел на кончик стула. Но присел так, чтобы можно было в случае чего вскочить и убежать.

— Я ведь вас искала! — Регина Петровна достала папироску и стала ее закуривать. Руки ее дрожали. Колька посмотрел на ее руки и отвел глаза.

— Меня тогда увез Демьян... Иваныч, — продолжала Регина Петровна и глубоко затянулась. — Он приехал на телеге, говорит, ребята пропали. А нам, говорит, надо бежать, чечены в долину прорвались. Мы мужичков положили на телегу, они у меня оба расхворались после дня рождения, и скорей на станцию... На поезд... А потом я пришла в себя, хотела вернуться, но Демьян Иваныч меня не пустил. Там бои, сказал. Там давно никого нет... И вдруг тебя нашли... Кстати, что там за мальчик? — спросила Регина Петровна и кивнула на дверь. — Твой новый дружок? Мне кажется, я его видела...

— Не знаю, — сказал Колька.

Регина Петровна нахмурилась. Лицо у нее потемнело.

— Так и будешь со мной разговаривать? Да?

В это время вернулась Ольга Христофоровна. Медленно прошла к своему столу, спросила, тяжело дыша:

— Ну? Поговорили?

— Да, спасибо, — торопливо произнесла Регина Петровна. — Я к вам, если можно, еще зайду?

— Не очень тяните, — сказала заведующая и посмотрела на Кольку.

— А что? Есть разнарядки?

Заведующая промычала что-то неопределенное. Потом наклонилась к уху Регины Петровны и что-то прошептала.

Регина Петровна удивленно спросила:

— А он откуда?

Заведующая пожала плечами.

— Вот приедут, разберутся. Оттого и держат, и не отсылают.

— Ладно, — сказала Регина Петровна. — Я на днях приду... Ну, до свидания, Коля?

Колька поднял голову. Впервые посмотрел ей в глаза. Так посмотрел, что она не выдержала, отшатнулась. А он не спеша повернулся и пошел к двери.

Уже за своей спиной услышал, заведующая произнесла:

— Это еще цветочки... Вы бы других видели!

За несколько дней до Нового, сорок пятого года уже и елку в классной комнате поставили, и самодеятельность готовили, приехали двое на машине — военный и штатский и тут же торопливо объявили:

— Кузьминых срочно в канцелярию!

Ребята сидели возле кровати Мусы, который вдруг затемпературил, и развлекали его. Балбек рассказывал свои легенды про батыров. Все они у него были одинаковые: батыр вырастает и побеждает врагов, и народ становится свободным.

А тут позвали Кузьменышей, да как-то неестественно громко, как на пожар. Но у дверей Кольку задержали, а Алхузура увели одного. Колька начал стучать в дверь и орать, да так сильно, что дверь отворилась, и мужской голос произнес:

— Ну, пусть войдет! Это даже к лучшему, что оба!

Колька влетел в комнату и увидел, что Алхузур сидит на стуле прямо посреди комнаты, перед ним военный, а другой, штатский, стоит у окна. А этот, лысый, в очках, в блестящих высоких сапогах и с папкой, и говорит, и говорит. Что он говорит, Колька сперва не понял. Потом сообразил, что он пересказывает Алхузуру историю самого Кольки. Откуда только узнал... Оттого и лысый, как Демьян. Лысые ушлые, Сашка говорил. Военный спросил:

— А где вы встретились? Ты и Николай? Вы встретились в Березовской?

Алхузур молчал. Военный повернулся к Кольке, вкрадчиво спросил:

— Ты-то помнишь, где вы познакомились? Я от твоего приятеля не могу добиться.

— Он не приятель. Он мой брат.

— Какой брат? — оживился военный. — Названный?

— Он мой родной брат, — повторил Колька.

— Так уж родной? — насмешливо повторил военный.

— Да.

— Как же его зовут?

— Сашка.

— Это он — Сашка? Да ты посмотри! — И военный сверху двумя пальцами взял Алхузура за виски и силой повернул лицом к Кольке. — Он же черный! А ты светлый! Какие же вы братья?

— Настоящие, — сказал Колька.

Военный шепнул Ольге Христофоровне, и та вышла.

Он продолжал ходить, вышагивал, поскрипывая сапогами, по комнате и будто с разных сторон оглядывал Алхузура. На Кольку он не обращал внимания.

А штатский молчал. Он все время молчал. Его вроде бы и не было.

Вдруг вошла вместе с Ольгой Христофоровной Регина Петровна.

— Садитесь, — предложил, будто приказал, ей военный. — Вы были воспитательницей в колонии под Березовской?

— Да, — тихо ответила Регина Петровна и посмотрела на Кольку. Какой-то жалкий, просящий был у нее на этот раз взгляд.

— Вы помните братьев Кузьминых, которые жили там?

Регина Петровна кивнула.

— Хорошо помните? — спросил военный и сердито посмотрел на Регину Петровну.

— Да. Помню, — отвечала она.

— Вот посмотрите... Вы их узнаете? — И военный повел рукой в сторону Алхузура. Колька стоял сбоку.

— Да, — едва слышно произнесла Регина Петровна.

— Это кто? — И военный ткнул пальцем в сторону Кольки.

Регина Петровна помолчала, назвала:

— Кажется... Это Коля.

— Ага, — кивнул удовлетворенно военный. — А это? — И указал на Алхузура.

Регина Петровна продолжала смотреть на Кольку.

— Я думаю... — начала она и запнулась.

— Вы думаете? Или вы знаете?

Регина Петровна молчала.

— Но я вас слушаю! Слушаю! — громко проговорил военный и многозначительно посмотрел на штатского. Тот никак не реагировал.

— Это... Саша... — слабым голосом произнесла Регина Петровна.

— Вы уверены, что он именно Саша, его брат?

Регина Петровна едва кивнула.

— Вы хорошо подумали, отвечая на мой вопрос? — Военный прошел за спину Регины Петровны и теперь разговаривал с ней, как бы обращаясь к ее затылку. Регина Петровна, испугавшись, рывком обернулась к нему.

— Что? — спросила она, и тут же повторила, чуть суетливо: — Да. Ну, конечно, уверена. Их, правда, было много, и я их сперва путала...

— Значит, можно предположить, что вы и сейчас способны спутать? — нависая над головой Регины Петровны, настаивал военный. Даже Колька устал от его прямолинейно-твердого тона. Будто их всех, допрашиваемых здесь, перепиливали одной тупой пилой.

Регина Петровна вздохнула. Ей, наверное, очень хотелось курить.

— Нет, я думаю, что я...

— Опять думаете! А вы не думайте! — посоветовал вдруг, усмехнувшись, военный. — Вы же воспитательница, да? И небось учили детишек не лгать? А как же вы теперь — да еще при них! — лжете?

— Я не лгу, — как провинившаяся школьница произнесла, потупясь, Регина Петровна.

— Вот и отлично! — произнес военный и сделал несколько шагов по комнате. — Так вы говорите, что способны спутать детей, и поэтому вы не уверены, что здесь, перед вами, братья? Я вас правильно понял?

Регина Петровна не отвечала.

— Так, да? — Военный повысил голос и вдруг прикоснулся рукой к затылку Регины Петровны. Она дернулась, но не отстранилась.

— Нет, — произнесла и поглядела на Кольку.

— Что, нет! Что, нет! — крикнул военный и стукнул ладонью по папке, которую держал в руке. Раздался громкий хлопок. Все вздрогнули.

— Нет... То есть я могу... Я хочу сказать... Что они... Что они... братья...

Военный уже не слушал ее, складывал в папку бумажки.

Не простившись, он вышел из комнаты, было слышно, как отъехала машина.

Остальные остались в комнате. И штатский остался.

Все молча ждали, что он скажет, а он тоже молчал. Создалась мертвая пауза.

Ольга Христофоровна решилась к нему обратиться:

— А у вас... простите, никаких вопросов?

Человек даже не шевельнулся. Он продолжал смотреть в окно, будто это не к нему обращались. Но вдруг повернулся, сказал через сомкнутые губы:

— Дайте, пожалуйста, список.

— Список детей? — спросила заведующая. Он протянул руку, не пытаясь ничего объяснять, и Ольга Христофоровна подала ему листок.

Он быстро, мельком заглянул и поинтересовался:

— А вот этот Муса? Он что, татарин?

— Да, — сказала Ольга Христофоровна. — Он сейчас тяжело болен.

— Откуда? — спросил штатский, пропустив мимо ушей про болезнь. — Не из Крыма случайно?

— Кажется, из Казани, — ответила заведующая.

— Кажется... А Гросс? Немка?

— Не знаю, — сказала заведующая. — Какое это имеет значение? Я тоже немка!

— Вот я и говорю. — Голос у штатского звучал очень ровно, в нем было что-то тихое, бесшумное почти, будто два крыла сзади шелестели. Все в нем понравилось бы Кольке, только губы, тонкие, чуть кривые, жили как бы сами по себе, и в них, в том, как они изгибались, было что-то чужое, холодное.

— Понабрали тут, — повторил человек и бросил список прямо на стол, хотя Ольга Христофоровна, уловив его движение, уже протянула руку.

— Мы их не набираем, — сказала Ольга Христофоровна. — Мы их принимаем.

— Надо знать, кого принимаете! — чуть громче произнес человек, и опять же никакого зла или угрозы не было в его словах. Но почему-то взрослые вздрогнули.

И только Ольга Христофоровна упрямилась, хотя видно было, что она больна и ей тяжело продолжать разговор.

— Мы принимаем детей. Только детей, — отвечала она. Взяла список и будто погладила его рукой.

На следующий день всех детприемовских, в том числе и слепых, повели в театр. Шли попарно, зрячие вели слепых. В театре открылся занавес и началось волшебство под названием «Двенадцать месяцев».

Колька сидел рядом с Антоном, по другую сторону сидел Алхузур. Они пытались пересказывать Антоше все, что видели на сцене, но это было так трудно! Злая мачеха велит своей падчерице принести зимой красных ягод земляники, и девочка уходит в ледяной лес. Она замерзает от холода, но вдруг... Как бы Колька описал это, если вдруг прямо посреди поляны загорелся, вспыхнул огромный костер и вокруг него сидели двенадцать месяцев.

Алхузур онемел от восторга, а Колька рот открыл, и слюнка потекла.

Антоша же дергал их за руки и просил: «Ну что там? Что там?» Никогда ребята не были в театре и выходили будто пьяные. Дорогой Колька молчал, боялся со словами растерять что-то из увиденного.

Вечером всем раздали — сама Ольга Христофоровна это делала — по конфетке, по два печенья и по два бублика — такой шикарный подарок, и всех зрячих выстроили по одну сторону елки, а слепых напротив. Слепые спели им песню про елку, а потом Ольга Христофоровна громко закричала:

— Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

Все ребята закричали «ура!» Даже больной Муса слышал из своей спальни этот крик, тоже подхватил его.

А потом зрячие ребята выступали, каждый с чем мог, а Колька стал читать стихи... Про тучку золотую.

...Но остался влажный след в морщине

Старого утеса...

Колька замолчал и посмотрел на слепых: они, вытянув шеи, напряженно слушали. Будто боялись пропустить даже его молчание... А оно затягивалось, потому что у Кольки перехватило дыхание и сжало горло. Он никак не мог выговорить слово «одиного»... Хотелось заплакать.

Он вдруг понял вот сейчас, стоя перед слепыми, что кончилась его кавказская жизнь, а завтра, как им сказали, их повезут куда-то, где будет у них совсем другая жизнь.

Сбоку елки стоял Алхузур и тоже смотрел на Кольку. Уже стали подсказывать слова, но он не выдержал и убежал в коридор. А слепые зааплодировали ему вслед.

Утром их подняли раньше обычного, часов в шесть. Даже Мусу заставили одеться, его отправляли тоже. Оставались лишь слепые. Но когда всех выстроили, чтобы вести на станцию, откуда-то появился Антон и закричал:

— Кузьменыши! Вы здесь? Вы здесь?

— Антон! — крикнул Колька и выскочил из строя. Антон нашел руку Кольки и протянул бумажку. На ней было выколото пупурышками на языке слепых.

— Это тебе гаданье на будущее! — сказал Антон и улыбнулся, как улыбаются только слепые: куда-то в пространство.

— Но я же не прочту, что тут написано!

— Приходи на рынок, если попадешь в наш город! — сказал Антон. — Я там буду! Я тебе прочту! Ты хороший человек, Коля!

— Дети, на место! — крикнула Ольга Христофоровна. Это относилось, конечно, к Кольке. — Всем идти за мной.

На улице было холодно. Мела поземка. Вокзал был пустынен. Ребят разместили в поезде, в пустом неубранном вагоне. Никто никуда, кроме них, не ехал в этот первый день нового года.

Колька показал Алхузуру на две самые верхние полки и сказал: «Это наши. Мы так с Сашкой ездили».

В это время в вагон зашла Ольга Христофоровна и крикнула:

— Коля! Тебя там спрашивают!

— Кто? — недовольно буркнул Коля, не желая отходить от Алхузура.

— Выйди! И узнаешь! — сказала Ольга Христофоровна. Тяжеловатой походкой она двинулась дальше по вагону, проверяя, все ли нормально устроились.

— Муса, тебе не холодно? — спросила она татарина.

Муса ежился, но жаловаться не хотел. Да в общем-то он радовался, что тоже куда-то едет. Чего бы это он оставался один...

Колька вышел в тамбур и увидел у вагона Регину Петровну. Она держала в руках свертки. Бросилась к Кольке, но споткнулась. А он смотрел из тамбура. Смотрел, как она торопливо поднимается по неудобным ступенькам, чуть не роняя свертки.

— Вот! — запыхавшись, произнесла она. — Это костюмы! Ну те, которые вам с Сашкой! —

И так как Колька молчал, она просительно закончила: — Возьми! Там на новом месте...

И положила свертки на пол рядом с Колькой. Они помолчали, глядя друг на друга.

— Я не знаю, куда вас везут... — произнесла она, глядя на Кольку. — Почему-то держат в секрете... Ерунда какая-то. Но ты еще подумай. Может, останешься с нами? Мы с Демьяном Ивановичем обсудили, он не против взять тебя... — Она поправилась: — Тебя... и этого мальчика...

Колька покачал головой.

Регина Петровна вздохнула. Стала доставать папироску, но сломала ее и выбросила.

— Ну, ладно, — сказала она. — Может, ты напишешь? Когда приедешь на место?

Колька опять покачал головой.

Регина Петровна вдруг протянула руку и погладила его по голове. Он не успел увернуться.

— Ладно. Прощай, дружок! — пошла и вдруг обернулась — Ты мне можешь ответить на один вопрос?

Колька кивнул. Он знал, о чем она спросит, и ждал этого вопроса.

— Где твой брат? Я говорю про настоящего Сашку... Где он?

Колька посмотрел в глаза этой самой красивой в мире женщине. Как он ее любил! Как они оба любили! А теперь... Сашка, может, и простил бы ее бегство, но Колька не мог... Но и не ответить он не мог. И тогда он сказал:

— Сашка уехал.

— Далеко?

— Далеко.

— Ну, слава богу! Жив, значит... — вырвалось у нее.

Регина Петровна спрыгнула с подножки: поезду дали отправление.

А Колька сразу же бросился в вагон, про свертки он и не вспомнил. Он боялся, что без него Алхузуру будет плохо.

Но Алхузур смотрел в окно и о чем-то думал. Теперь оба стали смотреть в окно. Там стояла женщина, и, хоть задувал ветер и ей было холодно, она смотрела на вагон и не уходила.

Наконец поезд отправили.

Вагон дернулся и медленно поехал. Женщина стала махать рукой.

Колька приблизил лицо к стеклу, чтобы еще раз, последний, посмотреть на Регину Петровну. Ему показалось, что она что-то закричала. Он покачал головой. Это означало, что он не слышит. Но она могла понять и по-другому. И все-таки она продолжала кричать, ускоряя свой шаг. А потом она побежала...

Платок у нее съехал на шею, обнажив черные волосы. И пальто ее расстегнулось. Она ничего этого не чувствовала. Она бежала, будто догоняла свое счастье... И кричала, кричала...

И тогда Колька помахал ей и кивнул, будто что-то понял. Больше он ее не видел. Он забрался на полку, лег рядом с Алхузуром и обнял его. И почему-то заплакал, прижимаясь к его плечу. Алхузур утешал его, он говорил:

— Зачым плакыт! Нэ надо... Мы будыт ехыт, ехыт, и мы приедыт, да? Мы будыт вместе, да? Всу жыст вмэсты, да?

Колька не мог остановиться, он плакал все сильнее, и только поезд стучал колесами, что-то подтверждая: «Да-да-да-да-да-да...»

1981

«НАС БЫЛО ДВОЕ: БРАТ И Я...»

Когда книга, нарушив незримую границу, вторгается в твою жизнь, она вызывает встречный поток воспоминаний и ассоциаций, еще прочнее связывающих тебя с ней, с этой книгой. Поэтому разговор о повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» начну с мемуарного отступления.

Шел третий месяц войны, когда до нас, солдат без году неделя, докатилась весть о ликвидации республики немцев Поволжья. Вестей, вызывающих растерянное «Не может быть!», всегда хватало с лихвой. Но и эта задела за живое. Не так, как горькие сообщения с фронта, однако достаточно ощутимо, и было решено, что, воспользовавшись увольнительной, я поеду в Ленинскую библиотеку (полк стоял под Москвой) и своими глазами прочитаю указ в «Ведомостях Верховного Совета»...

С годами этот факт если и не забылся полностью, то отступил на задворки памяти. Гораздо позже во фронтовых мемуарах начали попадаться вопросы: почему во время войны вошло в обиход вместо «фашисты» говорить «немцы», «фрицы»?

Риторические вопросы тонули среди других — высказанных или безгласно копившихся в душе. Пока один из них не был оживлен новым эпизодом. В конце шестидесятых, когда я угодил в больницу, в палату вошел человек, в память о котором мы, однополчане, поднимали рюмку на ветеранских встречах. Не было в дивизии разведчика отважнее, ловчее в своем деле Василия Фисатиди. После тяжелого ранения в Карпатах след Фисатиди потерялся. Зная, насколько Вася надежен в дружбе, все решили: умер в госпитале.

Сложнейшими путями в 1968 году он разыскал мой адрес, а когда узнал об инфаркте, прилетел из Казахстана в Москву.

— Почему ты в Казахстане? Почему не давал о себе знать?

— Потом, потом... Когда приедешь в Кентау...

Через год я приехал к нему, недели две прожил в крепком каменном доме, на улице, где поселились черноморские греки, не по своей воле попавшие в Казахстан. Пока это пребывание оставалось вынужденным, гордость не позволяла Фисатиди напоминать однополчанам о себе. Когда ограничения были окончательно сняты и многим пионерским дружинам в Казахстане присвоили имя Фисатиди, в Алма-Ате вышла о нем книжка, — лишь тогда он счел возможным восстановить связь с фронтовым товарищем...

Ответственность непосредственных виновников произвола не должна создавать у всех остальных сладостное чувство собственной безгреховности: «Мы не ведали, не понимали, были заняты другим...» «Не знали, не ведали...»? Ну так получайте...

С невосполнимым опозданием получаем мы правду; нехватка ее — в основе многих наших бед.

Повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» — это война, ее уголок, не освещенный ни вспышками «катюш», ни россыпью победных фейерверков; тайна, порожденная не фронтовой необходимостью, но гнусностью замысла и осуществления. Теперь-то мы все видим, теперь читаем у А. Приставкина о детдомовцах-близнецах Кузьменышах, отправленных из Подмосковья в благодатный край — на Кавказ, где сказочно тепло и сытно.

Голод, испепеляя человеческую душу, превращает ее в пустыню, сводит все мысли, желания, надежду к одному — наесться досыта.

Души в повести детские; судьбы, искореженные войной, сиротством, уголовщиной. Беспризорный, беспощадный мир. Со своими законами и своим беззаконием. Но и за детдомовской оградой справедливость, правда не в чести. Не только малолетние герои, находящиеся рядом с ними взрослые, но и мы, сегодняшние читатели, минутами испытываем оторопь. Сам писатель не без удивления вспоминает свое нищее детство, бродяжничество; неужто так было? Было со мной, было с Кузьменышами, было с переселенцами, было с изгнанными чеченцами? То же чувство сопутствует А. Приставкину, когда он рассказывает о России, пришедшей в движение, — все спешат, едут. На Кавказе, куда привезли бездомных сирот, созревают поля, зреют яблоки, цветут цветы. И нигде ни одного человека. Тишина, пустота усиливают недоумение, страх. Когда выстрелы и взрывы нарушат тишину, до ясности будет еще дальше.

Все тягостно переплелось, у каждого своя правда, исключая чужую. Нет единой, всем одинаково необходимой правды. К ней-то идет А. Приставкин, вовлекая и нас в неторопливое, подспудное движение мысли. Так не согласующееся с полной драматических происшествий, хулиганских выходок, утрат и обретений жизнью колонистов. Несмотря на голод и страх, несмотря на привычку и необходимость обманывать, изворачиваться, воровать, они остаются детьми, одновременно жадными и щедрыми, трогательно наивными и не по годам умудренными. Взаимоисключающие свойства не уравниваются, находясь в постоянном противоречии, и если взрослые в повести более или менее определены, у каждого своя краска, позволяющая составить о нем твердое представление (пожалуй, слишком твердое и слишком быстро), с детьми так не получается. Они непредугадываемы, как и события, свидетелями, участниками которых им суждено стать. Это совсем не те интригующие «вдруг», что чаще всего придают увлекательность повествованию о детских затеях и шалостях, не романтика блатного сообщества малолеток, лихой мордобой и непременно торжество юного Робин Гуда. Это трагедия ребенка, делающего свои первые шаги, не понимая, что творится вокруг, почему невинно гибнут люди — близкие ему и далекие. Далекие могут стать близкими, а близкие, вроде директора подмосковного детдома, — отъявленными врагами. А. Приставкин приводит подлинную фамилию жулика-директора, запомнившуюся ему на всю жизнь. Подлинные фамилии носят и колонисты. Писатель не отказывается от слабой надежды: кто-нибудь уцелел, откликнется... В повести он един в двух лицах — автор, составляющий мучительную картину, и — колонист, один из Кузьменышей, собственным бесприютным детством оплативший право на местоимение «мы».

«Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. Еще наши глаза, не привыкшие к черной ночи, хранили на своей сетчатке красные блики пламени. С непривычки могло показаться, что повсюду из черноты выглядывают языки огня. Даже ступать мы старались осторожно, чтобы не греметь обувью. Мы затаили дыхание, старались не кашлять, не чихать».

Сделав выписку, я подумал: право на «мы» обернулось для А. Приставкина обязанностью. «Молчаливая плотная масса» словно бы делегировала его в грядущие десятилетия: пусть поведаст о ней, об этой ночи, озаренной пламенем подожженного дома и пылающего

«студебеккера». Не потому лишь, что он уцелел (до сих пор оставались тщетными его попытки отыскать хотя бы одного детдомовца; на сотню запросов не поступило ни одного ответа) и сохранил кровоточащую память. Понадобились вполне определенные, годами шлифовавшиеся писательские и человеческие свойства, определенный строй мыслей, когда чужая правда (поджог совершили чеченцы, которые скрывались в горах) вызывает не слепую ярость, но сосредоточенность взгляда, желание понять и ее. Это нелегко и доступно далеко не всякому даже одаренному художнику. Куда проще дать волю мстительности, счесть виновником твоей беды того, кто сам оказался жертвой. Его беды — не твоя печаль, тебе хватает своих собственных бед и печалей.

Но именно такую, будто напрашивающуюся, житейски довольно распространенную позицию А. Приставкин отвергает с категоричностью, делающей ему честь.

«Это потом тот, кто уцелеет, взрослым переживет все снова: ржание лошадей, чужие гортанные голоса, взрывы, горящую посреди пустынной станицы машину и прохождение через чужую ночь».

Давний ночной страх возбуждает новые, теперешние опасения:

«Возможно ли извлечь из себя, сидя в удобной московской квартире, то ощущение беспросветного ужаса, который был тем сильнее, чем больше нас было! Он умножился будто на страх каждого из нас, мы были вместе, но страх-то был у каждого свой, личный! Берущий за горло!»

Дальше в отрывке сказано:

«И конечно, мы были на грани крика! Мы молчали, но если бы кто-то из нас вдруг закричал, завыл, как воет оцепленный флажками волк, то завывали бы и закричали все, и тогда мы могли бы уж точно сойти с ума...» На грани крика, на грани безумия... Грань эта будет переступлена. Ночной кошмар, гибель «шоферицы Веры» — еще не крайняя точка, где человеку — взрослому ли, малолетнему — удастся сохранить трезвый взгляд.

Кузьменышей ожидает такое, о чем невозможно догадаться в начале повести, с первых страниц не обещавшей легкого, беспечального чтения. Какая тут легкость, когда подмосковный детдом живет одной исступленной думой «вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурмнящий хлебный запах». Даже о хлебных крошках не мечталось. За корочку хлеба малыши продавались в рабство к сильным уркам на месяц, два. И Кузьменыши продавались. Только всегда вдвоем. Одиннадцатилетние близнецы неразлучны. Неразлучность помогала им выжить, сносить все напасти, сообщая мошенничать, воровать, устраивать проделки, которые одному не по плечу. Они всегда вместе — четыре руки, четыре ноги, две головы — и до того похожи: никто не отличит — Колька это или Сашка. Близнецы. искусно всех морочили, и даже когда не было необходимости, один выдавал себя за другого. Обманывая, делали увереннее: выручая друг друга, было легче уцелеть в гибельных обстоятельствах.

Об этих обстоятельствах А. Приставкин говорит с обезоруживающей непосредственностью. Годы не избавили от изумления перед чудом; как же я все-таки уцелел? Все сходилось к одному: крышка.

Не вдаваясь в рациональные объяснения, он, только что рассказывавший о нравах, стараясь сберечь их подлинность, о блатной музыке, круто перестраивается на

метафорический лад, возможный, когда издали всматриваешься в беспросветное прошлое. «Летим в неизвестность, как семена по пустыне. По военной — по пустыне — надо сказать. Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем... А прольется ласка да внимание — живой водой прорастем.

Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной, да ведь и спросу-то нет. Можем и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит. Нет, значит, не было. Значит, не надо». После наперченного блатного фольклора — исконно сказочная, прозрачная «живая вода», «чахлая веточка», «былинка». И никакой искусственности перепада, когда уши закладывает, как в самолете, угодившем в воздушную яму, ни малейшей нарочитости.

Никому не нужными семенами летят через войну, через разрушенные земли Кузьменыши. Они умеют выйти если и не сухими из воды, то хотя бы не пойти ко дну, не пустить пузыри. Родство по крови переходит у них в редкое, никем, кроме Регины Петровны, не замечаемое родство душ. Да и умная, сердечная Регина Петровна — вдова летчика с двумя малышами, тоже занесенная ветром войны в край, откуда изгнаны чеченцы, — понимает братьев не до конца. Они, почитая среди взрослых одну лишь ее, готовые ради нее пойти на что угодно, даже поделиться своей заначкой, до конца не откроются и ей. Скрытность стала самой натурой. Близнецы откровенны только друг с другом. Откровенность не в излияниях и объяснениях, но в том внутреннем единении, которое реально тогда лишь, когда один настолько дополняет второго, что они по отдельности не мыслят, не представляют собственного существования. Вопрос такой не возникает, он за пределами предположений. Беда сближает тех, кто попал в нее. Но порой и разобщает. Степень сближения тоже бывает разная. И если бы мы вообразили, будто беспощадная житейская необходимость сделала Кузьменышей неразлучными, то увидели бы в них немногим больше, чем Регина Петровна. Она догадывалась о надежности мальчиков, о подавленной их доброте, самоотвержении. Но обычные мерки применяла там, где начиналась область запредельного.

А. Приставкин благодарно написал Регину Петровну; возможно, женщина, послужившая ему прототипом, достойна такого к себе отношения. Она увидела в детях детей и пыталась открыть им существование радости. Но и не догадываясь, что на свете бывает жизнь без голода, воровства и обмана, без вечной скрытности и заначек, что у людей бывают, например, дни рождения, они знали ту степень непредубежденной людской взаимозависимости, о которой Регина Петровна не подозревала. Так ведь и трудно подозревать. Взаимовыручка Кузьменышей объяснима. Это — благодаря обстоятельствам. Взаимозависимость — вопреки. Легче жить без обременительного, труднообъяснимого чувства. В войну, выходит, рождалось и то, что шло ей наперекор. Могло родиться и в таких изломанных, но не растленных душах, какие сохранились у близнецов.

Когда на станции Кубань эшелон с беспризорниками встречается с глухо зарешеченным эшелоном, где изнывают взаперти черноглазые люди, именуемые солдатом-охранником «чечмеками» (в таком же наглухо закрытом поезде, без воды и пищи, везли в Казахстан черноморских греков...), Колька, не понимая, что просят воду, протягивает ладонь с ягодами терновника. На естественный порыв способен только мальчонка-беспризорник.

Станция живет своей жизнью, не желая слышать крик и плач из запертых теплушек, из репродукторов доносится; «Широка страна моя родная...» Печально завершается и эта глава, намекая на роковую неслучайность встречи двух эшелонов.

«Наши поезда постояли бок о бок, как два брата-близнеца, не узнавшие друг друга, и разошлись навсегда, и вовсе ничего не значило, что ехали они — одни на север, другие — на юг.

Мы были связаны одной судьбой».

Но не сразу Кузьменыши ощутят эту связь. Понадобятся десятилетия, прежде чем до конца осознает ее Анатолий Приставкин. А когда он о ней напишет, уйдет еще шесть лет, прежде чем повесть напечатают. Связь эта — пусть простят невольный каламбур — связана со многими другими событиями. Такие клубки труднораспутываемы, нити тянутся издалека и далеко уходят. Скажем, в декабрьскую Алма-Ату 1986 года, в Степанакерт и Сумгаит 1988 года...

Позорно привычное «чечмек» служило спасительным для солдата. На политзанятиях ему втолковывали про дружбу народов. Но как было самому себе объяснить, что один из народов, составляющих неделимо дружную семью, — изменник?.. Это не народ, приходилось думать ему, это «чечмеки». Человек, открывший существование народов-изменников, слыл специалистом по национальному вопросу. Был он также специалистом в языкознании, экономике, военном деле и т. д. Но свое открытие, касавшееся народов-ренегатов, почему-то не афишировал. Однако оно и без того оседало в головах нелепым и небезопасным вздором, оскорбительными кличками, «теориями» о «национальной вине», «национальных болезнях» и т. д...

Нет ли в том противоречия: отвергая «национальную вину», признавать коллективную ответственность? Нет. Вина понимается как категория юридическая, ответственность же в данном случае — категория нравственная.

Студенты из ФРГ, приезжающие в Освенцим убирать лагерную территорию, делают это по собственной воле, так понимая «акцию искупления» и так противостоя тем своим соотечественникам, что наведываются сюда же, дабы возложить цветы к месту казни главного освенцимского палача Гесса...

Русские переселенцы — разъясняет Кузьменьям тетка Зина — тоже не по доброй воле приехали в товарняке под щедрое кавказское солнце; и они числились «изменниками». Тетка Зина — явная «изменница»; ее дочку изнасиловал немец, так сказать, принудил к сотрудничеству...

Вероятно, специалист по национальному вопросу не настаивал на своем открытии теории о «народах-изменниках», поскольку приоритет принадлежал не ему и до конца превратить теорию в практику не удалось — не удалось покарать целиком все народы за то, что и среди них попадались предатели, перебежчики.

Когда восстановили автономию чеченского и ингушского народов, несколько тысяч ингушей и чеченцев удостоились боевых наград, 36 человек — звания Героя Советского Союза. Но это — в 1957 году, а в сорок четвертом укрывшиеся в горах чеченцы уничтожили детский дом. Сашка погиб смертью чудовищной, изуверской.

Приходилось слышать мнение: зачем было изображать такую гибель ребенка? Не возбудит ли это ненависть к чеченцам?..

Сцену, написанную А. Приставкиным, не часто встретишь в нашей литературе. Колька своими глазами увидел, какую смерть принял его брат. От увиденного помутился рассудок. Но поддастся ли мальчик озверению или сохранит сердце? Жестокость нередко рождает ответное чувство мести. Где конец зловещей цепи, в которой всегда кто-то заинтересован, кому-то она на руку?..

Когда Колька везет на тележке мертвого брата с выклеванными вороной глазами, он будто действует по инерции, осуществляет прежний их план удрать с гибельного Кавказа. Сашка для него еще живой, и он хочет, чтоб тому было удобно в тележке, а в собачнике, железном ящике под вагоном, не было холодно. Но его сбивчивые мысли уже шли дальше, он пытался понять, почему убили Сашку. Недоумения в этих мыслях больше, чем гнева. Колька вел воображаемый разговор с убийцей: «Слушай, чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем! Нас привезли сюда жить, так мы и живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь, видишь, как выходит... Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты — погибнете. А разве не лучше было бы, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтоб жили?..» Колькины рассуждения настолько бесхитростны, что едва не отдают юродством. (Часто юродивые-то и выкладывали правду, утаиваемую от народа или недоступную вполне здравомыслящим людям.) Колька, привыкший быть для Сашки руками и ногами, на извечный вопрос: «Ты Колька или Сашка?» теперь отвечает: «Я — обои». В новом своем качестве Колька странен. А как остаться не странным, пережив такое? И А. Приставкин передал этот сдвиг. Странность усиливается «новым Сашкой», появляющимся взамен мертвого, которому так и предстоит вечно колесить по стране в железном собачнике. «Нового Сашку» зовут Алхузур — это чеченец, сверстник Кольки. Такой же одинокий, неприкаянный сын войны, лишившей его крыши и родителей. В придачу — права жить в родимом краю.

Они сближаются, когда заболевший Колька в бреду зовет брата, а над ним склоняется Алхузур, на ломаном русском языке уверяя: я и есть «Саск». Заботой, смелостью, готовностью делить любые опасности Алхузур доказывает свое право стать Колькиным братом, называться Кузьменышем.

Привычные представления о возможном и невозможном окончательно теряют силу, непреложность. Теряют потому еще, что Колька и Алхузур ведут себя, не сообразуясь с правилами, заповедями, каких придерживаются взрослые. Непосредственное побуждение берет верх, знакомое уже нам чувство взаимовыручки в беде, одинаково угрожающей двум мальчикам — русскому и чеченцу. Все должно было распалить ненависть, жажду мести до седьмого колена. А возобладала братская любовь. Любовь помогла выжить прежним Кузьменышам, помогает и новым. В новом Кольке нет былой легкости, надежды на Сашкину подсказку, позволяющую сообразить, как говорит Регина Петровна, ху из ху. Сам он должен соображать, выбирать, решать, а Регина Петровна лишается былого ореола. Теперешний Колька не прощает ей отступничества, даже если оно было отчасти вынужденным, и сейчас она хочет, робко пытается искупить свою вину, выгородить Алхузур, уверяя, что он —

Сашка.

Настоящий Сашка, может, и простил бы Регине Петровне ее бегство. Колька после Сашкиной гибели не прощает. Он сделался не ожесточеннее, но суровее, непреклоннее. В нем проступает судья.

В Кольке это лишь черточки, в Алхузуре символ преобладает над живой плотью, характером.

Не думаю, будто так получилось независимо от писательских намерений. К концу повести идея потребовала более наглядного, прямого и вместе с тем обобщенного выражения. Нечто сходное, вероятно, испытывали авторы иных знаменательных повестей и романов последнего времени; властное «Не могу молчать» побудило к публицистическим монологам. Но там — нынешний день, его драмы и трагедии. У А. Приставкина — прошлое, ставшее уже далеким; Колькин сверстник вспоминает Колькино, иными словами, свое детство — не одни лишь эпизоды, встречи, стычки, но и чувство, вынесенное из этого охваченного пламенем ужаса. Он не делает вид, будто бывшее поросло быльем. (Его интервью «Московским новостям» так и называется: «Что было — то было, но быльем не поросло».) Не поросло — значит, присутствует в нашей жизни не только памятью о минувших временах, но и настроениями, взглядами тех времен. Если настроения, взгляды, то, вероятно, и люди, сберегающие их.

К концу повести замечаешь: в начале ее писатель неспроста назвал подлинную фамилию, имя, отчество директора детского дома. И не потому лишь, что испытывал потребность сказать о «жирных крысах тыловых», которые наживались где угодно, на чем угодно и способны были обворовывать вечно голодных сирот. (Вспомнилась пословица тех дней: «Кому война, кому — мать родна».) Не стал бы А. Приставкин, чуждый мстительности, высказывать свое непростительное человеку, который коль и дожил до наших дней, то давно ходит в пенсионерах и никому не в состоянии принести зла. Впрямь не в состоянии?

В гневных строчках, посвященных директору-жулику, встречается слово, употребленное вроде бы не совсем по адресу, — «наполеончик». Но брошено оно неспроста и уж никак не в ослеплении. В него вложен смысл, доходящий до нас, уже когда мы читаем последние главки. Одна из них начинается встречей в бане, в Лефортове, продолженной в стекляшке неподалеку, где всласть, со смаком попарившиеся, вполне крепкие пенсионеры балуются пивком и ведут откровенные разговоры, благо чувствуют себя среди своих, узнают друг друга с первого взгляда, понимают с полуслова.

Описана эта встреча с холодной яростью, когда все замечается и всяко лыко в строку; и не символы нужны повествователю, а сами «наполеончики», живущие своими

«Аустерлицами», ни о чем не сожалея, ни в чем не раскаиваясь, неизменно уверенные в своей правоте и правоте того чей приказ они ревностно исполняли в кавказских боях. Нет, не с немцами, прорвавшимися к Клухорскому перевалу и Новороссийску, — с безоружными ингушами и чеченцами.

«Всех, всех их надо к стенке! Товарищ Сталин знал, за что стрелял! Не добились мы их тогда, вот теперь хлебаем».

Откуда это настороженное внимание писателя к речам, прозвучавшим за пивной кружкой?

Сорок лет жгла его память о детском доме — вначале подмосковном, потом — кавказском. Начни эта память ослабевать, пенсионеры из стекляшки с пивными автоматами ее бы оживили. И все-таки тревога, рожденная собственной памятью о прошлом и воспоминаниями пенсионеров о том же прошлом, — это тревога о будущем. Настоящий писатель не садится за стол, обратясь затылком к завтрашнему дню. Мысль А. Приставкина вызревала давно и теперь отлилась в исповедально-обличительные слова, раскрывая опасность замшелых «наполеончиков». Они не смеют пожаловаться на отсутствие наследников. Среди наследников попадают и притаившиеся, терпеливо надеющиеся на свой час, и воинственно откровенные, вроде, скажем, Обера-Кандалова из айтматовской «Плахи», все тем же именем творящие свои новые злодеяния.

Откуда их живучесть, неколебимая уверенность в давней, нынешней и — вот что поразительно — будущей правоте?

С горестной задержкой ищем мы ответ на этот вопрос, начиная сознавать размеры опасности, не укладывающейся в период, отведенный для нее задним числом, в надежде, будто достаточно такой период снабдить соответствующей рубрикой, и все дурное останется позади.

«А ведь, не скрою, — пишет А. Приставкин, завершая рассказ о пенсионерах из пивной, — приходила, не могла не прийти такая мысль, что живы, где-то существуют все те люди, которые от Его имени волю его творили.

Живы, но как живы?

Не мучат ли их кошмары, не приходят ли в полночь тени убиенных, чтобы о себе напомнить?

Нет, не приходят.

Поиграв с внучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Печать, наложенная их профессией, видать, устойчива.

И сплачиваясь, в банях ли, в пивных ли, они соединяют с глухим звоном немые кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее.

Они верят, что не все у них позади...» Не только в банях и пивных, и не только те лишь, кого могут, но не мучают тени убиенных. Кем, скажем, на склоне лет стал солдат-охранник, в чьей молодой еще голове перемешались понятия «дружба народов» и «чечмек»? Какую веру он старался привить своим детям?

А мемуары, повести, статьи, где соблюдается никого не обманывающее «равновесие», призванное изобразить авторскую бесстрастность и скрыть тоску по «твердой руке»?

Кстати, авторы эти тоже безошибочно узнают друг друга по им очевидным приметам. Впрочем, приметы очевидны не только им...

Не забота литературы определять степень чьей-либо вины, сообразуясь со статьями уголовного кодекса. По всей видимости, благополучное пребывание на «заслуженном отдыхе» людей, заслуживающих хотя бы публичного осуждения, не лучшим образом сказалось на моральном климате, не приструнило Обера-Кандалова и потенциальных «оберов».

Но искусство наше все-таки указало, как идти к оздоровлению, нравственному очищению. Тенгиз Абуладзе назвал это «Покаянием».

Мы сильно бы упростили идею Т. Абуладзе, или Ч. Айтматова, или А. Приставкина, вообразив, будто покаяние — удел только Варлама, пенсионеров с пивными кружками, преступников, коих пытается наставить на путь истинный Авдий Каллистратов. В фильме, романе, повести выявлена та стадия извращенности, когда низость рисует себя отвагой и высшей верностью. Раскаяние исключено. Разве что за тюремной решеткой или лагерной оградой. Но тогда можно счесть себя мучеником и опять-таки утвердиться в своей правоте. В кинокартине Т. Абуладзе осознание преступлений Варлама приходит не к сыну его Абелю, а к внуку, и внук решает собственной жизнью оплатить их. Но таким образом платит и Абель. Платим мы все. Ибо гибнет невиновный. Тот, кто мог легко отринуть от себя жертву дедова произвола.

Анатолий Приставкин не требует ни от кого раскаяния, самобичевания; его надежда на тени, являющиеся ночью к убийцам, отдает наивностью. Он и сам печально признает это, и не ради мнимых покаяний писал свою повесть о мужественно человеческом, побеждающем человеконенавистническое в ребенке, чему предназначено было погибнуть. Если и не физически, то уж духовно наверняка. Как погибло оно, остается предположить, в большинстве детдомовцев, которым удалось уцелеть в годы войны и потом чередовать свои дни между воровскими хазами и исправительно-трудовыми лагерями.

Колька Кузьмин и Алхузур, ставший Кузьминым, — исключение. Это исключение не столько подтверждает правила, сколько напоминает о них. Нарушение правил личной и общественной морали чревато тяжкими последствиями.

А. Приставкин слишком много пережил в детстве и сейчас, когда с болью, гневным недоумением писал о нем, чтобы не напомнить о нашей издавна тянущейся ответственности перед невинно пострадавшими. Возможно, он снял груз, часть груза с собственной души, но читательские души не очень-то облегчил. Но настоящая литература — в последнее время мы опять-таки в том убедились — не спешит навевать «сон золотой». Анатолий Приставкин, впрочем, никогда не принадлежал к достаточно распространенной — особенно в 60 — 70-е годы — категории литераторов, стремившихся убаюкивать и без того впадающее в спячку общество. Не стану преувеличивать его прежние заслуги. Тем более что «Тучка» помогает определить меру оправданных требований к творчеству ее создателя, проделавшего достаточно сложный писательский путь. Были на этом пути и неудачи, и полуудачи, и поиски своей темы, своего мотива. Приставкин нетерпеливо колесил по стране, многое умел подмечать. Был точен в деталях и достаточно достоверен в рассказе о человеческих судьбах. Писал очерки, документальные повести, пьесы. Одни из них обращали на себя внимание, другие проходили незамеченными. Он числился «средним писателем», то есть профессионалом, добросовестным тружеником пера. Книги такого автора обычно вызывают умеренный интерес читающей публики, не рожают у нее особых надежд. Не ждут, что он изобретет порох, преодолеет тот уровень мастерства и миропонимания, которого достиг. Но иногда случается, что «средний писатель» вдруг предстает перед нами в новом качестве. Мы с волнением и благодарностью принимаем книгу, ознаменовавшую такой переход, и хотим понять, как, почему произошло чудо. Именно — чудо. Писатель не только открыл нам новый мир, поразил его непривычными красками, его страстями и трагедиями. Он открыл в себе не ведомые прежде ни ему, ни нам

возможности.

Мы начинаем оглядываться на прежние его книги и, перелистывая их, задним числом обнаруживаем, что чудо вызревало исподволь и свершилось не на пустом месте. Читатель, получив книгу, где под одной обложкой помещены повести «Ночевала тучка золотая» и «Солдат и мальчик», увидит, с каким едва уловимым упорством, с какой не бросающейся в глаза последовательностью двигался вперед писатель, не переставая оглядываться назад, всматриваться в собственное детдомовское прошлое. Как сильна была в нем ранняя, по определению Достоевского, первая память. Привычная для его сверстников формула «мы родом из войны» предполагает уточнение. А. Приставкин родом из детдома военных лет, где легче было умереть, чем выжить, стать нелюдью легче, чем человеком.

Память эта была безотрадно горькая. Но А. Приставкин не хотел ей изменять, не искал в ней утешения, не пытался темные стороны уравновесить светлыми. Иными словами, не делал того, на чем настаивали критики, доказывая необходимость соблюдать пропорции, выверенное соотношение между плюсами и минусами. Считалось, будто именно таким образом достигается художественная правда высшей кондиции.

Рукописи, где в нарушение пропорций вещи назывались своими точными именами, были обречены на прозябание в ящиках письменного стола. Если же отдельные прорывались к читателям, авторы незамедлительно награждались зуботычинами. Приставкин испытал это на себе, когда ему удалось напечатать повесть «Солдат и мальчик». Повесть о встрече маленького детдомовца с красноармейцем, отставшим от воинского эшелона. О трагедии людей, отторгаемых своим окружением. О вине малолетки, уже успевшего привыкнуть к воровству как норме голодной жизни. Об опасности, нависшей над неповинным в преступлении солдате. Об извечной борьбе сил добра и зла. Борьбе в душе ребенка, в детском сообществе, в людях, с которыми он постоянно общается.

А. Приставкин не скрывает реальной житейской предыстории «Солдата и мальчика»: «Произошло это в войну. На станции Томилино, под Москвой, несколько ребят, в том числе и я, обокрали спящего солдата. А потом он пришел к нашему детдому. И так уж случилось, что я повел его от дома к дому в поисках других ребят, с которыми совершалась кража. Люди встречали нас по-разному, но некоторые прямо угрожали мне, обещая при случае расправиться, если я не прекращу свои поиски. Потом меня вправду подкараулили и избили, и, спасая свою жизнь, ночью, без одежды, я бежал из детдома.

По тому времени случай с кражей у неизвестного солдата и последующим бегством не был чем-то исключительным, я скоро забыл о нем».

Отсутствие исключительности — самое, быть может, примечательное в этом поначалу забытом эпизоде.

Такова правда, относящаяся не только к одному эпизоду. В какой-то степени эта правда относится и к поколению, к которому принадлежит писатель.

Оно рано увидело изнанку жизни, но поздно стало ее осознавать. Лет через двадцать А. Приставкин начал понимать далекое происшествие. Почувствовал потайной смысл, таящийся в нем, угадал подоснову притчи. (В «Тучке» такая притчевость еще более очевидна и более глубока.) Однако снова понадобились годы, прежде чем далекое воспоминание, опять пропущенное через собственную душу, осмысленное зрелым

человеком, приобретшим писательский опыт, вылилось в драматически напряженную и вместе с тем по-своему трогательную повесть о детдомовце Ваське и солдате Андрее. Может быть, более оптимистическую, чем следовало ожидать.

Это был отнюдь не искусственный, не наигранный оптимизм. Скорее, не лишенное наивности представление писателя о логике художественной правды, о неизменности победы добра. Он это невольно признал, вспомнив, что в действительности не Колька Сыч потерпел крушение, а он сам, послуживший прообразом Васьки. Подлинный эпизод завершился менее благополучно, чем история, переданная в повести.

А. Приставкин, как замороженный, возвращался к своему детскому дому (рассказами о нем он и начинал в литературе), всякий раз испытывал боль, горечь, тоску. Неизменно углублялось его представление о минувших днях, о их месте в собственной судьбе, в собственном творчестве. Повестью «Солдат и мальчик» он ушел от ранних рассказов. И приблизился к «Тучке золотой». Подобное движение характерно для художников, завоевавших общее внимание в наши дни, когда литература открыла для себя и для читателей новые горизонты, новое постижение прошлого и нынешнего. Анатолий Приставкин занимает достойное место в ряду именно этих писателей. Их книги востребованы наступившим временем.

В. Кардин